

Эдвард Джордж Бульвер-Литтон

Последний римский трибун

Действие романа происходит в Италии XIV века. Кола ди Риенцо, заботясь об укреплении Рима и о благе народа, становится трибуном. И этим создает повод для множества интриг против себя, против тех, кого он любит и кто любит его... Переплетаясь, судьбы героев этой книги поражают прежде всего своей необычностью.

Бульвер-Литтон Э. Д. Последний римский трибун: Исторический роман
«Советская Кубань»
Краснодар 1994
5-7221-0028-5

Оформление художника К. Авдеева. Печатается по изданию Санкт-Петербурга, типография Н. Скарятин, 1875 г.

Книга I

ВРЕМЯ, МЕСТО И ЛЮДИ

I

БРАТЬЯ

Начало моей истории относится к первой половине XIV века.

В один летний вечер двое молодых людей прогуливались близ берегов Тибра, недалеко от той части его извилистого течения, которая огибает подошву горы Авентина. Выбранная ими тропинка была уединенна и спокойна. Вдали виднелись разбросанные по берегу реки бедные домики; над ними местами с мрачным видом подымались огромные башни и высокая кровля жилища какого-нибудь римского вельможи. С одной стороны реки, за хижинами рыбаков, видна была гора Яникулум, темная от массивных деревьев, из-за которых в частых промежутках пока мнились серые стены замков, шпицы и колонны множества церквей. С другой стороны круто и обрывисто подымалась гора Авентин, покрытая густым кустарником; а на высоте из незримых, но многочисленных монастырей, над спокойным ландшафтом и струистыми волнами, довольно музыкально раздавался звук церковного колокола.

Старшему из двух молодых людей можно было дать несколько более двадцати лет. Он был высок и имел в своей осанке что-то повелительное, черты лица его отличались выразительностью и благородством, несмотря на скромный его наряд, состоявший из широкого плаща и простой туники темно-серой саржи. Это была обыкновенная одежда скромных студентов того времени, которые посещали монастыри для приобретения познаний, представлявших скудное вознаграждение за напряженный труд. Лицо его было весьма приятно, и выражение его можно было бы назвать скорее веселым, нежели задумчивым, если бы в глазах его не было той неопределенной и рассеянной томности, которая обыкновенно показывает, что данный человек склонен к меланхолии и самоуглублению, что мечты о прошедшем и будущем более сродни его душе, нежели наслаждение и реальность настоящей минуты.

Младший, еще мальчик, не имел в своей наружности ничего особенного, кроме выражения мягкости и ласки. Было что-то женственное в нежной почтительности, с которой он слушал своего товарища. На нем была одежда, какую обыкновенно носили люди, принадлежавшие к низшим классам, хотя,

может быть, поопрятнее и поновее, и любящая гордость матери была заметна в той тщательности, с какой были причесаны и разделены пробором шелковые кудри, выбивавшиеся из-под фуражки и рассыпавшиеся по плечам.

Они шли возле шумящего тростника реки, обняв друг друга за талию; не только в осанке и поступи, но и в молодости и очевидной взаимной любви двух братьев выказывались грация и чувство, которые возвышали незначительность их состояния.

– Милый брат, – сказал старший, – я не в силах выразить, как наслаждаюсь этими вечерними часами. Только с тобой я чувствую, что я не пустой мечтатель и празднотоловец, когда говорю о неизвестном будущем и строю свои воздушные замки. Отец и мать слушают меня с таким видом, как будто я говорю прекрасные вещи, вычитанные из книги; дорогая матушка, – да благословит ее Бог! – говорит, утирая слезы, посмотрите, как он учен! Что касается монахов, то, если я осмеливаюсь оторвать глаза от своего Ливия и говорю: таким Рим должен быть опять, – они пялят глаза и разевают рты, и хмурятся, как будто я сказал какую-нибудь ересь. Ты же, милый брат, хотя и не разделяешь моих занятий, но с такой добротой сочувствуешь их результатам, – ты, по-видимому, так одобряешь мои сумасбродные планы и поощряешь мои честолюбивые надежды, – что иногда я забываю наше происхождение и нашу бедность и чувствую в себе такие мысли и смелость, как будто в наших жилах течет кровь какого-нибудь тевтонского императора.

– Мне кажется, милый Кола, – сказал младший брат, – что природа сыграла с нами дурную шутку, тебе она дала царственную душу, перешедшую от отцовской линии, а мне – спокойный и простой дух скромного родства нашей матери.

– Если бы это было так, – возразил Кола, с живостью, – то твоя участь была бы блистательнее: я происходил бы от варваров, а ты – от римлян. Было время, когда простой римлянин считался благороднее какого-нибудь северного короля. Ну, да мы еще увидим большие перемены на своем веку.

– Я буду жить, чтобы увидеть тебя великим человеком; это меня будет радовать, – сказал младший, ласково улыбаясь. – Тебя уже все признают великим ученым. Мать предсказывает тебе счастье всякий раз, когда слышит о твоих посещениях дома Колоннов, где тебя так ласково принимают.

– Колонны? – сказал Кола с горькой улыбкой. – Колонны – педанты! Тупые головы – они притворяются знающими древность, играют роль меценатов и без толку приводят латинские цитаты, сидя за своими кубиками! Им приятно видеть меня у себя, потому что римские доктора называют меня ученым, а природа наделила меня причудливым остроумием, которое для них забавнее пошлых острот какого-нибудь наемного шута. Да, они желают

продвинуть меня, но как? Дав мне место в общественном управлении, которое постыдным образом наполняет свою кассу, с жестокостью выжимая от наших голодных граждан деньги, добытые ими с тяжким трудом! Нет ничего гаже плебея, которого возвысили патриции не для того, чтобы он руководил своим сословием, а для того, чтобы он служил орудием для их низких интересов. Человек, происходящий из народа, изменяет своему происхождению, если делается куклой для лицемерных тиранов, которые указывают на него и кричат: посмотрите, какая свобода царствует в Риме, – мы, патриции, так возвысили плебея! Разве они возвысили бы кого-нибудь из плебеев, если бы имели к ним сочувствие? Нет, если я подымусь выше своего состояния, то этим буду обязан рукам, а не шеям своих сограждан!

– Все мои надежды, Кола, состоят в том, что ты, в своем усердии к согражданам, не забудешь, как ты дорог нам. Никакое величие не примирит меня с мыслью, что оно подвергало тебя опасности.

– А я смеюсь над всеми опасностями, если только они ведут к величию. Но – величие, величие! Это пустая мечта! Предоставим ее ночным грезам. Довольно о моих планах; поговорим теперь о твоих, милый брат.

И, со свойственной ему сангвинической и веселой гибкостью, молодой Кола, оставив все свои мечтательные помыслы, приготовился выслушать с участием скромные мечты своего брата. Это были – новая лодка, праздничная одежда, хижина в месте, наиболее удаленном от притеснений вельмож, и тому подобные картины, свойственные неопределенным стремлениям мальчика с темными глазами и веселыми губками. Кола с приветливым лицом и нежной улыбкой выслушивал эти незатейливые надежды и желания и часто впоследствии вспоминал об этом разговоре, когда он с тоской спрашивал свое сердце, какой из этих двух родов честолюбия благоразумнее.

– Таким образом, – продолжал младший брат, – мало-помалу я могу собрать довольно денег, чтобы купить судно, подобное вот этому, которое, без сомнения, нагружено хлебом и товарами; мое судно будет приносить такой хороший доход, что я буду в состоянии наполнить твою комнату книгами и не услышу более твоих жалоб на то, что ты недоволен богат для покупки какого-нибудь старого истертого монашеского манускрипта. Ах, как я тогда буду счастлив!

Кола улыбнулся и сжал брата в своих объятиях.

– Дорогой мальчик, – сказал он, – пусть лучше моим делом будет заботиться об исполнении твоих желаний. Но мне кажется, что хозяева этого судна владеют незавидной собственностью. Взгляни, как беспокойно эти люди смотрят и вперед, и назад, и по сторонам. Хотя это мирные торговцы,

но, кажется, даже и в городе, который был некогда рынком всего цивилизованного мира, они боятся преследований какого-нибудь пирата. До окончания своего путешествия они могут найти этого пирата в каком-нибудь из римских патрициев. Увы, до чего мы дожили?

Судно, о котором говорили два брата, быстро несло вниз по реке, и в самом деле два или три человека на палубе с напряженным вниманием осматривали оба берега, как бы предчувствуя врага. Однако же скоро оно ушло из виду, и братья возобновили свой разговор о предметах, которые имели для молодых людей привлекательность уже потому, что принадлежали к области будущего.

Вечерняя тьма становилась гуще, и они вспомнили, что прошел уже тот час, когда они обыкновенно возвращались домой. Они повернули назад.

– Постой, – сказал вдруг Кола, – как я разговорился! Отец Уберт обещал мне редкую рукопись, которая, как он признается, поставила в тупик весь монастырь. Я должен буду сходить сегодня вечером к нему. Побудь здесь несколько минут, я скоро ворочусь.

– А мне нельзя идти с тобой?

– Нет, – сказал Кола с рассудительной лаской, – ты работал целый день и верно устал; моя же работа, по крайней мере телесная, была довольно легка, притом ты слаб, у тебя утомленный вид; отдых подкрепит тебя. Я не замешкаюсь.

Мальчик согласился, хотя ему хотелось идти с братом. Он имел характер мягкий и уступчивый и редко противился малейшим приказаниям тех, кого любил. Он сел на берегу реки, и скоро твердая поступь и величавая фигура его брата скрылись от его глаз за густой и меланхолической листвой.

Сначала он сидел очень спокойно, наслаждаясь холодным воздухом и думая о преданиях древнего Рима, которые рассказывал ему брат во время их прогулки. Наконец, он вспомнил, что его маленькая сестра, Ирена, просила принести ей цветов. Нарвав их, он сел и начал плести один из тех венков, к которым южные крестьяне до сих пор сохраняют свою древнюю любовь, делая их с каким-то классическим искусством.

Между тем как мальчик занимался этой работой, вдали слышались громкие крики людей и лошадиный топот. Они раздавались все ближе и ближе.

– Вероятно, это поезд какого-нибудь барона, – подумал мальчик, – славный вид – их белые перья и красные мантии. Я люблю такие зрелища, а все-таки отойду в сторону.

Продолжая плести венок и в то же время глядя туда, где должен был показаться поезд, молодой человек еще ближе подошел к реке.

Поезд был уже в виду, – в самом деле прекрасное зрелище. Впереди ехали всадники по два в ряд там, где позволяла дорога; их лошади были покрыты великолепными чепраками, их перья красиво волновались, латы и кольчуги сияли в вечернем сумраке. Это была большая и разнообразная толпа; все были вооружены; пикинеры в кольчугах ехали впереди, другие, не столь хорошо и красиво вооруженные, следовали пешком за всадниками. Над отрядом развевалось красное, как кровь, знамя дома Орсини, с надписью и девизом из полированного золота и с гвельфским изображением ключей св. Петра. На минуту страх овладел душой мальчика, потому что в те времена, в Риме, патриций, окруженный своими вооруженными приверженцами, наводил на плебеев более страха, нежели дикий зверь. Но бежать было слишком поздно: толпа уже приблизилась.

– Эй, мальчик! – вскричал предводитель всадников, Мартино ди Порто, принадлежавший к знатному дому Орсини. – Видел ты судно на реке? Ты должен был его видеть – как давно?

– Я видел большое судно, полчаса тому назад, – отвечал мальчик, испуганный грубым голосом и повелительным видом всадника.

– Оно шло прямо, с зеленым флагом на корме?

– Да, благородный синьор.

– Ну, так вперед! Мы остановим его до восхода луны, – сказал барон. – Теперь пусть мальчик отправляется с нами, чтобы он нас не выдал и не уведомил Колоннов.

– Орсини! Орсини! – вскричала толпа. – Вперед, вперед! – И несмотря на мольбы и уверения мальчика, он был помещен в самую середину толпы и увлечен вместе с другими. Он был испуган, он задыхался и чуть не плакал; на одной руке его все еще висел маленький венок, на другую была наброшена веревка. Однако же, несмотря на свое беспокойство, он чувствовал какое-то детское любопытство, желая увидеть результат этого преследования.

Из громкого и жаркого разговора окружающих его людей он узнал, что судно, которое он видел, везло запасы хлеба в крепость, находившуюся возле реки и принадлежавшую дому Колоннов, который был тогда в смертельной вражде с домом Орсини. Целью экспедиции, в которую попал бедный мальчик, было перехватить провизию и отдать ее гарнизону Мартино ди Порто. Эти сведения увеличили смущение мальчика, потому что он принадлежал к семейству, состоявшему под покровительством Колоннов.

Беспокойно и со слезами на глазах он оглядывался каждую минуту, взбираясь по крутому подъему Авентина; но его хранитель и покровитель еще не показывался.

Таким образом, толпа несколько времени подвигалась вперед, как вдруг, при повороте дороги, глазам ее внезапно представился предмет ее преследования. При свете первых вечерних звезд, судно быстро несло вниз по течению.

– Ну, теперь – благодарение святым! – вскричал предводитель, – оно наше!

– Пойдите, – сказал полупшепотом один из начальников (немец), ехавший рядом с Мартино, – я слышу звуки, которые мне не нравятся: за деревьями ржет лошадь, и вон – латы блестят!

– Вперед, господа, – вскричал Мартино, – цапля не обманет орла – вперед!

С новыми криками пешие двинулись вперед. Когда они приблизились к кустарнику, на который указывал немец, небольшой сомкнутый отряд всадников, вооруженных с головы до ног, выехал из-за деревьев и с копьями наперевес бросился на ряды преследователей.

– Колонна! Колонна!

– Орсини! Орсини!

Таковы были крики, которые громко и дико мешались один с другим. Мартино ди Порто, отличавшийся свирепостью и огромным ростом, и его всадники – по большей части немецкие наемники, не пошатнувшись, выдержали атаку.

– Берегись медвежьих лап, – вскричал Орсини подъезжавшему к нему противнику.

Борьба была непродолжительна и жестока. Латы всадников защищали их со всех сторон от ран; не так невредимы были плохо вооруженные пешие орсинисты, когда они, подталкиваемые друг другом, надвигались на Колоннов. Вытерпев дождь камней и стрел, которые делали толстым кольчугам всадников не более вреда, чем град, они столпились вокруг и своей многочисленностью мешали движению коней, между тем как пики, мечи и секиры их противников делали беспощадное опустошение в их недисциплинированных рядах. Мартино, мало обращавший внимание на то, как много изрублено «сволочи» в его рядах, и видя, что его неприятели на минуту задержаны яростным нападением и сомкнувшейся толпой его пехотинцев (место схватки было узко и тесно), – дал некоторым из своих всадников знак и хотел продолжать путь для преследования судна, которое теперь почти совсем скрылось из виду. Но вдруг, в некотором расстоянии, послушался звук рога; на этот сигнал ответил один из неприятелей, и затем вдали раздался крик: «Колонна, на выручку!» Через несколько минут показался многочисленный конный отряд, который несся во весь карьер; впереди него великолепно развевались знамена Колоннов.

– Черт возьми этих колдунов! Кто бы подумал, что они так хитро отгадают наши намерения! – проворчал Мартино. – Нам не следует оставаться здесь при таком неравенстве сил. – И рука его, вместо того, чтобы указать вперед, дала теперь знак к отступлению.

Плотно сомкнувшись и в совершенном порядке, всадники Мартино ди Порто повернули назад; пешая «сволочь», которая шла на добычу, осталась на жертву. Эти люди старались последовать примеру своих вождей, но как могли они уйти от стремительного напора лошадей и от острых пик своих противников? Кровь этих последних была разгорячена схваткой, а на жизнь своих жертв, находившуюся теперь в их власти, они смотрели так же, как мальчик смотрит на разоренное им гнездо ос. Толпа рассеялась по разным направлениям: некоторым удалось уйти на холмы, куда лошади не могли взобраться, другие бросились в реку и переплыли на противоположный берег; менее хладнокровные и опытные бежали прямо вперед, и загораживая собой дорогу неприятелям, облегчали тем бегство своим вождям, но зато сами падали трупам друг на друга, под сокрушительными ударами неутомимых и ничем не удерживаемых преследователей.

– Не щадить негодяев! Со смертью каждого из Орсини делается одним разбойником меньше. Рубите, во славу Бога, императора и Колонны! – Таковы были крики, служившие похоронным колоколом уstraшенным и падающим беглецам между бежавшими прямо по дороге; в месте, наиболее доступном для конницы, находился и младший брат Колы, так неожиданно вовлеченный в схватку. Быстро, обезумев от ужаса, бежал бедный мальчик, почти никогда не отлучавшийся от родителей или от брата. Деревья мелькали мимо, берега оставались все дальше и дальше за ним, и он бежал, а по пятам его неся лошадиный топот, раздавались крики и проклятия, и зверский хохот врагов, когда они перескакивали через убитых и умиравших на тропинке. Теперь он был на том самом месте, где его оставил брат. Он быстро оглянулся, и глаза его встретили наклоненное копьё и страшный шишак всадника, бывшего близко за ним; в отчаянии он взглянул вверх и увидел своего брата, который выскочил из частого перепутанного кустарника, покрывавшего гору, и летел к нему на помощь.

– Спаси меня, спаси меня, брат! – громко закричал он. Этот крик достиг слуха Колы; мальчик чувствовал уже жаркое дыхание горячего коня своего преследователя; еще минута – и с громким, пронзительным криком: – Пощадите, пощадите! – он упал трупом: копьё всадника пробило его насквозь и пригвоздило к тому самому дерну, на котором он сидел менее часа тому назад, исполненный молодой жизни и беззаботной надежды.

Всадник вырвал копьё и помчался за новыми жертвами; другие последовали за ним. Кола сошел с горы и стал на колени возле убитого брата.

Возвратимся теперь к тому моменту, когда раздался звук рога и трубы. Отряд, из которого он слышался, был благороднее того, который составлял авангард и до сих пор участвовал в битве. Во главе его ехал человек преклонных лет. Седые волосы его выглядывали из-под шапки, украшенной перьями, и смешивались с его почтенной бородой.

– Что это значит? – спросил он, останавливая своего коня. – Молодой Риенцо!

При звуке этого голоса молодой человек поднял глаза, потом, вскочив, стал перед конем старого патриция и, сложив руки, проговорил едва внятно:

– Это мой брат, благородный Стефан! Еще мальчик, совсем ребенок! Лучшее, добрейшее дитя! Смотрите, как трава обогрена его кровью! Назад, назад, копыта вашей лошади стоят в кровавом потоке! Правосудия, синьор, правосудия, вы большой человек!

– Кто убил его? Без сомнения, какой-нибудь Орсини. Вам будет оказано правосудие.

– Благодарю, благодарю, – прошептал Риенцо и, шатаясь, пошел к брату, повернул его лицо из травы наружу, приложил руку к его груди, в тщетной надежде почувствовать биение его сердца, но тотчас же отнял ее, потому что она покрылась кровью. И подняв эту руку вверх, он опять вскричал: – Правосудия! Правосудия!

Несмотря на свою привычку к подобным сценам, группа людей, собравшихся вокруг Стефана Колонны, была растрогана этим зрелищем. Находившийся возле него прекрасный мальчик, по щекам которого текли слезы, обнажил меч.

– Синьор, – сказал он, едва удерживаясь от рыдания, – только орсинист мог умертвить такого невинного мальчика; не будем терять ни минуты; поедem в погоню за злодеями.

– Нет, Адриан, нет, – возразил Стефан, положив руку на плечо мальчика, – твое усердие похвально, но мы должны остерегаться засады. Наши люди захали слишком далеко. Но вот – слышишь – они возвращаются.

Через несколько минут звук рога отозвал преследователей назад; в числе их был и тот всадник, копьё которого сделало такую роковую ошибку. Он начальствовал отрядом, завязавшим битву с Мартино ди Порто; его латы, украшенные золотом, и богатая сбруя его лошади показывали его высокое происхождение.

– Благодарю, сын мой, благодарю, – сказал старый Колонна, – ты действовал хорошо и храбро. Но скажи, не знаешь ли, – у тебя орлиное

зрение, – кто из Орсини убил этого несчастного мальчика? Гнусное дело! Притом его семейство – наши клиенты.

– Кого? Этого мальчика? – сказал всадник, снимая с головы свой шлем и утирая свой вспотевший лоб. – Что вы говорите! Как же он попал в толпу негодяев Мартино ди Порто? Боюсь, что моя ошибка обошлась ему дорого. Мне не могло прийти в голову, что он не принадлежит к сволочи Орсини, и – и...

– Вы убили его! – вскричал Риенцо громовым голосом, быстро вскочив на ноги. – Правосудия, синьор Стефан, правосудия! Вы мне обещали правосудие, и сдержите слово.

– Бедный молодой человек, – сказал Стефан с состраданием, – вам было бы оказано правосудие против Орсини; но разве вы не видите, что это случилось по ошибке? Я не удивляюсь тому, что вы теперь слишком огорчены и не можете слушать доводов рассудка. Мы должны быть к вам снисходительны.

– Возьмите это на обедни по душе мальчика; меня очень печалит этот случай, – сказал младший Колонна, бросая Риенцо кошелек с золотом. – Приходите на той неделе к нам в палаццо, Кола, на той неделе. Батюшка, мы должны опять вернуться к судну; нам еще надо позаботиться о его безопасности.

– Правда, Джанни, – отвечал старик. – Двое из вас, – прибавил он, обращаясь к солдатам, – пусть останутся здесь у тела мальчика; горестный случай! Как могло это произойти?

И компания возвратилась туда, откуда приехала; у трупа остались только двое солдат, да мальчик Адриан. Последний остался на несколько минут, чтобы утешить Риенцо, который, подобно человеку, лишившемуся чувств, был неподвижен, смотря на мчавшийся мимо него строй всадников и бормоча про себя:

– Правосудия! Правосудия! Я добьюсь его!

Громкий голос Колонны-старшего звал Адриана, и он неохотно и со слезами на глазах должен был ехать.

– Позвольте мне быть вашим братом, – сказал благородный мальчик, с чувством прижимая руку Риенцо к своему сердцу, – я имею нужду в брате, подобном вам.

Риенцо не отвечал; он не обратил внимания на эти слова, или не слышал их; в его сердце волновались мрачные и смутные мысли, в которых таился зародыш могущественной революции. Он, вздрогнув, очнулся от своих дум, когда солдаты начали устраивать из своих щитов нечто вроде катафалка для трупа; из глаз его хлынули слезы, он с силой оттолкнул солдат и сжимал тело

брата в своих объятиях до тех пор, пока его платье буквально не вымокло от струившейся крови.

Венок несчастного мальчика, запутавшись в складках одежды, еще был при нем. Вид этого венка напомнил Коле всю нежность, доброту и очаровательную ласковость его брата – его единственного друга. Это было зрелище, которое, казалось, еще увеличивало безжалостную жестокость преждевременной и незаслуженной кончины невинного мальчика.

– Брат мой, брат! – стонал Риенцо. – Как я теперь покажусь на глаза матери? Такой молодой! Кому он мог вредить! Такой добрый! И они не хотят оказать нам правосудия, потому что его убийца – патриций Колонна. А это золото, золото за кровь брата! Неужели они (при этих словах глаза молодого человека засверкали) не окажут нам правосудия? Увидим! – И Риенцо наклонился над трупом; губы его шевелились, как будто шепча молитву или заклинание; потом он встал; лицо его было столь же бледно, как у мертвого, который лежал перед ним, – но бледно уже не от горя!

От трупа, от внутренней молитвы, Кола ди Риенцо воспрянул другим человеком. Вместе с его юным братом умерла и его собственная юность. Без этого события будущий освободитель Рима мог быть только мечтателем, ученым, поэтом, мирным соперником Петрарки, – человеком мысли, а не дела. Но теперь все его способности, энергия, воображение, ум – сосредоточились в этом пункте; патриотизм его, бывший до этих пор призраком, получил жизнь и силу страсти, которая постоянно была воспламеняема, упорно поддерживаема и благоговейно освещается мстью!

II

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Прошли годы – и смерть римского мальчика, среди более благородных, но менее извинительных убийств, скоро была забыта; – ее почти забыли даже родители убитого в возрастающей славе и в успехах их старшего сына, – но не забыл и не простил ее этот сын. Здесь, в пространстве времени между описанным нами кровавым прологом и последующей политической драмой, между охладевающим, так сказать, интересом мечтаний и более тревожными, действительными и продолжительными волнениями жизненных бурь, – кстати представить читателю краткий и беглый очерк состояния и обстоятельств города, в котором происходили главные сцены нашего

рассказа. Очерк этот, может быть, необходим многим, для полного понимания мотивов, руководивших действующими лицами, и судеб заговора.

Несмотря на насильственное поселение разнородных и смешанных племен в столице цезарей, римский народ сохранил гордую мысль о своем превосходстве над остальным миром и, утратив железные доблести времен республики, по-прежнему был проникнут тем наглым и непокорным мятежным духом, которым отличались плебеи древнего форума. Среди свирепой, но немужественной черни, нобили вели себя скорее как безжалостные бандиты, нежели как умные правители. Папы напрасно боролись против этих упрямых и суровых патрициев. Над властью их смеялись, на повеления их не обращали внимания, личность их подвергалась открытым оскорблениям, и первосвященники – эти властители остальной Европы, жили в Ватикане, как пленники, под угрозой казни. За тридцать восемь лет до времени описываемых нами событий, один француз взошел на престол св. Петра, под именем Климента V. Он больше с благоразумием, нежели мужеством, оставил Рим для спокойного убежища в Авиньоне, и роскошный город чужеземной провинции сделался резиденцией римского первосвященника и престолом христианской церкви.

Не видя более даже номинальной преграды, представляемой папским присутствием, власть нобилей, можно сказать, не имела границ, кроме собственного произвола и взаимных их распрей и соперничества. Выводя свое происхождение, посредством баснословных генеалогий, от древних римлян, они на самом деле большей частью были потомками смелых северных варваров и более зараженные вероломством итальянцев, нежели проникнутые их национальными чувствами, сохранили презрение своих чужеземных предков к завоеванной стране и к ее павшему народу. Между тем как остальная Италия, особенно Флоренция, Венеция и Милан, быстро и далеко опередила другие государства Европы в цивилизации и искусствах, римляне, казалось, более шли назад, чем подвигались вперед на пути усовершенствования. Не осчастливленные законами, не избалованные искусствами, они были одинаково чужды и рыцарству воинственного, и общительности мирного народа. Но в них еще жило чувство и желание свободы и, посредством жестоких пароксизмов и отчаянной борьбы, они старались отстоять для своего города по-прежнему принимаемый им титул «митрополии всего мира». В течение двух последних столетий они имели много революций, – непродолжительных, часто кровавых, и всегда безуспешных. При всем этом, в Риме существовал еще пустой призрак народной формы правления. Каждая из тринадцати частей города избирала себе вождя; собрание этих должностных лиц, называемых капорионами, по

теории, имело власть, для пользования которой у них не было ни силы, ни мужества. Существовало также гордое имя сенатора, но в настоящее время эта должность была предоставлена только одному или двум лицам, иногда избираемым папой, а иногда нобилями. Власть, соединенная с этим именем, кажется, не имела определенных границ; это была или власть сурового диктатора, или бездушной куклы, смотря по тому, в какой мере лицо, принимающее на себя эту должность, было в состоянии дать вес своему сану. Она предоставлялась только нобилям, которые одни производили всевозможные бесчинства. Общественное правосудие заменялось угождением какой-нибудь из враждующих партий; восстановление порядка состояло единственно в мести.

Имея дворцы, подобные замкам и крепостям государей, не подчиняясь никаким властям и закону, строя укрепления и объявляя притязания на княжества в церковных областях, римские вельможи еще более обезопасили себя и сделали ненавистным свое сословие, держа войска из иностранных наемников (преимущественно немцев), которые были и храбрее, и дисциплинированнее, и искуснее в военном деле, нежели даже самые свободные из итальянцев того времени. Таким образом, они соединяли в себе судебную и военную власть, – не для защиты, а для гибели Рима.

Самыми могущественными из этих, вельмож были Орсини и Колонны; распри их были наследственны и беспрестанны; каждый день был свидетелем плодов их незаконной войны, ознаменованной кровопролитием, грабительством и пожарами. Лесть или дружба Петrarки, которому слишком слепо веруют новейшие историки, облекла Колоннов, особенно описываемого времени – изяществом и достоинством, которых они не имели. Оскорбления, обман и убийство, скарденная жадность в присвоении прибыльных должностей, наглые притеснения своих же сограждан и малодушнейшее раболепство перед властью, которая превосходила их собственную власть – вот, с небольшими исключениями, характер первой семьи Рима. Будучи богаче других вельмож, Колонны отличались большей роскошью и, может быть, большим умственным развитием; гордости их льстило название покровителей искусств, в которых они не могли отличаться сами. От этих размножившихся угнетателей римские граждане, с нетерпеливым и страстным сожалением, обращали свой взор к смутным и темным воспоминаниям утраченной свободы и величия. Они смешивали времена империи с временами республики, и на тевтонского короля, который был избираем за Альпами, а титул императора получал от римлян, часто смотрели как на беглеца со своего законного поста и собственного дома. Они легкомысленно воображали, что если бы император и первосвященник

утвердили свою резиденцию в Риме, то свобода и закон снова водворились бы в их отечестве.

Отсутствие папы и его двора сильно способствовало обеднению граждан. Еще заметнее, они страдали от грабительства разбойничьих шаяк, многочисленных и беспощадных, которые тревожили Романью, наполняя собой все проезжие дороги, и состояли иногда под тайным, иногда под открытым покровительством римских баронов, часто набиравших из бандитских солдат свои бандитские гарнизоны.

Но, кроме этих мелких и обыкновенных бандитов, в Италии возник еще более ужасный род их, разбойники высшего разряда. Один немец, присвоивший себе гордый титул герцога Вернера, за несколько лет до того периода, к которому мы приближаемся, навербовал и организовал значительное войско под названием «большая компания». С этим войском он осаждал города и занимал государства, с единственной постыдной целью грабительства. Его пример скоро нашел подражателей: многочисленные «компании», сформированные подобным же образом, начали опустошать разделенную и беспорядочную страну. Ни тиран, ни общество не имели достаточно войска для противодействия им; а вербовка для этой цели других северных наемников служила только усилению рати разбойников дезертирами. Наемник не сражается с наемником, ни немец с немцем, а большая плата и необузданность грабежа делали шатры «компаний» гораздо более привлекательными, чем регулярное жалование города или скучная крепость и истощенная казна какого-нибудь вождя. Вернер был самый неумолимый и свирепый из всех этих авантюристов; он так открыто похвалялся своим зверством, что на груди своей носил серебряную доску, на которой вырезаны были слова: «Вражда против Бога, жалости и пощады». Незадолго перед тем он опустошал Романью огнем и мечом. Но деньги или же невозможность сладить с дикими страстями, которые он возбудил, заставили его увести большую часть своего войска обратно в Германию. Однако же небольшие отряды еще остались; они были рассеяны по всей стране и ждали только искусного вождя, который бы их соединил опять. Одним из способнейших к этой роли людей был Вальтер де Монреаль, рыцарь ордена св. Иоанна, провансальский дворянин. Несмотря на свою молодость, он, своей храбростью и талантами, приобрел уже страшную знаменитость, а его честолюбие, опытность и проницательность, возвышаемые некоторыми рыцарскими, благородными качествами, делали его способным для предприятий гораздо более важнейших и достойнейших, нежели жестокие грабежи свирепого Вернера. Ни одно государство не страдало от этих бичей более Рима. Наследственные земли папы, частью

отторгнутые от него мелкими тиранами, частью опустошенные чужеземными разбойниками, доставляли скудное удовлетворение нуждам Климента VI, образованнейшего дворянина и изящнейшего сластолюбца своего времени. Поэтому он придумал план обогатить в одно время и римлян, и их первосвященника.

Около пятидесяти лет до того времени, о котором нам предстоит говорить, Бонифаций VIII, для наполнения папской казны и заодно для умиротворения римлян, умиравших с голода, учредил празднество юбилея, или святой год, в сущности восстановление языческого церемониала. Полная индульгенция была обещана всем католикам, которые в тот год, или в первый год каждого из последующих столетий, посетят церкви св. Петра и св. Павла. Огромное стечение пилигримов со всех мест христианского мира доказало мудрость этого изобретения, и «два священника стояли ночь и день с граблями в руках и, не считая, огребали кучи золота и серебра, принесенных на алтарь св. Павла»[1].

Неудивительно, что этот в высшей степени прибыльный праздник, еще до истечения половины следующего столетия, показался благоразумному первосвященнику слишком надолго отложенным. И папа, и город сходились в мысли, что не худо бы поскорее возобновить его. Итак, Климент VI объявил, под именем Моисеева юбилея, второй святой год на 1350, т. е. через три года после той даты, с которой начнется мой рассказ в следующей главе. Это обстоятельство имело сильное влияние на возбуждение народного негодования против вельмож и подготовило события, о которых я буду говорить, потому что дороги были наполнены бандитами – креатурами и союзниками баронов. А опасность дорог мешала приходу пилигримов. Раймонду, епископу орвиетскому (хорошему канонисту, но плохому политику), поручено было всеми мерами стараться устранить преграды между набожными пожертвованиями и сокровищницей папского престола.

Таково, в главных чертах, было состояние Рима в тот период времени, о котором мы будем говорить. От глаз Италии и Европы он скрывал еще свои развалины под мантией своей древней славы. По крайней мере, по имени он был владыкой мира, и из его рук глава церкви получал ключи, а северный император – корону. Положение его было именно таково, что представляло обширное и блистательное поприще для смелого честолюбия, вдохновляющее, хотя и плачевное зрелище отчаянного патриотизма – приличную сцену для той величавой трагедии, которая отыскивает свои

происшествия, выбирает актеров и выводит мораль среди народных превратностей и преступлений.

III ССОРА

Вечером, апреля 1347 г., в одном из тех обширных пространств, где новый и древний Рим, казалось, смешивались между собой – одинаково печальные и разрушенные, собралась разнородная и негодующая толпа. Утром того дня солдаты Мартино ди Порто, насильно ворвавшись, разорили дом одного римского ювелира с дерзкой наглостью, превосходившей обыкновенное своеволие вельмож. Мысли и чувства, возбужденные этим событием во всем городе, были глубоки и зловещи.

– Никогда я не покорюсь этой тирании!

– Ни я!

– Ни я!

– Ни я! Клянусь в том костями св. Петра!

– Что такое, друзья мои? Вы не хотите покоряться тирании? – сказал один молодой патриций, обращаясь к толпе раздраженных, гневных и полувооруженных граждан, которые, жестикулируя с итальянским темпераментом, стремительно шли по длинной и узкой улице, к мрачному кварталу, занятому семьей Орсини.

– Ах, синьор! – вскричали вдруг двое или трое из граждан. – Вы оправдаете нас, вы потребуете для нас правосудия, вы Колонна.

– Ха, ха, ха! – презрительно захохотал человек гигантского роста, подымая вверх огромный молот – знак своего ремесла. – Правосудие и Колонна! Боже мой! Эти два имени не всегда ладят между собой.

– Прочь его! Прочь его! Это орсинист, прочь его! – вскричали по крайней мере десять голосов из толпы; но ни одна рука не поднялась на великана.

– Он говорит правду, – сказал другой голос с твердостью.

– Да, – сказал третий, нахмуривая брови и вынимая свой нож, – и мы это терпим! Орсини тираны, а Колонны много-много хуже их.

– Лжешь, негодяй! – вскричал молодой нобиль, входя в толпу и становясь против поносителя Колоннов.

Перед сверкающим взглядом и угрожающими жестами кавалера крикун отступил на несколько шагов и оставил, таким образом, пустое пространство

между огромной фигурой кузнеца и небольшим, тонким, но сильным станом молодого нобиля.

С детства приучаясь презирать храбрость плебеев, даже тогда, когда сами не могли похвалиться ею, римские патриции привыкли к подобным ссорам, и нередко одного присутствия какого-нибудь нобиля было достаточно для рассеяния целой толпы, которая за минуту перед тем провозглашала мщение против его сословия и фамилии.

Поэтому, подойдя к кузнецу и решительно не обращая внимания на оружие, которым размахивал этот великан, молодой Адриан ди Каstellо, дальний родственник Колонны, махнул рукой, гордо приказывая дать дорогу.

– Домой, друзья! И знайте, – прибавил он с некоторым достоинством, – что вы очень оскорбляете нас, если думаете, что мы участвуем в дурных делах орсинистов или подчиняемся единственно своим страстям в распрях между их домом и нашим. Суди меня, святая мать, – продолжал он, набожно подымая глаза к небу, – если я говорю ложь, утверждая, что я вынул этот меч против Орсини, для защиты Рима и вас от несправедливостей.

– Так говорят все тираны, – сказал кузнец дерзким тоном, прислоня свой молот к каменному обломку – остатку древнего Рима. – Они никогда не воюют друг с другом, иначе как для нашего блага. Один Колонна перерезывает горло орсиньевскому хлебнику, это для нашего блага, другой Колонна отнимает дочь у орсиньевского портного, это для нашего блага! Для нашего блага – да, для блага народа! Уж не для пользы ли хлебопеков и портных?

– Товарищ, – сказал молодой патриций с важностью, – если какой-нибудь Колонна так поступил, то он виноват; но даже самое святое дело может иметь дурные подпоры.

– Да, сама св. церковь опирается на очень плохие колонны, – отвечал кузнец, намекая с грубым остроумием на любовь папы к дому Колоннов.

– Он богохульствует! Кузнец богохульствует! – кричали сторонники этой могущественной семьи. – Колонна! Колонна!

– Орсини! Орсини! – был не менее быстрый ответный крик.

– Народ! – загремел кузнец, размахивая своим страшным оружием над головами окружающей его группы.

В одно мгновение толпа, соединившаяся перед тем против притеснений одного человека, разделилась наследственной враждой партий. При крике «Орсини!» многие новые участники поспешили сюда: друзья Колонны собрались на одной стороне, защитники Орсини на другой. Немногие, согласные с кузнецом в том, что обе партии одинаково гнусны и что народ есть единственный законный выразитель народного волнения, готовы были

отойти в сторону от приближающейся схватки. Но сам кузнец, имевший над ними большое влияние, раздраженный надменным обращением молодого Колонны или же вследствие жажды борьбы, свойственной людям большого роста и силы, которые могут в рукопашном бою наслаждаться своим превосходством, после минутной нерешимости пристал к орсинистам и своим примером доставил приверженцам этой партии содействие своих друзей.

В народных волнениях отдельный человек всегда бывает увлечен толпой, часто против своей воли и согласия. Несколько успокоительных слов, с которыми Адриан ди Кастелло обратился к своим друзьям, потерялось среди всеобщих криков. Гордясь тем, что в их рядах находится один из любимейших и благороднейших людей дома Колонны, сторонники этой фамилии поставили его во главе и стремительно бросились на неприятеля. Однако же, Адриан, заимствовавший кое-какие правила из рыцарского кодекса, которыми, конечно, он не был обязан римскому своему происхождению, сначала не хотел нападать на людей, между которыми не видел никого равного себе ни по званию, ни по умению владеть оружием. Он довольствовался тем, что отразил немногие удары, направленные на него в беспорядочном пылу схватки. Мы говорим: немногие удары, потому что те, кто узнал его, не исключая самых закоренелых сторонников Орсини, не хотели подвергать себя опасности и гневу толпы, проливая кровь человека, который, кроме знатного происхождения и большой силы своих связей, пользовался лично популярностью, которую он заслужил скорее по сравнению его поступков с пороками его родственников, чем по каким-либо особым добродетелям. Один кузнец, который до сих пор не принимал деятельного участия в схватке, решился на определенное сопротивление, когда кавалер приблизился к нему на расстояние нескольких шагов.

– Разве мы не сказали тебе, – проговорил великан, нахмутив брови, – что Колонны – враги народа столько же, как и Орсини? Взгляни на своих приверженцев и клиентов: разве они не режут теперь горла бедным людям за преступление одного вельможи? Но всегда этим способом один патриций наказывает наглость другого. Он опускает розгу на спины народа и кричит: «Посмотрите, как я справедлив!»

– Я не буду тебе отвечать теперь, – сказал Адриан, – но если ты вместе со мной сожалеешь об этом пролитии крови, помоги мне помешать ему.

– Я – нет! Пусть кровь рабов течет сегодня: скоро придет время, когда она будет смыта кровью вельмож.

– Прочь, негодяй! – вскричал Адриан, не желая более разговаривать и прикасаясь к кузнецу плоской стороной своего меча. В одно мгновение молот

великана поднялся вверх и непременно поверг бы молодого патриция на землю, если бы он не отскочил в сторону. Прежде чем кузнец успел нанести другой удар, меч Адриана дважды пронзил его правую руку, и молот тяжело упал на землю.

– Убейте его, убейте его! – вскричали многие из подданных Колонны, теснясь теперь, подобно трусам, вокруг безоружного и бессильного кузнеца.

– Да, убейте его! – сказал на сносном итальянском языке, но с варварским акцентом, человек, наполовину закованный в железо, и только что присоединившийся к группе. Он принадлежал к числу тех буйных немецких бандитов, которых Колонны содержали на жалованье. – Убейте его! Он принадлежит к гнусной шайке злодеев, заклятых врагов порядка и мира. Это один из приверженцев Риенцо и бредит народом.

– Ты говоришь правду, варвар, – сказал неугомонный кузнец громким голосом, открывая левой рукой свой камзол на груди, – идите сюда все, Колонна и Орсини, прокопайте вашими острыми клинками мою грудь до самого сердца и там, когда доберетесь до центра, вы найдете предмет нашей общей ненависти. Риенцо и народ!

При этой речи кузнеца, которая могла показаться выше его состояния, если бы всем римлянам в минуты вдохновения не были свойственны некоторая цветистость и преувеличение фразы и пылкость чувства, громкий голос его раздался сильнее голосов окружавших его людей и на минуту заглушил общий шум. Когда же, наконец, прозвучали слова «Риенцо и народ», то они проникли в самую середину разрастающейся толпы, и их повторила сотня голосов, подобно эху.

Но каково бы ни было впечатление, произведенное словами кузнеца на других, оно также было очевидно и на лице молодого Колонны. При имени Риенцо краска гнева исчезла с его щек, он отступил назад, проговорил что-то про себя и, несмотря на окружавшую его суматоху, казалось, погрузился в глубокую и угрюмую задумчивость. Он очнулся, когда крик затих, и сказал кузнецу тихим голосом: «Друг мой, мне жаль, что я тебя поранил; но приди ко мне завтра, и ты убедишься, что ты был несправедлив ко мне». Затем он дал немцу знак следовать за ним и начал пробираться через толпу, которая везде отступала при его приближении. В те времена в Риме самая ожесточенная ненависть к сословию нобилей соединялась с рабским уважением к их личности и с таинственным благоговением к их бесконтрольной власти.

Когда Адриан проходил через ту часть толпы, где драка еще не начиналась, его сопровождал говор, который немногим из его семьи посчастливилось бы услышать.

– Колонна, – сказал один.

– Но не похититель, – сказал другой с диким смехом.

– Не убийца, – пробормотал третий, прижимая руку к своей груди. – Не против него вопиет кровь моего отца.

– Да благословит его Бог, – сказал четвертый, – его еще никто не проклинает!

– О, помоги нам, Боже! – сказал старик с длинной седой бородой, опираясь на свою палку. – Змея еще молода, зубы скоро прорежутся.

– Стыдитесь, отец! Он милый молодой человек и не горд, по крайней мере. Какая у него улыбка! – сказала одна красивая матрона, стоявшая на краю того места, где происходила схватка.

– Прощай, честь мужа, если патриций улыбается его жене! – был ответ.

– Нет, – сказал Луиджи, веселый мясник с плутовскими глазами. – Если человек честным образом может добиться чего-нибудь от девушки или женщины, то пусть его – будет ли это патриций или плебей, вот моя мораль. Но если какой-нибудь безобразный, старый патриций отнимает у меня женщину, увозя ее на спине немецкого кабана, то он, по-моему, злой человек и прелюбодей.

Пока такие толки и разговор шли о молодом нобиле, совсем другого рода взгляды и слова сопровождали немецкого солдата.

Перед его тяжелой и вооруженной фигурой толпа расступалась с такой же, или с еще большей быстротой, но не с почтительными взглядами. Глаза сверкали при его приближении, но щеки бледнели, голова склонялась, губы дрожали; всякий чувствовал трепет ненависти и страха, как бы при появлении ужасного, смертельного врага. И с яростью в душе замечал этот свирепый наемник знаки всеобщего к нему отвращения. Он с суровым видом шел вперед то с презрительной улыбкой в лице, то злобно хмурясь, и его длинные заплетенные светлые волосы, темно-рыжие усы и мясистый лоб представляли сильный контраст с темными глазами, черными, как смоль, волосами и тонким телосложением итальянцев.

– Пусть Люцифер вдвое накажет этих немецких головорезов! – проворчал сквозь зубы один из граждан.

– Аминь! – отвечал от всего сердца другой.

– Тс! – сказал третий, боязливо оглядываясь. – Если кто-нибудь из них услышит твои слова, ты погиб.

– О Рим! Рим! – сказал с горечью гражданин, одетый в черное и принадлежавший, по-видимому, к более высшему сословию, нежели остальные. – Как ты низко пал, если на собственных улицах трепещешь, заслышав шаги наемного варвара!

– Слушайте, что говорит один из наших ученых людей и богатых граждан!
– сказал почтительно мясник.

– Это друг Риенцо, – сказал другой из толпы, приподнимая шапку.

Опустив глаза и с выражением печали, стыда и гнева на лице, Пандульфо ди Гвидо, уважаемый гражданин благородного происхождения, медленно пробрался через толпу и скрылся.

Между тем Адриан, войдя в улицу, которая, несмотря на близость к собравшейся толпе, была пуста и безмолвна, обратился к своему свирепому товарищу.

– Родольф! – сказал он. – Слушай! Не делать насилий гражданам. Вернись к толпе, собери друзей нашего дома, выведи их оттуда; пусть Колоннов не обвиняют в бесчинствах нынешнего дня. Уверь наших приверженцев, что я званием рыцаря, которое получил от императора, клянусь наказать Мартино ди Порто мечом моим за его преступление. Мне бы хотелось самому лично унять шум, но, кажется, мое присутствие служит только к поощрению его. Ступай, ты имеешь вес у всех их.

– Да, синьор, вес ударов! – отвечал угрюмый солдат. – Но приказание ваше трудно исполнить; мне бы хотелось, чтобы их грязная кровь текла еще один или два часа. Но, извините, повинуюсь вашим приказаниям, повинуюсь ли я также и приказаниям моего господина, вашего родственника? Ведь это старый Стефан Колонна, который – благослови его Бог! – редко бережет кровь и деньги (за исключением своих собственных!). На его деньги я живу и ему клялся в верности.

– Diavolo! – проворчал кавалер, и лицо его покрылось пятнами гнева; но с обычным самообладанием для итальянских нобилей он удержался и сказал громко со спокойствием и вместе с достоинством:

– Делай, как я приказываю; останови суматоху, постарайся, чтобы снисходительность была оказана с нашей стороны. Пусть через час шум затихнет, а завтра приходи ко мне за наградой. Вот тебе кошелек в задаток будущей моей благодарности. Что касается моего родственника (о котором приказываю тебе упоминать с большим почтением), то я говорю от его имени. Слышишь, шум увеличивается, драка усиливается, ступай, не теряй ни минуты.

Несколько устрешенный спокойной твердостью патриция, Родольф кивнул головой, не отвечая, засунул деньги за пазуху и пошел в толпу.

Молодой кавалер, оставшись один, следовал глазами за удаляющейся фигурой солдата, на блестящей каске которого сияли косые лучи заходящего солнца, и сказал самому себе с горечью:

– Несчастный город, родник всех великих воспоминаний! Падший царь тысячи наций, как развенчан и ограблен ты малодушными и отрекшимися от тебя детьми! Твои патриции ссорятся друг с другом, народ проклинает патрициев, священники, которые должны бы сеять мир, насаждают раздоры, отец церкви бежит из своих стен, его двор – галльская деревня... А мы! Мы, происходящие от самой гордой крови Рима, сыны цезарей, потомки полубогов, поддерживаем свою наглую и ненавидимую власть мечами наемников, которые, принимая от нас плату, издеваются над нашей трусостью, держат наших граждан в рабстве и за то владychествуют над самими господами их! О, если бы мы, наследственные вожди Рима, могли чувствовать и найти свою законную опору в благодарных сердцах наших граждан!

Молодой Адриан так глубоко сознавал горькую истину всего им сказанного, что слезы негодования текли по его щекам, когда он говорил. Он не стыдился проливать их, потому что плач о падшем племени – святое чувство, а не женская слабость.

Медленно поворачиваясь, чтобы уйти, он вдруг остановился, услышав громкий крик: «Риенцо! Риенцо!» От стен Капитолия до Тибра далеко пронесся звук этого имени. Когда же он замер, то за ним последовало глубокое, всеобщее молчание. Можно было подумать, что сама смерть снизошла на город. На крайней точке толпы, и возвышаясь над нею, на обломках камня, вынутого из развалин Рима для устройства баррикад в одну из последних распрей между гражданами, на этом безмолвном памятнике минувшего величия и настоящих бедствий города, стоял Риенцо. Будучи выше всего своего племени, он более всех был проникнут сознанием славы древних времен и унижения новых.

На расстоянии, на котором находился Адриан от этой сцены, он мог отличить только темный очерк фигуры Риенцо и слышать только слабый звук его могучего голоса. Но в покорном, хотя волнующемся море человеческих существ, толпившихся вокруг с открытыми головами, озаренными лучами солнца, он замечал невыразимое действие красноречия Риенци на всех, кто принимал в свою душу поток его пламенных мыслей. Современники описывают это красноречие почти как чудо, но на самом деле сила его основывалась более на симпатии слушателей, чем на обыкновенных способностях оратора.

Недолго Адриан ди Кастелло видел его фигуру и слышал его голос, но этого времени для Риенцо было достаточно, чтобы произнести все, чего желал сам Адриан.

Другой крик, еще сильнее и продолжительнее первого, крик, в котором выразилось облегчение от тревожных мыслей и сильного волнения, служил знаком окончания речи. После минутной паузы толпа рассыпалась по разным направлениям и пошла по улицам кучками и группами. Видно было, что речь на всех произвела сильное и неизгладимое впечатление. У каждого щеки пылали и язык говорил; одушевление оратора проникло в сердца слушателей. Он гремел против бесчинства патрициев, и однако же обезоружил гнев плебеев; одним словом, он проповедовал свободу, но запрещал своеволие. Он успокоил настоящее обещанием будущего. Он порицал их ссоры, но поддерживал дело их. Он удержал сегодняшнюю месть торжественным уверением, что завтра настанет правосудие. Так велика власть, так могущественно красноречие, так грозен гений одного человека, безоружного, незнатного, который не имеет меча и горностаевой мантии, но обращается к чувствам угнетенного народа!

IV ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Избегая раздробленных потоков рассеявшейся толпы, Адриан Колонна быстро шел по одной из узких улиц, которая вела к его дворцу, находившемуся на довольно значительном расстоянии от места последней ссоры. Полученное им воспитание делало его способным глубоко интересоваться не только несогласиями и распрями своей родины, но также сценой, которую он только что видел, и властью, которую выказал Риенцо.

Сирота из младшей, но богатой ветви семьи Колоннов, Адриан вырос под опекой и попечительством своего родственника, коварного, но вместе доблестного Стефана Колонны, который из всех нобилей Рима был самый могущественный, как по благосклонности к нему папы, так и по большому числу окружавших его вооруженных наемников. Адриан рано обнаружил необыкновенную в те времена склонность к умственным занятиям и усвоил многое из того, что было тогда известно относительно древнего языка и древней истории его родины.

Хотя Адриан был еще мальчиком в то время, когда видел горесть Риенцо по случаю смерти брата, но его доброе сердце прониклось симпатией к этой печали и стыдом за своих родственников, равнодушных к такому последствию их ссор. Он настойчиво искал дружбы Риенцо и, несмотря на свою молодость, понял силу и энергию его характера. Но хотя Риенцо по

прошествии некоторого времени, казалось, перестал думать о смерти брата и снова стал посещать замок Колоннов, пользуясь их презрительным гостеприимством, однако же он держал себя в некотором отдалении и отчуждении, которые Адриан мог преодолеть только отчасти. Кола отвергал всякое предложение услуг, протекции и возвышения; а необыкновенная ласковость со стороны Адриана, вместо того, чтобы делать Риенцо общительнее, казалось, только оскорбляла его и заставляла держаться еще с большей холодностью. Непринужденный юмор и живость разговора, делавшие его прежде приятным гостем для тех, вся жизнь которых проходила в пирах и битвах, перешли в иронию, цинизм и едкость. Но тупоголовые бароны по-прежнему забавлялись его остроумием, и Адриан был почти единственным человеком, который видел змею, скрытую под его улыбкой.

Часто Риенцо сидел за столом безмолвный, но наблюдательный, как будто следя за каждым взглядом, взвешивая каждое слово, измеряя ум, хитрость и склонности каждого гостя. Когда пытливость его по-видимому была удовлетворена, то он воодушевлялся. Его ослепительное, но едкое остроумие оживляло пир, и никто не видел, что этот невеселый блеск был признаком приближавшейся бури. В то же время он не упускал, ни одного случая смешиваться с низшим классом граждан, возбуждать их умы, воспалять их воображение, поджигать их горячность картинами настоящего и легендами минувшего. Популярность и слава его росли, и он имел тем большее влияние на толпу, что был в чести у нобилей. Может быть, в этом последнем обстоятельстве заключалась причина, почему он продолжал посещать Колоннов.

Когда за шесть лет перед тем Капитолий Цезарей был свидетелем триумфа Петrarки, ученая слава молодого Риенцо привлекла к нему дружбу поэта, продолжавшуюся с незначительным перерывом до конца, несмотря на огромное различие карьеры этих двух людей. Впоследствии, в качестве одного из римских депутатов, Риенцо вместе с Петrarкой[2] был послан в Авиньон умолять Климента VI перенести оттуда святой престол в Рим. При исполнении этого поручения он в первый раз выказал свои необыкновенные способности красноречия и убеждения. Правда, первосвященник, желавший более спокойствия, нежели славы, не убедился его доводами, но был очарован оратором, и Риенцо возвратился в Рим, осыпанный почестями и облеченный достоинством важной и ответственной должности. Перестав быть бездейственным ученым и веселым собеседником, он вдруг стал выше всех своих сограждан. Никогда до сих пор власть не соединялась с такой

строгой честностью, с таким неподкупным усердием. Он старался внушить своим товарищам такую же возвышенность принципов, но ему не удалось. Обретя прочное положение, он начал открыто апеллировать к народу, и, казалось, римская чернь уже была оживлена новым духом.

Между тем как все это происходило, Адриан надолго разлучился с Риенцо: его не было в Риме.

Дом Колоннов был твердой опорой императорской партии, и Адриан ди Кастелло получил приглашение ко двору императора. Там он начал заниматься военным искусством и среди немецких рыцарей научился смягчать свойственную итальянцам хитрость рыцарским благородством северной храбрости.

Оставив Баварию, он несколько времени жил в уединении одного из своих поместий, близ красивейшего озера северной Италии. Оттуда, развив свой ум деятельностью и учением, он посетил многие свободные итальянские государства. Он проникся понятиями, в которых не было тех предрассудков, какими отличались другие люди, принадлежавшие к его сословию, и рано приобрел свою репутацию, в то время как внутренне наблюдал за характером и делами других. В нем соединялись все лучшие качества итальянского нобилия. Это был человек, страстно преданный занятиям литературой, тонкий и глубокий политик, ласковый и приветливый в общении; саму любовь к удовольствиям он облагораживал какой-то возвышенностью вкуса. Он вел себя с достоинством, имел незапятнанную честь и отвращение к жестокости, редкие в то время качества между итальянцами: даже северные рыцари, отличаясь ими у себя, обыкновенно теряли, когда приходили в соприкосновение с систематическим вероломством и презрением к честности, составлявшими характер жестокого, но коварного юга. С этими качествами Адриан соединял более нежные страсти своих земляков, поклонялся красоте и боготворил любовь.

Только за несколько недель перед тем он возвратился в свой родной город, куда его репутация уже предшествовала ему и где помнили еще его раннюю любовь к литературе и его доброту. Он нашел положение Риенцо изменившимся гораздо более, нежели свое собственное. Адриан еще не был ученого. Он прежде хотел издали, собственными глазами присмотреться к мотивам и целям его поступков, потому что он частично заразился подозрениями, какие имело его сословие насчет Риенцо, частично же разделял доверчивый энтузиазм народа.

– Конечно, – говорил он сам себе, задумчиво подвигаясь вперед, – никто больше его не имеет силы преобразовать наше больное государство,

исцелить его раны и пробудить в наших гражданах воспоминания о доблестях предков! Разве я не видел в свободных государствах Италии людей, призванных к власти для защиты народа, которые были сперва честны, а потом, упоенные внезапным возвышением, изменяли тому самому делу, которое их возвысило. Правда, эти люди были вожди и нобили; но разве в плебейх меньше людских слабостей? Однако же я слышал и видел его издали, теперь я подойду и присмотрюсь к нему поближе.

Говоря с собой таким образом, Адриан обращал мало внимания на разных прохожих, которые попадались все реже, по мере того, как становилось позднее. Между ними были две женщины, которые теперь одни шли по той же длинной и тёмной улице, в которую свернул Адриан. Месяц уже ярко светил в небе, и женщины проскользнули мимо кавалера легким и быстрым шагом. Младшая оглянулась и посмотрела на него при этом свете пристальным, но робким взглядом.

– Чего ты дрожишь, моя милочка? – сказала ее спутница, которой можно было дать около сорока пяти лет и одежда и голос которой показывали, что она по своему званию была ниже младшей. – Улицы, кажется, теперь довольно спокойны, и, слава Богу, наш дом не слишком далеко.

– Ах, Бенедетта! Это он! Это молодой синьор, это Адриан!

– Это хорошо, – сказала кормилица (таково было ее звание) – потому что, говорят, он храбр, как северный воин; палаццо Колонны не очень далеко отсюда, и синьор Адриан может помочь нам в случае нужды! Конечно, милая моя, если вы будете идти потише.

Молодая девушка умерила свои шаги и вздохнула.

– Правда, он очень хорош, – проговорила кормилица, – но ты не должна больше думать о нем; он слишком выше тебя для того, чтобы на тебе жениться; что касается чего-нибудь другого, ты слишком честна, а твой брат слишком горд.

– А ты, Бенедетта, слишком проворна со своим языком. Как можешь ты это говорить, зная, что он никогда даже не говорил со мной, по крайней мере с тех пор, как я была совсем ребенком; мало того, он едва знает о моем существовании. Ему, Адриану ди Кастелло, грезить о бедной Ирене! Одна эта мысль – уже сумасшествие.

– Так зачем же ты, – быстро возразила кормилица, – гредишь о нем?

Ее спутница вздохнула опять глубже прежнего.

– Св. Катерина! – продолжала Бенедетта. – Если бы на земле был только один мужчина, то и тогда я скорее умерла бы, в одиночестве, нежели стала бы думать о нем, до тех пор пока бы он по крайней мере дважды не

поцеловал мою руку, да и то если бы я сама была причиной, что он не поцеловал меня в губы.

Молодая девушка по-прежнему не отвечала.

– Но как тебе пришло в голову полюбить его? – спросила кормилица. – Ты не могла его видеть много раз: только четыре или пять недель прошло с тех пор, как он вернулся в Рим.

– Ах, как ты несносна! – отвечала Ирена. – Сколько раз я тебе повторяла, что я любила его еще шесть лет тому назад!

– Когда тебе пошел только десятый год, и кукла была бы для тебя самым приличным любовником! Право, синьора, ты хорошо воспользовалась своим временем.

– А в его отсутствие, – продолжала девушка нежно и грустно, – разве я не слышала рассказов о нем, и разве не был для меня даже звук его голоса подобен подарку любви, заставляя меня вспоминать о нем? Разве я не радовалась, когда его хвалили, не сердилась, когда его осуждали? Разве я не плакала от гордости, когда говорили, что он был победителем на турнире, и от горя, когда шептали, что его преданность была приятна какой-нибудь женщине? Разве шесть лет его отсутствия не были сном, а его возвращение пробуждением? Я вижу его в церкви, когда он и не подозревает о моем присутствии; он на коне проезжает мимо моего окна; разве этого счастья не довольно для любви?

– Но если он не любит тебя?

– Сумасшедшая! Я об этом не спрашиваю; нет, я даже не знаю, желаю ли я этого. Мне лучше мечтать о нем, представляя его таким, каким мне хотелось бы его видеть, нежели знать – каков он на самом деле. Он может оказаться не добрым, или не великодушным, или мало любить меня, но, по мне, лучше не быть любимой вовсе, нежели быть предметом холодной его любви и изнывать, сравнивая его сердце с моим. Я могу любить его, как что-то отвлеченное, невещественное и божественное: но каков будет мой стыд, каково горе, если я найду его хуже, чем воображала! Вот тогда бы моя жизнь погибла и красота на земле для меня исчезла!

Добрая кормилица не слишком-то была способна симпатизировать подобным чувствам. Если бы даже их характеры были более сходны, то и тогда неравенство лет сделало бы эту симпатию невозможной. Кто, кроме юноши, может служить отголоском души другого юноши – всей музыки ее безумных порывов и романтических грез? Но не сочувствуя своей молодой госпоже в этом, добрая кормилица сочувствовала той пылкости, с какой все было высказано. Она считала безрассудным, но удивительно трогательным. Она отерла выступившие слезы кончиком своего покрывала и в глубине

сердца надеялась, что ее молодая питомица скоро найдет себе действительного, а не воображаемого мужа, который вытеснит из ее головы эти невещественные фантазии. Затем в их разговоре последовала некоторая пауза, как вдруг на самом перекрестке двух улиц послышался громкий хохот в несколько глоток и шаги людей. Пламя поднятых факелов спорило с бледным светом луны. На очень близком расстоянии от двух женщин шла компания из семи или восьми человек, неся страшное знамя Орсини.

В числе других беспорядков того времени существовало у молодых и распутных нобилей обыкновение небольшими вооруженными компаниями расхаживать ночью по улицам, ища случая для буйного волокитства или для драки с какими-нибудь запоздавшими прохожими противной им партии. Подобную шайку встретили теперь Ирена и ее спутница.

– Матерь Божия! – вскричала Бенедетта, побледнев и чуть не убегая. – Что за бедствие на нас обрушилось! Как могли мы засидеться до такой поздней поры у синьоры Нины? Бегите, синьора, бегите, или мы попадемся им в руки!

Но совет Бенедетты опоздал, и в темноте одежда женщин была уже замечена; в одну минуту их окружили негодяи. Грубая рука сорвала покрывало Бенедетты, и при виде ее лица, черты которого хотя и не были пощажены временем, но все-таки не имели ничего особенно безобразного, дерзкий буйан толкнул бедную кормилицу к стене с проклятием, на которое товарищи его отвечали громким смехом.

– Ты чертовски счастлив на лица, Джузеппе!

– Да, не далее как вчера он подцепил девушку шестидесяти лет.

– И для улучшения ее красоты перерезал ей лицо кинжалом, потому что ей было не шестнадцать!

– Тише, ребята! А это кто? – сказал предводитель компании, богато одетый человек, который несмотря на то, что приближался уже к средним летам, еще тем более предавался излишествам юности, и он вырвал трепещущую Ирену из рук своих товарищей. – Эй! Факелы сюда! Oh, she bella faccia (какая красавица)! Как она краснеет – какие глаза! Нет, не смотри вниз, моя милочка; тебе нет надобности стыдиться того, что ты возбудила любовь в одном из Орсини – да. Узнай, какой великий подвиг ты сделала. Марино ди Порто просит твоей улыбки!

– Пустите меня, ради Бога! Нет, синьор, этого не может быть, у меня есть друзья, это оскорбление вам не пройдет даром!

– Слышите, каким серебристым голоском она ворчит! Это приключение стоит того, чтобы его искать в течение целого месяца. Как! Вы противитесь? Огрызаетесь, кричите? Франческо, Пьетро! Закутайте ее в покрывало,

заглушите эту музыку; вот так! Несите ее передо мной в палатку, а завтра, моя милашка, ты вернешься домой с корзинкой флоринов и можешь сказать, что купила ее на рынке!

Но крики и противодействие Ирены уже привлекли к ней на помощь Адриана. Когда он приблизился, кормилица упала перед ним на колени.

– Ах, добрый синьор, ради Христа, спасите нас! Освободите мою молодую госпожу – ее друзья так вас любят! Мы все за Колоннов, да, право, все за Колоннов! Спасите родственницу ваших подданных, добрый синьор!

– Довольно того, что она женщина, – отвечал Адриан, – и что на нее напал один из Орсини, – прибавил он сквозь зубы. Он гордо вошел в самую середину группы; слуги схватились за мечи, но, узнав его, дали ему дорогу. Подойдя к двум людям, которые уже схватили Ирену, Адриан в один момент повалил переднего из них на землю; потом обнял левой рукой легкий, тонкий стан девушки и стал против Орсини с обнаженным мечом, впрочем, опустил его вниз.

– Стыдитесь, монсиньор, стыдитесь! – сказал он с негодованием. – Или вы хотите принудить весь Рим к восстанию против нашего сословия? Не раздражайте льва, хотя он закован в цепи; воюйте с нами, если вам угодно. Обнажайте свои мечи против мужчин, хотя они принадлежат к вашему племени и говорят вашим языком: но если вы хотите спокойно спать ночью, не боясь нападения мстителей, и безопасно ходить на площади, то не оскорбляйте римской женщины! Да, эти самые стены напоминают вам о наказании за такое дело. За эту обиду пали Тарквинии, за эту обиду пали децемвиры, за эту обиду, если вы ее сделаете, потечет, как вода, кровь вашего дома. Так оставьте же, монсиньор, ваше безумное покушение, недостойное вашего великого имени. Оставьте и благодарите Колонну за то, что он стал между вами и минутным вашим безумием!

Вид и жесты Адриана были так благородны и величавы, что даже грубые слуги почувствовали дрожь одобрения и раскаяния, – только не Мартино ди Порто. Он был поражен красотой своей пленницы, так внезапно у него отнятой; он привык наносить оскорбления, привык к продолжительной безнаказанности. Уже один вид, один голос Колонны были противны его зрению и слуху: как же мог он вынести, что этот Колонна мешал его разврату и порокам?

– Педант! – вскричал он, и губы его задрожали. – Не болтай мне о своих пустых легендах и баснях. Не думай вырвать у меня мою добычу, когда твоя собственная жизнь в моих руках. Оставь девушку! Брось свой меч! Воротись домой без дальнейших разговоров или, клянусь честью и мечами моих слуг (посмотри на них хорошенько), ты умрешь!

– Синьор, – сказал Адриан спокойно, однако же отступая мало-помалу со своей прекрасной ношей к ближайшей стене, чтобы по крайней мере быть защищенным с тыла, – ты не употребишь превосходства сил своих во зло и не захочешь повредить своей чести, возбудив молву, что с восемью вооруженными людьми ты напал на одного человека, у которого притом не совсем свободны руки. Но если ты решился на такой поступок, то вспомни, что мне стоит крикнуть, и превосходство сил будет против тебя. Ты теперь в квартале моей семьи, ты окружен жилищами Колоннов; вон тот дворец наполнен людьми, которые спят не раздеваясь, мой голос сейчас может дойти до них, но он не в состоянии будет спасти тебя, если они попробуют крови!

– Он говорит правду, благородный синьор, – сказал один из толпы, – мы зашли слишком далеко; мы теперь в самой их берлоге, дворец старого Стефана Колонны так близко, что крик может дойти до него; насколько я знаю, – прибавил он шепотом, – и восемнадцать новых солдат вошли сегодня в его ворота.

– Хоть бы восемьсот врагов были против меня, – сказал Мартино с бешенством, – я не допущу, чтобы меня так провели слуги моей собственной свиты. Прочь ту женщину! К нападению, к нападению!

С этими словами он сделал отчаянный прыжок к Адриану, который, внимательно следя за всеми движениями неприятеля, был подготовлен к атаке. Отразив удар Мартино, он вскричал громким голосом: – Колонна! На выручку! Колонна!

Не без цели находчивый и умевший владеть собой Адриан старался до сих пор продлить переговоры. В ту самую минуту, как он в первый раз обратился к Орсини с речью, он при лунном свете увидел блеск лат, сиявших на груди двух человек, приближавшихся от дальнего конца улицы, и, приняв в расчет местность, решил, что это наёмные солдаты Колонны.

Осторожно он опустил Ирену на землю, потому что она лишилась чувств, и, став над нею спиной к стене, отражал беспрестанно направляемые против него удары, не стараясь отплатить за них. Как ни были привычны римляне к постоянной беспорядочной войне, но не многие из них в то время хорошо и ловко владели оружием, – знание, приобретенное Адрианом в школах воинственного севера, помогло ему теперь, несмотря на превосходство сил неприятеля. Впрочем, свита Орсини не разделяла бешенства своего вождя. Частью боясь для себя последствий в случае, если кровь этого высокородного синьора будет пролита ими, частью тревожась опасением внезапного нападения со стороны наемников, которые были так близко, эти люди наносили удары без цели и как попало, оглядываясь каждую минуту

назад и по сторонам, готовые скорее к бегству, нежели к убийству. С криком «Колонна!» бедная Бенедетта убежала при первом стуке мечей. Она бежала по мрачной улице и, не останавливаясь, миновала даже порталы Стефанова дворца (где еще бродило несколько угрюмых фигур): так велики были ее смущение и ужас.

Между тем, два вооруженные человека, которых заметил Адриан, не торопясь шли по улице. Один имел вид грубый и простой; его оружие и телосложение говорили о его ремесле и нации, к которой он принадлежал, а по большому уважению, с которым он обращался к своему товарищу, можно было заключить наверное, что этот товарищ не был итальянским уроженцем. Разбойники севера, в то самое время как они служили порокам итальянцев, почти не принимали на себя труда скрывать свое презрение к их трусости.

Товарищ наемника имел воинственный и непринужденный вид. Вместо шлема на голове у него была шапочка из малинового бархата с белым пером; на красном суконном плаще его были вышиты два широкие белые креста, один на груди, другой на спине; а полировка его лат была так блестяща, что когда по временам плащ его распахивался и открывал их, то они сияли так же, как игравшие на них лучи месяца.

– Нет, Родольф, – сказал он, – если тебе хорошо здесь у этого седого затейника, то я не стану заманивать тебя назад в нашу веселую шайку. Боже меня избави! Но скажи мне – этот Риенцо, как ты думаешь: имеет он прочную и полную власть?

– Фи! Благородный вождь, ничего подобного. Он нравится черни, а благородные смеются над ним; что же касается солдат, то у него на них нет денег!

– Так он нравится черни!

– Да, нравится; и когда он громко говорит к ней, то все в Риме стихает.

– Гм! При ненависти к нобилям чернь, наняв солдат, в один час может сделаться господином. Честен народ – слаба чернь, испорчен народ – сильна чернь, – проговорил другой более про себя, нежели обращаясь к товарищу и, может быть, едва сознавая вечную истину своего афоризма. – Я подозреваю, что он не простой буян, этот Риенцо, я должен на это взглянуть. Чу! Что это за шум? Клянусь гробом Господним, это звук нашего металла!

– И крик «Колонна!» – вскричал Родольф. – Извините меня – я должен бежать на помощь!

– Да, это твоя обязанность, беги; впрочем, постой, я пойду с тобой gratis, просто из страсти к дракам. Клянусь, никакая музыка не может сравниться со звоном стали.

Адриан продолжал еще храбро защищаться и не был ранен, хотя его рука стала ослабевать, дыхание почти истощилось и глаза начали мигать и уставать, утомленные светом колеблющихся факелов. Сам Орсини, измученный бешенством, на минуту остановился, тяжело дыша и меряя противника свирепыми взглядами, как вдруг его слуги закричали: – Бегите, бегите! Бандиты идут, мы окружены! – и двое из них, без дальнейших разговоров, дали тягу. Другие пятеро остались в нерешимости и ожидали только приказания своего господина, когда воин с белым пером бросился в середину схватки.

– Как, господа, – сказал он, – вы уже кончили? Нет, не станем расстраивать забаву; прошу вас, начинайте опять. Как велико неравенство? Эге! Шестеро против одного! Неудивительно, что вы ждали более честной игры. Мы двое присоединяемся к слабейшей стороне. Ну, теперь начнемте.

– Наглец! – вскричал Орсини. – Знаешь ли, с кем ты говоришь так надменно? Я – Мартино ди Порто. А ты кто?

– Вальтер де Монреаль, провансальский дворянин и рыцарь св. Иоанна, – отвечал тот небрежно.

При этом грозном имени – имени одного из самых смелых воинов и первостатейных разбойников своего времени, щеки Мартино побледнели, а его приверженцы испустили крик ужаса.

– А этот мой товарищ, – продолжал кавалер, – вам, римским патрициям, вероятно, известен больше, нежели я: вы, без сомнения, узнаете в нем Родольфа из Саксонии, человека храброго и верного там, где его прилично награждают за его услуги.

– Синьор, – сказал Адриан своему врагу, который, изумленный и онемевший, бессмысленно смотрел на двух вновь прибывших людей, – вы теперь в моей власти. Смотрите, и наши люди идут.

И в самом деле со стороны дворца Стефана Колонны показались факелы и вооруженные люди, которые быстро приближались к месту происшествия.

– Ступай домой с миром, и если завтра или в другой какой-нибудь день, наиболее удобный для тебя, ты захочешь встретиться со мной один на один, копьё с копьём, по обычаю имперских рыцарей, или с несколькими людьми против нескольких, по обыкновению римлян, я не откажусь – вот моя перчатка.

– Благородно сказано, – заметил Монреаль, – и если вы избираете последнее, то, с позволения вашего, я буду одним из участников.

Мартино не отвечал; он поднял перчатку, засунул ее за пазуху и поспешил прочь. Только пройдя несколько шагов по улице, он обернулся назад и, махая

на Адриана сжатым кулаком, вскричал голосом, дрожавшим от бессильной злобы: – Верен до смерти!

Эти слова были одним из девизов Орсини; и каково бы ни было их первоначальное значение, они давно уже перешли в обыкновенную поговорку для обозначения ненависти этой семьи к Колоннам.

Адриан, старавшийся теперь поднять Ирену, которая еще не очнулась, и привести ее в чувство, предоставил Монреалу отвечать на слова Мартино.

– Я не сомневаюсь, синьор, – сказал это последний холодно, – что ты будешь верен смерти, потому что смерть есть единственное обязательство, которого не могут нарушить или избежать люди, как бы хитры они ни были.

– Извини меня, благородный рыцарь, – сказал Адриан, поднимая глаза от Ирены, – если я еще не успел предаться вполне чувству признательности. Я довольно сведущ в законах рыцарства, и, надеюсь, ты согласишься с тем, что первая моя обязанность вот здесь.

– А! Так дама была причиной ссоры! Мне нет надобности спрашивать, кто был прав, если человек нападает на своего соперника с таким превосходством сил, как этот подлец.

– Ты несколько ошибаешься, господин рыцарь, это ягненок, которого я отнял у волка.

– Для своего собственного стола! Пусть будет так! – весело возразил кавалер.

Адриан с важностью улыбнулся и отрицательно покачал головой. Его положение было несколько затруднительно. Обыкновенно вежливый к дамам, он не хотел однако же подвергать кривотолкам бескорыстие своего последнего поступка и подрывать, во вред своим стараниям о приобретении популярности, доверие граждан к своему благородству, взяв в свой дом Ирену, красоты которой притом он до сих пор почти не заметил. Но в настоящем ее положении ничего другого невозможно было придумать. Она не обнаруживала никакого признака жизни. Он не знал ни дома ее, ни родства; Бенедетта исчезла. Он не мог оставить ее на улице; не мог решиться вверить ее попечению других; и теперь, когда она лежала на его груди, чувствовал, что она уже сделалась дорога ему, в силу покровительства, которое так льстит человеческому сердцу. Поэтому он вкратце объяснил собравшимся вокруг него людям свое настоящее положение и причину происшедшей драки, и приказал факельщикам идти вперед для освещения дороги к его дому.

– Надеюсь, кавалер, – сказал он, обращаясь к Монреалу, – вы удостоите быть моим гостем, если не имеете уже более приятного приглашения?

– Благодарю вас, синьор, – отвечал Монреаль лукаво, – быть может и у меня есть свои дела. Прощайте! Я приду к вам при первом удобном случае. Покойной ночи, приятных снов.

И, напевая сквозь зубы эту грубую песню из старой легенды «Roman de Rou», провансалец ушел в сопровождении Родольфа.

При обширном пространстве Рима и небольшом его населении многие улицы его были совершенно пусты. Таким образом, знатнейшие нобили имели возможность владеть большими рядами строений, и укрепляли их частью друг против друга, частью против народа. Вокруг них жили многочисленные родственники и подданные, образуя, так сказать, сами по себе небольшие подворья и города.

Дом Адриана находился почти напротив главного дворца Колоннов, занимаемого могущественным родственником его Стефаном. Тяжело растворились массивные ворота перед молодым человеком. По широкой лестнице он понес девушку в комнату, которая, согласно вкусу Адриана, была убрана по моде, еще не распространившейся в те времена. Кругом были расставлены древние бюсты и статуи, разрисованные ломбардские обои украшали стены и покрывали массивные скамьи.

– Эй! Свеч и вина! – вскричал сенешаль.

– Оставьте нас одних, – сказал Адриан, бросая страстный взор на бледные щеки Ирены; при ярком свете луны он рассмотрел теперь вполне ее красоту, и сладкая, пламенная надежда затеплилась в его сердце.

V

ЗАГОВОРЩИК И ЗАРЯ ЗАГОВОРА

Один, у стола, покрытого разными бумагами, сидел человек в цвете лет. Комната была низка и длинна; вдоль стен было расставлено множество древних попорченных барельефов и торсов, перемешанных по местам с короткими мечами и касками, заржавевшими памятниками доблестей древнего Рима. Над самым столом, у которого он сидел, лунный свет врывался сквозь высокое и узкое окно, глубоко вдавшееся в массивную стену. Направо от этого окна, в нише, закрывавшейся задвижной дверью, находилось около тридцати или сорока манускриптов, количество, считавшееся тогда довольно значительной библиотекой. Это были большей частью тщательные копии, сделанные рукой владельца с бессмертных оригиналов. Дверь ниши была несколько отодвинута, но ее прочность и

железный лист, которым она была обита, показывали, как дорого ценил владелец хранившееся за нею сокровище.

Склонившись щекой на руку, слегка нахмутив брови и сжав губы, он предавался размышлениям, далеко не похожим на спокойные грезы ученого. Тихий лунный свет, падавший сверху на его лицо, придавал еще более торжественного достоинства его чертам, от природы строгим и естественным. Густые волосы, каштановый цвет которых, редкий между римлянами, приписывался тевтонскому его происхождению, вились крупными кудрями на его высоком и открытом лбу; но его лицо имело не греческую форму, тем менее тевтонскую. Крепкая челюсть, орлиный нос, несколько впалые щеки поразительным образом напоминали характер суровой римской расы и могли бы послужить живописцу приличной моделью для изображения младшего Брута.

Резкий контур лица и короткая крепкая верхняя губа не были прикрыты бородой и усами, бывшими тогда в моде. На полинялом портрете его, сохранившемся в Риме, можно открыть некоторое сходство с обыкновенными изображениями Наполеона не собственно в чертах, которые на портрете римлянина суровее и резче, но в особенном выражении сосредоточенной и спокойной власти, которое так верно воплощает идеал умственного величия. Он был еще молод, но свойственные молодости преимущества, – свежесть и краска лица, округленные щеки, не изборожденные заботой, открытые, невпавшие глаза и нежная тонкость стана не отличали наружность уединенного труженика. Хотя современники считали его чрезвычайно красивым, но это суждение основывалось не на обыкновенных понятиях о наружности, а на том, что, кроме высокого роста, ценившегося тогда более, чем теперь, он обладал той более благородной и редкой в те грубые времена красотой, которую образованный ум и энергичный характер придают даже чертам непривлекательным.

Риенцо (это был он) приобретал все более твердости и энергии с каждой ступенью к власти. В его происхождении было одно обстоятельство, которое, вероятно, имело сильное и раннее влияние на его честолюбие. Несмотря на бедность и на низкое звание его родителей, отец его был побочный сын императора Генриха VII[3]; и вероятно из гордости, родители Риензи дали ему воспитание, выходящее из обыкновенной сферы. Гордость эта перешла к Неизгу; происхождение его от царской крови, которое звучало в его ушах и питало его мысли от колыбели, заставляло его, с самой ранней юности, считать себя равным римским синьорам и почти бессознательно стремиться к превосходству над ними. Но по мере того, как римская литература

раскрывалась перед его жадным взором и честолюбивым сердцем, он пропитывался гордостью национальной, которая выше, чем гордость породы, и за исключением тех случаев, когда его подстрекали намеки на его происхождение, он искренно ценил в себе более римского плебея, нежели потомка тевтонского короля. Смерть брата и превратности в его собственной судьбе укрепили серьезные и величавые качества его характера; и наконец все способности его необыкновенного ума сосредоточились на одном предмете, который, от его мистически религиозного и патриотического духа, принимал характер чего-то священного и сделался для него в одно и то же время и долгом, и страстью.

– Да, – сказал Риенцо, очнувшись вдруг от своей задумчивости, – да, близок день, когда Рим снова возникнет из пепла. Угнетение будет низвергнуто правосудием; люди безопасно будут ходить на своем древнем форуме. Мы вызовем неукротимый дух Катона из его забытой могилы! В Риме опять будет народ! А я буду орудием этого торжества, восстановителем своего племени; мой голос первый подымет воинственный клич свободы, моя рука прежде всех воздвигнет знамя. Да, с высоты моей души я вижу уже возникающую свободу и величие нового Рима, и на краеугольном камне этого огромного здания потомство прочтет мое имя.

При этих словах вся личность говорящего, казалось, прониклась его честолюбием. Он ходил по мрачной комнате легкими, быстрыми шагами, как будто по воздуху; грудь его высоко вздымалась, глаза сверкали. Он чувствовал, что даже любовь едва ли может доставить восторг, равный тому, который в своем девственном энтузиазме ощущает патриот, сознающий искренность своих чувств.

Послышался легкий стук в дверь, и явился слуга в богатой ливрее папских служителей[4].

– Синьор, – сказал он. – Монсиньор епископ Орвиетский!

– А! Очень рад. Свеч сюда! Монсиньор, это честь, которую я могу больше ценить, нежели выразить.

– Полно, полно, добрый друг мой, – возразил епископ, входя и непринужденно садясь, – всякие церемонии со служителями церкви излишни; и никогда, я думаю, она не нуждалась в друзьях больше, чем теперь. Эти нечестивые смуты, эти буйные распри в самых святилищах и городе св. Петра достаточны для того, чтобы служить соблазном для всего христианского мира.

– И это, – сказал Риенцо, – будет продолжаться до тех пор, пока его святейшество благосклонно не согласится утвердить свою резиденцию в местопребывании его предшественников, и сильной рукой не обуздает буйства нобилей.

– Увы! – отвечал епископ. – И ты знаешь, что эти слова – пустой звук. Если бы папа и исполнил твои желания и приехал из Авиньона в Рим, то, клянусь кровью св. Петра, он бы не обуздал нобилей, а нобили обуздали бы его. Тебе хорошо известно, что пока его предшественник, блаженной памяти, не принял благоразумного намерения удалиться в Авиньон, этот отец христианского мира, подобно многим другим отцам в старости, был под управлением и надзором своих мятежных детей. Разве ты не помнишь, как сам благородный Бонифаций, человек с великой душой и железными нервами, был в рабстве у предков Орсини? Он не входил и не выходил без их воли и, подобно орлу в клетке, разбился о стену своей тюрьмы и умер. Ты говоришь о воспоминаниях прежних времен Рима, но для пап эти воспоминания не совсем-то привлекательны.

– Пусть так, – сказал Риенцо с тихим смехом и подвигая свой стул ближе к епископу, – это, конечно, самый лучший довод монсиньора, и я должен признаться, что как ни было дворянство в те времена упрямо, своевольно и нечестиво, оно теперь еще хуже.

– Даже я сам, – прибавил Раймонд краснея, – я, наместник папы и представитель его духовной власти, не далее как три дня тому назад подвергся грубому оскорблению со стороны того самого Стефана Колонны, который всегда получал только благосклонность и ласки от святого престола. Его слуги затолкали моих среди улицы, и я сам, делегат властителя царей, был принужден отступить к стене и ждать, пока этот седой наглец пройдет мимо. Для довершения обиды не было недостатка в богохульных словах. «Извини, монсиньор епископ, – сказал он, проходя около меня, – но ты знаешь, что эти люди непременно должны иметь первенство перед другими».

– Его дерзость простерлась до этого! – сказал Риенцо, прикрывая свое лицо рукою, и на его губах показалась особого рода улыбка, едва ли веселая сама по себе, хотя она развеселяла других, но она совершенно изменила выражение его лица, от природы серьезное даже до суровости. – В таком случае для тебя так же, как и для нас, настало время к...

– К чему? – прервал епископ с живостью. – Разве мы можем что-нибудь сделать? Оставь свои восторженные грезы, сойди на землю, посмотри рассудительно вокруг. Что можем мы сделать против этих сильных людей?

– Монсиньор, – отвечал Риенцо епископу. – Несчастье людей вашего сана состоит в том, что они никогда не знают ни народа, ни духа времени. Как те,

которые, стоя на вершине горы, видят внизу облака, скрывающие от их глаз ущелья и долины, между тем как другие, стоящие несколько выше обыкновенного уровня, обнимают взором движения и дома людей, – так точно и вы, с вашей гордой вершины, видите только смешанные и темные пары, между тем как я, с моего более скромного места, вижу приготовления пастухов к укрытию себя самих и своих стад от бури, которую предвещают эти облака. Не отчаивайтесь, монсиньор; терпение простирается только до известного предела, предел этот уже достигнут, Рим ждет только случая (и он придет скоро, хотя не внезапно) восстать против угнетателей...

Великая тайна красноречия состоит в искренности, – у Риенцо она заключалась в силе его энтузиазма. Может быть, подобно большей части людей, предпринимающих великие дела, он сам никогда не знал вполне о препятствиях, лежавших на его дороге. Он видел цель, ясную и светлую, и в мечтах своей души перепрыгивал преграды и пространство своего пути, и таким образом глубокое убеждение его ума неотразимо действовало на других. Он, казалось, не столько обещал, сколько пророчествовал.

На епископа орвиетского, который не отличался необыкновенным умом, но обладал холодным темпераментом и большой житейской опытностью, энергия его собеседника произвела впечатление, может быть тем более сильное, что его собственные страсти и гордость были возмущены против высокомерия и своеволия нобилей. Прошло какое-то время, прежде чем он ответил Риенцо.

– Но, – спросил он наконец, – только плебеи хотят восстать? Ты знаешь, как они изменчивы и ненадежны.

– Монсиньор, – отвечал Риенцо, – суди по одному факту, как много у меня друзей не простого звания. Ты знаешь, как громко я говорю против нобилей; я называю их по именам. Я издеваюсь над Савелли, Орсини, Колоннами, у самих ушей их. Неужели ты думаешь, что они прощают мне? Неужели ты думаешь, что они не схватили бы меня открытой силой, если бы моими защитниками и покровителями были одни плебеи, что мне не заткнули бы рта уже давно, засадив меня в тюрьму или закопав в могилу? Наблюдай, – продолжал он, заметив по лицу викария, что эти слова произвели на него впечатление – наблюдай, и ты увидишь, что во всем мире начался великий переворот. Варварская тема веков прояснилась; знание, которое в минувшие времена делало людей, так сказать, полубогами, вызвано из своей урны. Власть, которая тоньше грубой силы и могущественнее вооруженных людей, принялась за свою работу; мы опять начали поклоняться владычеству разума. Эта власть несколько лет тому назад увенчала Петрарку в Капитолии, не

видавшем триумфа в течение двенадцати веков. Она человека темного происхождения и не известного военными подвигами осыпала почестями, служившими в древние времена наградой императорам и победителям царей, и соединила в одном деле поклонения гению даже соперничающие дома Колоннов и Орсини. Она заставила самых гордых патрициев наперебой добиваться чести нести шлейф и прикасаться к пурпурной мантии сына флорентийского плебея. Она до сих пор привлекает, глаза Европы к бедной Воклюзской хижине. Она дает скромному труженику всеми признанное право увещевать тиранов и приближаться с гордыми мольбами даже к папе. Она, безмолвно трудясь по всей Италии, ропщет под твердыми основами венецианской олигархии[5]. Она за Альпами видимо и внезапно пробудила жизнь в Испании, Германии и Фландрии и даже на варварском острове, завоеванном норманнами, в руках доблестнейшего из живущих королей[6], пробудила дух, который не в силах уничтожить завоеватели. И эта власть живет повсюду, именем ее говорит человек, который теперь пред вами; убеждая в истине ее дел всех, на кого упал хоть один луч света, всех, в ком только могут быть возжены великодушные стремления! Знай, господин викарий, что, за исключением самих угнетателей, в Риме нет человека, сердце и меч которого не на моей стороне, если только он знает хоть одно слово нашего древнего языка. Мирные ученые, гордые, но не знатные нобили – это возникающее поколение, более благоразумное, чем их празднлюбивые отцы; а более всего скромные служители церкви, священники и монахи, которые еще не ослепли и не оглохли от пышности и роскоши и поэтому видят и слышат чудовищные оскорбления, днем и ночью наносимые христианству, в христианской столице; все они неразрывными узами связаны с купцами, ремесленниками, ожидая только сигнала погибнуть или победить, жить свободно или умереть бессмертно, вместе с Риенцо и его родиной!

– Неужели ты говоришь это серьезно, – сказал епископ, вздрогнув и привставая на стуле, – докажи истину своих слов, и ты найдешь служителей Божиих не менее ревностными к общему благу, как и их мирские братья.

– Что я говорю, – отвечал Риенцо более спокойным тоном, – то могу и доказать, но только тем, которые хотят быть с нами.

– Не бойся меня, – сказал Раймонд, – мне, как уполномоченному представителю его святейшества, хорошо известны тайные его мысли. Если только он увидит, что сила патрициев, которые в своем высокомерии ни во что не ставят власть самой церкви, ограничена законными и естественными пределами, то он благосклонен к тому, кто это делает. Я в этом уверен до того, что, в случае успеха, освящу его своим согласием в качестве папского

наместника. Но берегись необдуманных попыток; церковь не должна ослаблять себя, приставая к шаткому делу.

– Согласен, монсиньор, – отвечал Риенцо, – и в этом политика церкви совершенно одинакова с политикой свободы. Судите о моем благоразумии по моему продолжительному отсрочиванию. Невероятно, чтобы тот, кто видит вокруг себя всеобщее нетерпение, кто сам не меньше нетерпелив, однако же не дает сигнала и выжидает, – невероятно, чтобы такой человек потерял свое дело через опрометчивость.

– В таком случае вот что, – сказал епископ, садясь. – По мере того, как твои планы будут созреть, не бойся сообщать их мне. Поверь, что Рим не имеет друга более преданного, чем тот, кто, будучи поставлен для сохранения порядка, находит себя бессильным против нарушения его. Теперь обратимся к цели моего посещения, которая, может быть, в некоторой степени имеет связь с тем, о чем мы говорили... Ты помнишь, что когда его святейшество вверил тебе твою теперешнюю должность, он приказал тебе объявить его благодетельное намерение учредить в Риме генеральный юбилей на 1350 год – намерение в высшей степени мудрое по двум причинам, которые достаточно ясны для тебя: во-первых, каждая христианская душа, которая предпримет по этому случаю путешествие в Рим, может таким образом получить общее отпущение грехов; а во-вторых, говоря с материальной точки зрения, стечение пилигримов, с их дарами и пожертвованиями, очень значительно поправит доходы святого престола, которые теперь, кстати сказать, не слишком в цветущем положении. Ты это знаешь, милый Риенцо.

Риенцо утвердительно кивнул головой; прелат продолжал:

– Его святейшество с величайшим прискорбием замечает, что его благочестивые намерения могут быть расстроены. На больших дорогах в окрестностях Рима разбойники так свирепы и многочисленны, что самый смелый пилигрим, может быть, побоится предпринять это путешествие. На него решатся, вероятно, только беднейшие люди христианского братства, которые, не имея при себе ни золота, ни серебра, ни драгоценных даров, будут иметь мало причины бояться хищности разбойников. Отсюда вытекают два следствия: с одной стороны, богатые, которые, как ясно видно из Евангелия, имеют наибольшую нужду в отпущении грехов, будут лишены этого благоприятнейшего случая; а с другой – у сокровищницы святого престола будет нечестиво похищено богатство, которое она в противном случае, без сомнения, получила бы от усердия его чад.

– Ничто не может быть логичнее этого, монсиньор, – сказал Риенцо.

Викарий продолжал:

– В письмах, которые я получил пять дней тому назад, его святейшество приказывает мне объяснить эти страшные последствия для христианского мира разным патрициям, законным вассалам церкви, и управлять их решительным союзом против дорожных грабителей; с ними я говорил, но напрасно.

– Потому, что они войсками этих самых разбойников или с их помощью укрепили свои дворцы друг против друга, – прибавил Риенцо.

– Именно по этой причине, – подтвердил епископ. – Мало того – Стефан Колонна имел дерзость сознаться в этом. Совершенно нечувствительный к гибели столь многих драгоценных душ и, могу я прибавить, к папской казне, которая благомыслящему человеку должна быть почти столько же дорога, они не хотят сделать ни одного шага против бандитов. Теперь послушай, в чем состоит второе приказание его святейшества. «В случае неуспеха у нобилей, – пишет он в своей пророческой прозорливости, – поговори с Колой Риенцо. Он человек смелый и благочестивый и, по твоим словам, имеет большое влияние на народ. Скажи ему, что если он придумает способ к искоренению этих сынов Велиала и к безопасности публичных дорог, то он щедро будет награжден нами, – мы будем обязаны ему вечной благодарностью. Если ты и служители нашего престола могут ему подать какую бы то ни было помощь, то пусть ему не будет в ней отказано».

– Так пишет его святейшество! – вскричал Риенцо. – Я ничего больше не требую – я должен быть благодарен, что он такого мнения о своем слуге и дает мне это поручение. Не колеблясь, я принимаю его и ручаюсь за успех. Итак, монсиньор, надо ясно обозначить пределы моей власти. Для обуздания разбойников вне города я должен иметь власть над разбойниками внутри его. Принимая на себя, с опасностью для жизни, дело очистить дороги к Риму от грабителей, которыми они наполнены, буду ли я уполномочен действовать смело, решительно и строго?

– Этого требует само свойство поручения, – отвечал Раймонд.

– Даже хотя бы это было против главных нарушителей порядка, против покровителей разбойников – против надменнейших из нобилей?

Епископ помолчал, и пристально взглянул в лицо своего собеседника.

– Я повторяю, – сказал он наконец, понизив голос и значительным тоном, – в подобных смелых предприятиях успех – единственная санкция. Имей успех, и мы простим тебе все, даже...

– Смерть какого-либо Колонны или Орсини, если того потребует правосудие, лишь бы только она была согласна с законами и заслужена нарушением их? – прибавил Риенцо твердо.

Епископ не отвечал словами, но легкое движение его головы служило Риенцо достаточным ответом.

– Итак, монсиньор, – сказал он, – с этого времени дело решено. Настоящий разговор я считаю началом переворота, восстановления порядка, возрождения государства. До сих пор зная, что правосудие не может падать на знатных преступников, я колебался из опасения, чтобы ты и его святейшество не сочли подобной строгости жестокостью и не порицали восстановителя закона за то, что он поражает его нарушителей. Теперь я понимаю вас лучше. Вашу руку, монсиньор.

Епископ протянул руку; Риенцо крепко сжал ее и почтительно приложил к своим губам. Оба понимали, что договор заключен.

Это совещание, так продолжительное в рассказе, было коротко в действительности; но предмет его был решен, и епископ встал. Дверь дома отворилась, многочисленные слуги епископа подняли факелы, и он вышел от Риенцо, который проводил его до ворот. Вдруг какая-то женщина, торопливо пробравшись через свиту прелата и вздрогнув при виде Риенцо, бросилась к его ногам.

– О, поспешите, синьор, поспешите! Ради Бога поспешите, иначе молодая синьора погибла навсегда!

– Синьора! Боже мой! Бенедетта, о ком ты говоришь? О моей сестре, об Ирене? Разве ее нет дома?

– Ах, синьор! Орсини, Орсини!

– Что такое? Говори же!

И Бенедетта, задыхаясь и с множеством перерывов, рассказала Риенцо, в котором читатель узнал брата Ирены, то, что ей было известно о приключении с Мартино ди Порто. Об окончании и результате драки она ничего не знала.

Риенцо слушал молча, но мертвая бледность в лице и дрожание нижней губы выдавали волнение, которого он не обнаруживал словами.

– Вы слышите, ваше преосвященство, вы слышите, – сказал он по окончании рассказа Бенедетты, обращаясь к епископу, уход которого был приостановлен этим рассказом, – вы слышите, каким оскорблениям подвергаются римские граждане! Шляпу и меч! Сейчас! Монсиньор, простите мою невежливость.

– Куда же ты идешь? – спросил Раймонд.

– Как куда? Впрочем, я забыл, что у вас нет сестры, монсиньор. Может быть также у вас нет и брата? Нет, я спасу одну жертву по крайней мере. Вы спрашиваете куда? В палаццо Мартино ди Порто.

– К Орсини, один, за правосудием!

– Да, один, за правосудием! – вскричал Риенцо громким голосом, схватывая меч, принесенный ему одним из слуг и стремительно выходя из дому. – Но одного человека довольно для мщения!

Епископ помедлил, размышляя.

– Он не должен погибнуть, подвергаясь один ярости этого волка, – прошептал он и потом вскричал: – Эй, факелы вперед! Живо! Мы, наместник папы, сами хотим посмотреть на это. Успокойтесь, добрые люди, ваша синьора будет вам возвращена. Эй, в палаццо Мартино ди Порто!

VI

ИРЕНА В ПАЛАЦЦО АДРИАНА ДИ КАСТЕЛЛО

Как Пигмалион смотрел на изображение, в котором он воплотил мечты своей юности, по мере того как живые краски медленно выступали на мраморе, так молодой и страстный Адриан смотрел на склонившуюся перед ним фигуру, которая постепенно пробуждалась к жизни. Если эта красота не принадлежала к разряду величественных и ослепительных, если ее спокойный и неясный характер уступал в блеске многим в сущности менее совершенным чертам, то не было лица, которое для некоторых глаз могло бы показаться более очаровательным. Не было лица, которое бы в большей степени обладало тем необъяснимым девственным выражением, которого ищет итальянское искусство для своих моделей. Это – и внешняя скромность, и сокровенная нежность, цветущая юность лица и сердца, в первой поре их нежной и тонкой свежести, когда сама любовь, это единственное беспокойство, которое должно посещать девушку в подобном возрасте, бывает только чувством, а не страстью!

– Бенедетта! – прошептала Ирена, открывая наконец глаза и бессознательно обращая их на Адриана, стоявшего перед ней на коленях. Эти глаза имели тот неопределенный оттенок, на который можно было бы смотреть целые годы, не добившись тайны их цвета, – так изгонялся он с расширением зрачка, темнея в тени и переходя в лазурь от света.

– Бенедетта, – сказала Ирена, – где ты? Ах, Бенедетта, какой сон я видела!

«Я тоже, какое видение!» – думал Адриан.

– Где я? – вскричала Ирена, приподымаясь. – Эта комната, эти обои – Святая Дева! Неужели я еще во сне! – А вы – Боже мой! Это синьор Адриан ди Кастелло!

– Тебя разве научили бояться этого имени? – сказал Адриан. – Если так, то я отрекаюсь от него.

Ирена сильно покраснела, но не от безумной радости, с которой она выслушивала бы от Адриана первые слова преданности. Расстроенная и смущенная, испуганная тем, что находится в месте, ей чуждом, дрожа от мысли, что она наедине с человеком, который целые годы жил в ее воображении, Ирена более всего чувствовала тревогу и горечь. Эти чувства отразились на выразительном ее лице, и когда Адриан подвинулся к ней ближе, то, несмотря на тихость его голоса и почтение в его взглядах, опасения ее, сильные, несмотря на свою неопределенность, увеличились. Она отступила в дальний угол комнаты, дико озираясь вокруг, и, закрыв лицо руками, зарыдала.

Тронутый ее слезами и угадывая мысли ее, Адриан на минуту забыл свои более смелые желания.

– Не бойся, милая девушка, – сказал он с жаром, – умоляю тебя, опомнись, никакая опасность, ничто дурное тебе здесь не грозит. Эта рука спасла тебя от оскорблений Орсини, а эта кровля – дружеское убежище! Скажи мне свое имя, где ты живешь, позову моих слуг и сейчас же провожу тебя домой.

Может быть не столько слова, сколько облегчившие Ирену слезы привели ее в себя и сделали ее способной понимать свое настоящее положение. По мере того, как прояснившиеся чувства сказали ей, чем она обязана человеку, которого так долго воображала идеалом превосходства всякого рода, к ней возвратилось присутствие духа. Она выразила свою благодарность с очаровательной грацией, нисколько не потерявшей от того, что к ней примешивалось еще некоторое смущение.

– Не благодари меня, – отвечал Адриан страстно. – Я прикоснулся к твоей руке и награжден этим. Награжден! Нет! Вся благодарность, вся преданность должна быть выражена с моей стороны!

Покраснев опять, но уже от совершенно других чувств, нежели прежде, Ирена после минутной паузы отвечала:

– Однако, синьор, я должна понимать всю важность услуги, о которой вы говорите так легко. А теперь довершите вашу обязательность. Я не вижу здесь моей кормилицы, пусть она проводит меня домой; это недалеко отсюда.

– Да будет благословен воздух, которым я дышал, не подозревая твоей близости! – сказал Адриан. – Но, милая девушка, твоей кормилицы здесь нет. Я думаю, она убежала во время суматохи. Не зная твоего имени и не имея возможности в тогдашнем твоем положении узнать это от тебя, я, к моему

счастью, должен был принести тебя сюда; я провожу тебя. Но что значит этот боязливый взгляд? Мои люди тоже пойдут с нами.

– Моя благодарность, синьор, имеет мало, цены; мой брат, которого ты знаешь, поблагодарит тебя более достойным образом. Могу я идти? – и с этими словами Ирена была уже у двери.

– Ты оставляешь меня с таким нетерпением! – отвечал Адриан грустно. – Увы, когда ты уйдешь от моих глаз, это будет похоже на то, как бы месяц скрылся с ночного неба. Но повиноваться твоим желаниям – все-таки счастье, хотя бы это разлучало меня с тобой.

Легкая улыбка промелькнула на губах Ирены, и Адриан услышал, как забилось его сердце, когда из этой улыбки и из этих потупленных глаз он вывел для себя благоприятное предзнаменование.

Медленно и неохотно Адриан повернулся к двери и позвал своих слуг.

– Но, – сказал он на лестнице, – ты говоришь, что мне неизвестно имя твоего брата. Дай бог, чтобы это был друг Колоннов!

– Он гордится, – отвечала Ирена уклончиво, – Кола Риенцо гордится тем, что он – друг всем друзьям Рима.

– Святая Дева! Этот необыкновенный человек твой брат? – вскричал Адриан, увидев в этом имени преграду для своей внезапной страсти. – Увы! В Колонне, в патриции он не признает никакого достоинства, хотя, милая девушка, твой счастливый избавитель давно старался сделаться его другом!

– Ты очень обижаешь его, синьор, – отвечала Ирена с жаром. – Он более всех других людей способен сочувствовать великодушной храбрости, хотя бы она была выказана для защиты самой последней римской женщины, тем более для защиты его сестры!

– Плохи времена, – отвечал Адриан задумчиво, – плохи времена, если люди, которые одинаково оплакивают бедствия родины, подозревают друг друга. Если быть патрицием – значит быть врагом народу, если тот, кого называют другом народа, считается врагом патрициев. Но пусть будет, что будет. О! Позволь мне надеяться, дорогая девушка, что никакие сомнения и раздоры не вытеснят из твоего сердца доброго воспоминания обо мне!

– Ах! Мало, мало вы знаете меня! – начала было Ирена и вдруг остановилась.

– Говори, говори! Ты не забудешь меня? И мы встретимся опять? Теперь мы идем к дому Риенцо; завтра я нанесу визит моему старому товарищу, и завтра я увижу тебя. Да?

Ирена отвечала молчанием.

– Ты сказала мне имя своего брата; сделай это имя приятным для моего слуха, прибавь к нему свое.

– Меня зовут Иреной.

– Ирена, Ирена! Позволь мне повторить. Это – нежное имя, оно остается на губах, как будто не хочет с ними расстаться; очень подходящее имя для такого создания, как ты.

Объясняясь таким образом с Иреной тем цветистым языком, на котором поэзия юношеской страсти во всех странах и во все времена высказывает свое великолепное безумие (хотя этот язык преимущественно был свойствен тому веку и понятен любви), Адриан проводил свою прекрасную спутницу домой, выбирая впрочем наиболее длинную дорогу, – хитрость, которую Ирена или не заметила, или безмолвно простила. Они уже подходили к улице, где жил Риенцо, как вдруг с ними столкнулась толпа людей с факелами. Это была свита епископа орвиетского, возвращавшаяся из палаццо Мартино ди Порто и шедшая (вместе с Риенцо) к палаццо Адриана. Не видавшись с самим Орсини, они узнали от его слуг на дворе исход сражения и имя защитника Ирены. Несмотря на репутацию Адриана, как волокиты, Риенцо хорошо знал его характер и благородство, чтобы быть уверенным в безопасности Ирены под его покровительством. Увы! В этой самой личной безопасности часто заключается величайшая опасность для сердца. Никогда любовь женщины не бывает опаснее, чем тогда, когда тот, кого она любит, сдерживает ради нее свои порывы.

Прижавшись к груди брата, Ирена просила его поблагодарить ее избавителя; и Риенцо, с той откровенностью, которая так привлекательна у людей обыкновенно скрытных и которую должен по временам выказывать всякий, кто хочет управлять сердцами своих ближних, подошел к молодому Колонне и выразил свою похвалу и благодарность.

– Мы слишком долго были в разлуке друг с другом, и должны возобновить знакомство, – отвечал Адриан. – Я скоро навещу тебя, непременно.

Обратясь потом к Ирине, чтобы проститься с нею, он поднес ее руку к своим губам. Пожав эту руку, неужели он обманулся, вообразив, что нежные пальцы девушки слегка, невольно отвечали тоже пожатием?

VII

О ЛЮБВИ И ЛЮБОВНИКАХ

Если бы Шекспир, взяв для своей драмы легенду о любви Ромео и Юлии, перенес сцену действия в более северный климат, то едва ли даже искусство

этого великого поэта могло бы нас примирить, в одно и то же время, с внезапностью и силой страсти Джульетты. Даже и теперь, я думаю, между нашими благоразумными и рассудительными островитянами мало найдется таких, которые на прямой вопрос не захотят добросовестно признаться, что романтизм и пылкость несчастных веронских любовников им кажутся ненатуральными и преувеличенными. Но в Италии такая любовь, родившаяся в одну ночь и «сильная, как смерть», принадлежит к числу самых общих мест жизни, которая представляет там» бесчисленные подобные примеры. Как в разные века, так и в разном климате любовь видоизменяется удивительным образом. Даже в настоящую минуту под итальянским небом многие простые девушки способны чувствовать то же, что и Джульетта, и многие простые любовники поспорят с Ромео в сумасбродстве. В этой жаркой стране продолжительное ухаживание неизвестно. Может быть, нигде не встречается так часто любовь с первого взгляда, и вместе с тем ни в какой стране любовь, вспыхнувшая так внезапно, не сохраняется с такой верностью. То, что созрело в воображении, вдруг переходит в страсть, которая постоянно поддерживается чувством. Пусть это будет моим и их извинением, если любовь Адриана возникла слишком внезапно, а любовь Ирены – слишком романтически. Эти качества они заимствуют от воздуха и солнца, от обычаев своих предков, от тонкой заразительности примера. Но они поддавались внушениям своего сердца с некоторой тайной грустью, с предчувствием, которое, может быть, имело свою прелесть, хотя это было предчувствие затруднений и чего-то недоброго. Происходя от гордой фамилии, Адриан почти не мог думать о браке с сестрой плебея, а Ирена, не подозревавшая будущей славы своего брата, едва ли могла питать какую-нибудь надежду, кроме надежды быть любимой. Но эти неблагоприятные обстоятельства, которые в более твердых, более благоразумных, более способных к самоотвержению и может быть в более доброжелательных умах, сформировавшихся под северным небом, служили бы побуждением к борьбе против любви, так невыгодно сложившейся, еще более способствовали поддержанию и укреплению любви Адриана и Ирены. Препятствия имели для них свою романтическую прелесть. Они находили частые случаи видеться, хотя и на короткое время, – не совсем наедине, а в присутствии потворствовавшей им Бенедетты – иногда в общественных садах, иногда среди обширных и пустых развалин, окружавших дом Риенцо. Не задавая много вопросов будущему, они предавались упоению и блаженству минуты. Они жили изо дня в день; их будущее заключалось в ближайшей их встрече; за этой чертой их юная любовь уходила в мрак тени, куда они не старались проникнуть. Они еще не достигли того периода привязанности, когда им

могла грозить опасность падения, – их любовь не переступила порога той золотой двери, где оканчивается небо и начинается земля. Любовь для них была поэзия, неопределенность, изящество, а не сила, сосредоточенность и чувственность желаний. Это были взгляд, шепот, мимолетное пожатие руки, обозначающие грань чувства, которое наполняло их новой жизнью и возвышало их, вдыхая в них новую душу.

Стремления Адриана, бывшие до сих пор неопределенными, теперь определились и сосредоточились; грезы девушки, дорогой его сердцу, пробудились к жизни еще мечтательной, но уже истинной. Вся задушевность, энергия и пылкость чувства, которые у ее брата проявлялись патриотическими планами и стремлениями к власти, у Ирены смягчались в одной цели существования, в одном средоточии души – в любви. Но в этом по-видимому ограниченном пространстве мысли и деятельности существовала сфера не менее беспредельная, как и в обширном пространстве многообъемлющего честолюбия ее брата. Она не меньше его имела силы и воли ко всем возвышенным стремлениям, дарованным нашей смертной природе. Не менее велик был ее энтузиазм к своему идолу, не менее велики, в случае равных испытаний, были бы ее великодушие и преданность: но мужество ее, конечно, было бы выше, обожание ее – неизменнее и дальше от себялюбивых целей и низких намерений. Время, перемены, несчастье, неблагодарность не изменили бы ее. Какое государство могло бы пасть, какая свобода могла бы погибнуть, если бы усердие шумного патриотизма мужчины было столь же чисто, как безмолвное бескорыстие женской любви?

В них все было молодо; они обладали неохладевшим и непоблекнувшим сердцем – полнотой и роскошью жизни, имеющими в себе что-то божественное. В том возрасте, когда нам кажется, что мы не можем умереть, как ярко и сильно все, что создается нашим сердцем! Наша юность похожа на юность земли, когда леса и воды населены божествами, когда жизнь безумно кипит, но производит одну красоту, все ее образы – поэзия, все ее песни – мелодии Аркадии и Олимпа. Золотой век никогда не оставляет мира: он существует и будет существовать, пока есть на свете любовь, здоровье и поэзия. Но существует он только для людей молодых!

Если я теперь останавливаюсь на этой интермедии драмы, требующей более мужественных страстей, чем страсть любви, это я делаю потому, что нам представится очень мало подобных случаев. Если я распространился в описании Ирены и ее сокровенной привязанности, вместо того, чтобы предоставить обстоятельствам высказать ее характер, то это я делаю потому, что, как я предвижу, ее любящий и милый образ останется до конца более тенью, чем портретом. Он будет отодвинут на задний план более смелыми

фигурами и более яркими цветами – обыкновенная судьба подобных натур, присутствие которых более ощутимо, нежели видно, сама гармония которых с целым состоит в их удалении и покорном спокойствии.

VIII

ЭНТУЗИАСТ И СУЖДЕНИЕ О НЕМ БЛАГОРАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕКА

– Ты несправедливо судишь обо мне, – сказал Риенцо с жаром Адриану, когда они сели перед концом продолжительного своего разговора наедине. – Я не играю роли простого демагога; я не хочу возмущать глубину для того, чтобы мое благополучие выплыло со дна на поверхность. Я так долго думал о прошедшем, что мне кажется, будто бы я составляю его часть и не имею отдельного существования. Я выковал мою душу в одну господствующую страсть, и цель ее – восстановить Рим.

– Но какими средствами?

– Синьор, синьор! Для восстановления величия народа есть только одно средство: воззвание к самому народу. Князья и бароны не в силах доставить государству прочную славу; они возвышаются сами, но не возвышают вместе с собой народа. Все великие благодетельные перевороты были произведены всеобщим движением массы.

– Нет, – отвечал Адриан, – или мы поняли историю не одинаково. Мне кажется, что все великие благодетельные перевороты были делом немногих, и безмолвно приняты большинством. Но не будем спорить, как спорят в школах. Ты громко говоришь, что близок великий кризис, что *buono stato* (доброе государство) будет восстановлено. Каким образом? Где ваше оружие? Ваши солдаты? Разве нобили менее сильны, чем прежде? А чернь – разве она теперь смелее и постояннее? Бог свидетель, что я говорю, не придерживаясь предрассудков моего сословия; я оплакиваю упадок моей родины. Я римлянин и в этом имени забываю, что я патриций. Но я трепещу пред бурей, которую ты хочешь поднять так опрометчиво. Если твое возмущение удастся, то оно будет насильственно, успех будет куплен кровью – кровью всех самых гордых имен Рима. Ты имеешь целью второе изгнание Тарквиниев, но оно будет более похоже на второе изгнание Силлы. Кровь и беспорядки никогда не пролагают дороги миру. С другой стороны, если тебе не удастся, – цепи Рима сомкнутся навсегда и неудачная попытка к бегству послужит только предлогом к прибавке невольнику новых мучений.

– Так что же, по мнению синьора Адриана, мы должны делать? – спросил Риенцо с особенной саркастической улыбкой, о которой я уже говорил. – Неужели нам следует ждать, пока Колонны и Орсини не перестанут ссориться? Или мы должны просить у Колоннов свободы, а у Орсини – правосудия? Синьор, мы не можем апеллировать к нобилиям против нобилей. Нам некстати просить их, чтобы они умерили свою власть, которую мы должны возратить себе сами. Эта попытка, может быть, опасна, но мы делаем ее среди памятников форума, и если мы погибнем, то погибнем достойными наших предков. Вы, люди высокого происхождения, вы имеете звучные титулы и обширные земли и говорите о вашей прадедовской чести. Мы, плебеи, тоже имеем свою: наши предки были свободные люди! Где наше наследственное имущество? Оно не продано, не отчуждено, а похищено у нас то обманом, то силой; украдено, когда мы спали, или вырвано у нас жестокими руками среди наших криков и борьбы. Синьор, мы требуем только возвращения нам этого наследства; наша, нет, не только наша, но и ваша свобода исчезла. Разве вы можете жить в доме своего отца без башен, укреплений и наемных мечей бандитов? Разве можете ходить по улицам в темноте без оружия и свиты? Правда, вы, благородные, можете мстить, а мы не смеем. Вы в свою очередь можете устрашать и оскорблять других, но разве своеволие вознаграждает за отсутствие свободы? Вам даны великолепие и могущество, но безопасность и одинаковые законы были бы лучшим даром. О, если бы я был на вашем месте, если бы я был даже на месте самого Стефана Колонны, я бы жаждал так же сильно, как теперь, свежего воздуха, который не проходит через решетки и укрепления, воздвигнутые против сограждан, а любит открытое пространство, которое безопасно, потому что находится под защитой закона, а не страха и подозрения, неизбежных спутников ненавистной власти. Тиран воображает себя свободным, потому что он повелевает рабами: но самый незначительный крестьянин в свободном государстве свободнее его. О, синьор, если бы вы – мужественный, великодушный, просвещенный, вы, почти единственный из вашего сословия человек, знающий, что у нас была родина, о, если бы вы, который может сочувствовать нашим страданиям, захотели помочь нам в облегчении их!

– Ты хочешь войны против Стефана Колонны, моего родственника, но хотя я редко его вижу и, сказать правду, не питаю к нему большого уважения, но он – гордость нашего дома: как же я могу присоединиться к тебе?

– Его жизнь, его имения, его звание – будут в безопасности. Против чего мы воюем? Его могущество вредит другим.

– Если бы он узнал, что твоя сила не ограничивается словами, то он был бы не так милостив к тебе.

– Разве он не заметил этого? Разве клики народа не показали ему, что я человек, которого он должен бояться? Неужели он, лукавый, осторожный и проницательный, строя крепости и воздвигая башни, не видит с высоты их здания, которое я тоже построил?

– Вы! Где, Риенцо?

– В сердцах римлян! Разве он не видит? – продолжал Риенцо. – Нет, нет, он и все его племя слепы. Не правда ли?

– Мой родственник не верит вашей силе, иначе, он давно бы уже раздавил вас. Впрочем, нет. Не далее как три дня тому назад он сказал с важностью, что он желал бы лучше, чтобы вы говорили с чернью, нежели достойнейший из священников христианского мира; так как они только воспламеняют народ, но ни один человек не умеет так успокоить народ и заставить его разойтись, как вы.

– И его называют проницательным! Разве небо не делает воздух тихим, подготавливая бурю? Да, синьор, я понимаю. Стефан Колонна презирает меня. Я бывал (и щеки его сильно покраснели) – я бывал – вы помните это – в его дворце в мои более молодые годы и забавлял его своими замысловатыми рассказами и веселыми изречениями. Ха! Ха! Ха! Он, помните, в виде веселого комплимента называл меня своим забавником, шутом! Я перенес обиду; я даже поклонился при его одобрении. Я готов бы опять перенести эту пытку, подвергнуться тому же стыду из-за тех же побуждений и ради того же дела. Чего я хотел добиться? Можете вы сказать? Нет! Ну так я откровенно объясню это вам: я хотел добиться презрения Стефана Колонны. Это презрение защищало меня, пока я не перестал иметь надобности в защите. Я не желал прослыть между патрициями за страшного человека для того, чтобы иметь возможность спокойно и не возбуждая подозрений прокладывать свою дорогу к народу. Я так поступал прежде, теперь сбрасываю маску. Став против Стефана Колонны лицом к лицу, я могу хоть сейчас сказать ему, что не боюсь его гнева, что смеюсь над его тюрьмами и солдатами. Но если он считает меня прежним Риенцо, – пусть его; я могу ждать своего времени.

– Да, – проговорил Адриан в ответ на гордую речь своего собеседника; – скажи мне, чего ты требуешь для народа, чтобы избежать воззвания к его страстям? При его невежестве и прихотливости ты не можешь обращаться к его благоразумию.

– Я требую полного правосудия и безопасности для всех. Я не буду доволен ничем, что меньше этого. Я требую, чтобы нобили срыли свои крепости, распустили своих вооруженных наемников, отреклись от

безднаказанности лиц знатного рода за преступления, не искали защиты нигде, кроме судов, действующих по общим для всех законам.

– Напрасное желание! – сказал Адриан. – Проси того, что можно дать.

– Ха-ха! – возразил Риенцо, горько смеясь. – Не говорил ли я вам, что просить закона и справедливости у вельможи – пустая мечта. Можете ли вы упрекать меня теперь за то, что я ищу их в другом месте? – Потом, вдруг изменяя тон и манеру, он прибавил с большой торжественностью: – Наяву случаются ложные и пустые грезы; но сон иногда бывает вещим пророком. Посредством сна небо таинственно беседует со своими созданиями и руководит и поддерживает своих земных посланников на тропинке, по которой ведет их промысел его.

Адриан не отвечал. Не в первый раз он заметил, что сильный ум Риенцо странным образом соединен с глубоким и мистическим суеверием. И это еще более заставляло молодого нобиля, мало склонного к дикому суеверию того времени, сомневаться в успехе планов своего собеседника. Он сильно ошибался, хотя его ошибка была ошибкой людей, отличающихся житейской мудростью. Ничто так не внушает человеку смелости, как пламенное убеждение, что он есть орудие Божественной мудрости. Мщение и патриотизм, соединенные в одном человеке, гениальном и честолюбивом – вот Архимедовы рычаги, которые в фанатизме находят для себя лежащую вне мира точку, чтобы посредством ее двигать этот мир. Благоразумный человек может управлять государством, но только энтузиаст возрождает его – или губит.

IX

КОГДА НАРОД УВИДЕЛ КАРТИНУ, ТО ВСЕ УДИВЛЯЛИСЬ

Перед рыночной площадью, у подножия Капитолия, собралась огромная толпа. Каждый старался протолкаться вперед своего соседа; каждый старался добраться до одного особенного места, вокруг которого сплошная толпа образовала толстую стену.

– *Copro di Dio*, – сказал человек огромного роста, продвигаясь вперед, как какой-то массивный корабль, раскидывающий волны направо и налево, – это жаркая работа, но во имя Св. Девы, чего вы так толпитесь? Разве не видите, синьор Рибальд, что моя правая рука разбита и перевязана, так что я не могу теперь ничего сделать, точно малый ребенок? А вы напираете на меня, как на какую-нибудь старую стену!

– А, Чекко дель Веккио! Да, мы должны дать вам дорогу, вы слишком малы и нежны и не в силах протолкаться через толпу. Подите сюда, я буду защищать вас! – сказал карлик около четырех футов ростом, взглянув на гиганта[7].

– Право, – сказал угрюмый кузнец, озираясь на толпу, которая громко смеялась, услышав предложение карлика, – мы все нуждаемся в покровительстве; и большие, и малые. Чего вы смеетесь, вы, обезьяны? Впрочем, вы не понимаете притчей.

– И, однако же, мы пришли посмотреть на притчу, – сказал один из толпы, слегка оскалив зубы.

– Добрый день, синьор Барончелли, – отвечал Чекко дель Веккио, – вы хороший человек и любите народ; сердце радуется, когда вас видишь. Из-за чего вся эта суматоха?

– Папский нотариус выставил на площади большую картину, и зеваки говорят, что она имеет отношение к Риму; ну, так они теперь и вытапливают свои мозги на жару, чтобы отгадать загадку.

– Го, го! – сказал кузнец, подвигаясь вперед с такой силой, что вдруг оставил говорящего за собой. – И если Кола ди Риенцо затевает что-нибудь, то я готов пробиваться через каменные утесы, чтобы быть возле.

– Много добра принесет нам эта пачкотня, – сказал Барончелли кисло и обращаясь к соседям; но никто его не слушал, и он, претендент на звание демагога, злобно закусил губу.

Среди подавленных вздохов и проклятий мужчин, которых расталкивал дюжий кузнец, и открытой брани и пронзительных криков женщин, к платьям и головным уборам которых он оказывал столько же мало уважения, он дошел до пространства, огороженного цепями, в центре которого была поставлена большая картина.

– Как он пришел сюда? – вскричал один. – Я был первый на площади.

– Мы нашли ее здесь чуть свет, – сказал продавец плодов, – никого еще не было возле.

– Но почему вы вообразили, что в этом участвовал Риенцо?

– Кто же другой? – отвечали двадцать голосов.

– Правда! Кто другой? – отозвался долговязый кузнец. – Я готов поклясться, что добрый человек провел целую ночь, рисуя ее сам. Клянусь, славная картина! Что там нарисовано?

– Вот в том-то и загадка, – сказала одна торговка рыбой.

– Если бы я могла это разобрать, то умерла бы спокойно.

– Это, без сомнения, что-нибудь о свободе и о налогах, – сказал Луиджи, мясник, наклоняясь над цепями. – Ах, если бы Риенцо захотел, то всякий бедняк имел бы в своем горшке кусок мяса.

– И столько хлеба, сколько бы мог съесть, – прибавил бледный хлебопек.

– Вот выдумали! Хлеба и мяса! Они теперь у всякого есть! Но какое вино пьют бедные люди! Никаких нет поощрений, чтобы можно было позаботиться о винограднике, – сказал виноторговец.

– Го-гопло! Многие лета Пандульфо Ди Гвидо! Дорогу – он ученый человек, друг великого нотариуса; он нам объяснит картину. Дорогу, дайте дорогу![8]

Медленно и скромно Пандульфо ди Гвидо, спокойный, богатый, честный литератор, которого ничто, кроме насилия того времени, не могло вызвать из его тихого дома или из его рабочего кабинета, подошел к цепям. Он долго и пристально смотрел на картину, блестящую еще свежими влажными красками. Она была похожа на произведение возрождавшегося искусства, которое вначале отличалось грубыми и жесткими чертами, а потом было доведено до гораздо большей степени совершенства и встречается в картинах Перуджино, процветавшего в следующей генерации. Народ толпился вокруг ученого с открытыми ртами, обращая глаза то к картине, то к Пандульфо.

– Разве вы не видите, – сказал наконец Пандульфо, – в чем состоит понятный и осязательный смысл этой картины. Посмотрите, как живописец изобразил обширное и бурное море – заметьте, как оно волнуется.

– Говори громче, громче! – вскричала нетерпеливая толпа.

– Тс! – вскричали те, которые стояли вблизи Пандульфо, – достойного синьора можно слышать совершенно ясно.

Однако же некоторые из более изобретательных, пробравшись к одной стойке на рыночной площади, принесли оттуда неуклюжий стол и просили Пандульфо говорить с него народу. Бледный гражданин, с некоторой неохотой и застенчивостью из-за непривычки к речам, должен был согласиться. Но когда он бросил взгляд на огромную и притаившую дыхание толпу, то его глубокое сочувствие к ее делу вдохновило и ободрило его. Его глаза засверкали, голос приобрел силу, а голова, обычно опущенная на грудь, поднялась.

– Вы видите пред собой, – начал он опять, – могущественное и бурное море; на его волнах – пять кораблей; четыре из них превратились уже в обломки; их мачты разбиты, волны врываются через погнившие доски; для них уже нет ни помощи, ни надежды; на каждом из этих кораблей лежит тело

женщины. Замечаете ли, как верно живописец в омертвелом лице и безжизненном теле изобразил оттенки и отвратительный вид смерти? Под каждым из этих кораблей есть подписи, которые соединяют метафору с истиной. Вон под тем подписано «Карфаген», под другими тремя – «Троя», «Иерусалим» и «Вавилон». Для этих всех четырех кораблей – одна общая надпись: «Мы доведены несправедливостью до истощения». Обратите взгляд на середину моря – там вы видите пятый корабль, качающийся среди волн. Мачта его сломана, руль отбит, паруса порваны, но это еще не такое крушение, какое постигло другие корабли, хотя и с этим скоро будет то же самое. На палубе на коленях стоит женщина, одетая в траур: заметьте горе на ее лице; с каким умением художник изобразил глубину и безнадежность этого горя! Она простирает руки в молитве – она со слезами просит вас и небо о помощи. Теперь заметьте подпись – это Рим! – Да, ваша родина обращается к вам в этой эмблеме!

Толпа заволновалась, глухой ропот пробежал среди безмолвия, которое она до сих пор хранила.

– Теперь, – продолжал Пандульфо, – поверните глаза на правую сторону картины! И вы увидите причину бури; вы увидите, почему пятый корабль находится в такой опасности, а другие четыре погибли. Посмотрите – вон там четыре разных рода зверей; они из своих ужасных челюстей выпускают ветры и бури, которые тревожат и волнуют море. Первые – львы, волки и медведи. Это, как говорит вам надпись, законные и свирепые правители государства. Следующие – собаки и свиньи; это дурные советники и паразиты. Далее, вы видите драконов и лисиц – это несправедливые судьи и нотариусы, люди, продающие правосудие. В-четвертых – в зайцах, козлах, обезьянах, которые помогают производить бурю, вы, по надписи, видите эмблемы наемных воров и убийц, похитителей и грабителей. Вы до сих пор не понимаете, римляне? Или вы разгадали загадку картины?

Далеко, в своих массивных дворцах, Савелли и Орсини слышали отголоски криков, служивших ответом на вопрос Пандульфо.

– Разве у вас нет надежды? – продолжал ученый, когда утих шум, и прекращая первым звуком своего голоса восклицания и речи, с которыми каждый из толпы обратился к своему соседу. – Разве у вас нет надежды? Разве картина, показывающая вам бедствие, не обещает спасения? Взгляните, – над гневным морем открываются небеса, и Бог нисходит в величии и славе для суда; из лучей, окружающих Духа Божия, выдаются два пламенных меча, и на них – гневные, но пришедшие для освобождения, стоят двое апостолов –

могущественные покровители нашего города! Прощай, народ Римский!
Притча досказана[9].

X ВЫЗВАН СУРОВЫЙ ДУХ, КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ МОЖЕТ РАСТЕРЗАТЬ ЧАРОДЕЯ

В то время как вокруг Капитолия происходила эта оживленная сцена, внутри одной из комнат дворца сидел организатор и главный виновник волнения. В обществе спокойных писцов Риенцо, казалось, был углублен в скучные подробности своих занятий. До его комнаты доносились шум и гам, крики и шаги толпы, но он, казалось, не обращал на них внимания и ни на минуту не отрывался от своей работы. С неизменной регулярностью автомата, он продолжал вписывать в свою большую книгу ясным и красивым почерком того времени те проклятые цифры, которые лучше всякой декламации показывали обманы, совершаемые в отношении народа, и давали ему в руки оружие ясного факта, который так трудно опровергнуть.

– Страница 2, книга 13, – сказал он спокойным деловым голосом, обращаясь к писцам. – Посмотрите там статью – доходы с соляной пошрины; департамент № 3 – хорошо. Стр. 9 кн. Д. Каков отчет Вескобальди, сборщика? Как! Двенадцать тысяч флоринов и только? Бессовестный негодяй! (Здесь послышался крик за окном: «Пандульфо, многие лета Пандульфо!») Пастуччи, друг мой, вы рассеянны: вы слушаете шум под окном – прошу вас, позабавьтесь вычислением, которое я вам поручил, Санти, какой приход показан у Антонио Тралли?

Послышался легкий стук в дверь, и вошел Пандульфо.

Писцы продолжали работу, хотя поспешно взглянули на бледное лицо почтенного посетителя, имя которого, к их великому удивлению, выкликал народ.

– А, друг мой, – сказал Риенцо довольно спокойным голосом, между тем как руки его дрожали от плохо сдерживаемого волнения, – вы хотите говорить со мной наедине? Ну, так пойдите сюда. – С этими словами он провел гражданина в небольшой кабинет, прилегавший к задней части канцелярии, тщательно запер дверь и тогда, уже не скрывая своего явного нетерпения, схватил Пандульфо за руку. – Говори! – вскричал он. – Поняли

они толкование? Сделал ли ты его достаточно ясным и осязательным? Глубоко ли запало оно в их душу?

– О, да, клянусь Святым Петром! – отвечал тот, дух которого был возбужден недавним открытием, что он тоже оратор – обольстительное удовольствие для застенчивого человека. – Они поглощали каждое слово толкования; они тронуты до мозга костей своих; вы сейчас могли бы вести их в битву и делать их героями. Что касается дюжего кузнеца...

– Чекко дель Веккио? – прервал Риенцо, – о, его сердце выковано из бронзы – что он сделал?

– Он схватил меня за полу, когда я сходил с моей трибуны (о, если бы вы могли меня видеть! *Per fede*, я заимствовал вашу мантию, я был второй вы!), и сказал плача, как ребенок: «Ах, синьор, я бедный человек и незначительный; но если бы каждая капля крови в моем теле была жизнью, то я отдал бы ее за мою родину!»

– Честная душа! – сказал Риенцо с волнением. – Если бы в Риме было пятьдесят таких! Никто не сделал нам столько добра из людей его класса, как Чекко дель Веккио!

– Они видят покровительство даже в его огромном росте, – сказал Пандульфо. – Что-нибудь да значит – слышать такие полновесные слова от такого полновесного малого.

– Были ли там какие-либо голоса против картины и ее смысла?

– Ни одного.

– В таком случае время почти созрело; несколько дней еще, а затем трубный глас! – При этих словах Риенцо сложил руки, опустил глаза и, казалось, впал в задумчивость.

– Кстати, – заметил Пандульфо, – я почти забыл сказать тебе, что толпа хотела нахлынуть сюда: так нетерпеливо эти люди хотели тебя видеть, но я просил Чекко дель Веккио взойти на роstrу и сказать им, что было бы неприлично теперь, когда ты занят в Капитолии гражданскими и духовными делами, вломиться к тебе такой большой толпой. Хорошо я сделал?

– Очень хорошо, Пандульфо.

– Но Чекко дель Веккио говорит, что он должен прийти поцеловать у тебя руку: и он явится сюда, как только получит возможность выбраться из толпы.

– Добро пожаловать! – сказал Риенцо полумашинально, потому что был углублен в размышления.

– Да вот он! – прибавил Пандульфо, когда один из писцов возвестил о приходе кузнеца.

– Пусть войдет, – сказал Риенцо, спокойно садясь. Когда кузнец очутился в обществе Риенцо, то для Пандульфо забавно было видеть удивительное

влияние духа на материю. Грубый и могучий гигант, с крепким станом и железными нервами, который во всех народных волнениях возвышался над толпой, этот соединительный пункт и оплот других, – стоял теперь, краснея и дрожа, пред умом, который почти, можно сказать, создал его собственный. Одушевленное красноречие Риенцо раздуло искру, которая до тех пор таилась под пеплом в этой простой груди. Кто первый пробуждает в рабе чувство и дух свободы, тот приближается, насколько лишь дано человеку, более чем философ, более даже чем поэт, к божественному творчеству. Но если душа не приготовлена воспитанием к принятию этого дара, то он может сделаться проклятием для дающего, а тот, кто вдруг делается из раба свободным, может так же скоро сделаться из свободного негодяем.

– Подойти, мой друг, – сказал Риенцо после минутной паузы. – Я знаю все, что ты сделал и готов сделать для Рима! Ты достоин лучших дней его и рожден для того, чтобы принимать участие в их возвращении.

Кузнец упал к ногам Риенцо; тот, чтобы поднять его, протянул руку, которую Чекко дель Веккио схватил и почтительно поцеловал.

– Это не предательский поцелуй, – сказал Риенцо, улыбаясь, – но встань, мой друг, в этом положении мы должны находиться только пред Богом и его святыми.

– Тот свят, кто помогает нам в нужде! – отвечал кузнец. – И никто не сделал того, что ты. Но когда же, – прибавил он, понижая голос и пристально смотря на Риензи, как человек, который ждет сигнала нанести удар, – когда же мы начнем наше дело?

– Ты говорил со всеми честными людьми в твоём соседстве; совсем ли готовы они?

– На жизнь и смерть; они ждут приказания Риенцо!

– Я должен иметь список, знать число, имена, адреса и звания.

– Будет доставлено.

– Каждый должен подписать свое имя или поставить знак собственноручно.

– Это будет сделано.

– Так, слушай! Поди в дом Пандульфо де Гвидо сегодня вечером, на закате солнца. Он скажет тебе, где найти несколько мужественных людей; ты достоин быть в их числе. Ты не забудешь?

– Клянусь, я буду считать каждую минуту до тех пор! – сказал кузнец, и его смуглое лицо просияло гордостью от оказываемого ему доверия.

– Между тем, наблюдай за своими соседями, не давай никому унывать и падать духом, – никто из твоих друзей не должен быть запятнан клеймом изменника!

– Если я замечу, что кто-нибудь из наших отваливает, то я перережу ему горло, будь он сын моей матери! – сказал свирепый кузнец.

– Ха, ха! – отреагировал Риенцо своим странным смехом. – Чудо, чудо! Картина заговорила!

Было почти темно, когда Риенцо вышел из Капитолия. Широкое пространство, лежащее перед его стенами, было пусто; Риенцо шел задумавшись, плотно закутавшись в свой плащ.

«Я почти взобрался на вершину, – думал он, – и теперь у меня под ногами зияет бездна. Если мне не удастся, то – какое падение! – последняя надежда моей родины гибнет со мной. Никогда патриций не восстанет против патрициев. Никогда другой плебей не будет иметь удобных случаев и власти, как имею я! Рим связан со мной одной нераздельной жизнью. Свобода во все времена утверждалась на тростнике, который может быть с корнем выворочен ветром. Но, о Провидение! разве Ты не сохранило и не отметило меня для великих дел? Шаг за шагом Ты меня вело к этому важному предприятию! Каждый последующий час был приготовляем предыдущим! И однако же, какая опасность! Если непостоянный народ, сделавшийся трусливым вследствие продолжительного рабства, станет только колебаться во время кризиса, я погиб!»

При этих словах он поднял глаза и увидел первую вечернюю звезду, которая спокойно сияла над обломками Тарпейского утеса. Это было неблагоприятное предзнаменование, и сердце Риенцо забилося сильнее, когда эта темная, обвалившаяся масса вдруг представилась его взорам.

«Грозный памятник, – думал он, – каких темных катастроф, каких сокровенных планов бывал ты свидетелем! К какому множеству предприятий, о которых история молчит, ты приложил печать свою! Как можем мы знать – были они преступники или праведники? Как можем мы быть уверены, что тот, кого осудили, как изменника, не был бы, в случае своего успеха, награжден бессмертием, как избавитель? Если я паду, кто напишет мою историю? Кто-нибудь из народа? Увы! Слепая и несведущая, эта масса не может создать умов, которые могли бы апеллировать к потомству. Кто-нибудь из патрициев? Тогда какими красками я буду изображен! Для меня не найдется гробницы между обломками, ни одна рука не принесет цветов на мою могилу – все мои мечты о минувшей чести и славе послужат только к тому, чтобы осудить меня на вечный позор!»

Размышляя таким образом накануне огромного предприятия, на которое он себя обрек, Риенцо продолжал свой путь. Дойдя до Тибра, он несколько минут постоял около этой исторической реки, в глубине которой отражалось пурпурное и освещенное звездами небо. Он перешел мост, ведущий к

кварталу Трастеверинскому, гордые обитатели которого считают себя единственными настоящими потомками древних римлян. Здесь его шаги сделались скорее и легче; более светлые, хотя и не столь важные мысли наполнили его душу; и честолюбие, успокоившееся на минуту, оставило его напряженный и озабоченный ум под владычеством более нежной страсти.

XI НИНА ДИ РАЗЕЛЛИ

– Говорю тебе, Лючия, мне не нравятся эти материи; они ко мне не идут. Видела ли ты такие жалкие краски? Это пурпур? Как же! Это малиновый цвет? Зачем этот человек их оставил? Пусть он их завтра возьмет и несет, куда хочет. Они могут годиться синьорам по ту сторону Тибра, которые воображают, что все венецианское должно быть совершенно; но я, Лючия, вижу собственными глазами и сужу собственным умом.

– Ах, дорогая синьора, – сказала служанка, – и если бы вы были – да вы и будете непременно, рано или поздно, – большой синьорой, то с каким достоинством вы носили бы ваши почести! Santa Cecilia при синьоре Нине ни на одну римскую даму никто бы не смотрел!

– Не правда ли, мы показали бы им, что значит великолепие? – отвечала Нина. – О, какие мы задавали бы праздники! Видела ты с галереи праздники, данные на прошлой неделе синьорой Джулией Савелли?

– Да, синьора; и когда вы ходили по зале в своем наряде из серебряной парчи, усеянной жемчугом, то по галерее пробежал такой говор; все кричали, что Савелли принимает у себя ангела.

– Тс! Лючия, не льсти, девочка.

– Это чистая правда, синьора. Ну да это был действительно праздник, не правда ли? Какое великолепие! Пятьдесят слуг в красном сукне и золоте! Музыка играла все время. Менестрели были приглашены из Бергамо. Разве этот праздник вам не понравился? О, я ручаюсь, много сладких речей вам наговорили в тот день!

– Нет, там недоставало одного голоса, и этим вся музыка была испорчена. Но, милая, если бы я была на месте синьоры Джулии, то я не довольствовалась бы таким бедным праздником.

– Как, бедным! Все нобили говорят, что он перещеголял великолепнейший свадебный праздник Колонны. Мало того, один сидевший рядом со мной

неаполитанец, который служил у королевы Иоанны во время ее свадьбы, говорил, что такого не было даже в Неаполе.

– Может быть. Я не имею никакого понятия о Неаполе; но знаю, чем был бы мой двор, если бы я была тем, чем никогда не могу быть, а не тем, что я теперь. Посуда для банкета была бы у меня из золота, кубки до самых краев усыпаны были бы дорогими камнями, ни одного дюйма грубых плит пола не было бы видно, все было бы покрыто золотой парчой. Фонтаны в саду брызгали бы благовониями востока; мои пажи не были бы неотесанные ребята, краснеющие за свою неловкость, а прекрасные мальчики моложе двенадцати лет, взятые из лучших дворцов Рима, а что касается музыки, ах, Лючия! Каждый музыкант имел бы на голове венок и стоил бы его; а кто играл бы лучше всех, тот для поощрения остальных получал бы награду, розу из моих рук. А заметила ты платье синьоры Джулии? Какие цвета! Они затмили бы солнце в полдень! Желтый, голубой, оранжевый и пурпурный! Боже мой! Глаза мои потом болели целый следующий день!

– Конечно, синьора Джулия не имеет вашего искусства подбирать один цвет к другому, – сказала, поддакивая, служанке.

– А какая мина! Вовсе нет царственного величия! Она двигалась по зале, путаясь почти каждую минуту в своем шлейфе; да еще сказала с глупым смехом: «Эти праздничные платья только одна беспокойная роскошь». Правда. Потому что для знатных не должно быть праздничных платьев. Для себя, а не для других я одевалась бы. Каждый день у меня было бы новое платье, лучше прежнего; каждый день был бы у меня праздником!

– Мне кажется, – сказала Лючия, – что синьор Джованни Орсини очень ухаживал за синьорой.

– Он! Медведь!

– Медведь, может быть! Но у него дорогая шкура. Богатства его несметны.

– И дурак, не умеет их тратить.

– А это молодой синьор Адриан ди Кастелло говорил с вами у самых колонн, где играла музыка?

– Может быть, не помню.

– Однако же, я слышала, что немногие дамы забывают, когда за ними ухаживает синьор Адриан ди Кастелло.

– Там был только один человек, который, по-моему, стоит того, чтобы о нем вспомнить, – отвечала Нина, не заметив намека хитрой служанки.

– Кто же это? – спросила Лючия.

– Старый ученый из Авиньона.

– Как! Этот, с седой бородой? Ах, синьора!

– Да, – сказала Нина серьезно и грустно, – когда он говорил, все исчезало из моих глаз, потому что он говорил мне о нем!

При этих словах синьора глубоко вздохнула, и слезы подступили к ее глазам.

Служанка подняла презрительно губу, и ее глаза выразили изумление; но она не посмела возразить.

– Открой решетку, – сказала Нина после паузы, – и дай мне вон ту бумагу. Не эту, а стихи, которые мне присланы вчера. Как, ты итальянка, а не можешь инстинктом угадать, что я говорю о стихах Петрарки!

Нина села у открытого окна, через которое прокрадывались яркие и нежные лунные лучи. Лампа стояла возле нее и, прикрыв свои глаза, как будто для того, чтобы защитить себя от ее света, а на самом деле для того, чтобы спрятать свое лицо от взглядов Лючии, молодая синьора, казалось, углубилась в чтение одного из тех нежных сонетов, которые в то время кружили головы и воспаляли сердца в Италии[10].

Родившись в одной обедневшей семье, которая, хотя и гордилась своим происхождением от консульского поколения Рима, но в это время едва удерживала место между низшим дворянством, Нина ди Разелли была балованным ребенком – идолом и тираном своих родителей. Энергичный и своенравный характер ее был причиной, что она управляла там, где должна была бы повиноваться; и так как всегда природные наклонности могут преодолеть установившийся обычай, то она, несмотря на то, что родилась в стране, где молодые и незамужние женщины обыкновенно стеснены и связаны в своих поступках, присвоила, а через то и приобрела привилегию независимости. Правда, она имела больше образованности и ума, чем их обыкновенно выпадало на долю женщин того времени; и довольно для того, чтобы в глазах своих родителей быть чудом. Она обладала также тем, что они ценили еще больше – необыкновенной красотой, и – чего они боялись – неукротимой гордостью, которая, однако же, соединялась с тысячью нежных и привлекательных качеств и даже, казалось, исчезала там, где она любила. В одно и то же время тщеславная и великодушная, решительная и страстная, она в самом тщеславии своем обладала каким-то великолепием, в причудливости – идеальностью: ее недостатки составляли часть ее блистательных качеств; без них она бы казалась меньше женщиной. Зная ее, вы бы судили обо всех женщинах не иначе, как принимая ее за образец. Рядом с ней более нежные качества казались не очаровательнее, а пошлее. Она не имела честолюбия низшего сорта, она упорно отказалась от многих

партий, на которые дочь Разелли почти не могла надеяться. Необразованные умы и дикое могущество римских патрициев казались ее воображению, преданному мечтам и поэзии высокого звания, чем-то варварским и возмутительным, внушающим в одно и то же время ужас и презрение к ним.

Поэтому она миновала свой двадцатый год, не выйдя еще замуж, но не без любви, о которой мечтала. Сами недостатки ее характера возвысили тот идеал любви, который она себе составила. Ей нужно было существо, вокруг которого могли бы соединиться все ее наиболее тщеславные качества: она чувствовала, что любовь ее должна была переходить в обожание; ей нужен был необыкновенный идол, пред которым бы склонился ее твердый и повелительный дух. Не похожая на женщин более кротких, которые любят выполнять мимолетные капризы нежного господства над мужчиной, она должна была перестать повелевать там, где любила, и тотчас же перейти от гордости к преданности. Качества, которые могли привлечь ее, были так редки, ее гордость так настоятельно требовала, чтобы они были выше ее собственных, хотя того же рода, что ее любовь возвысила свой идеал в степень какого-то божества. Привыкнув презирать, она чувствовала всю роскошь благоговения! И если бы судьба соединила ее с человеком, которого она любила бы таким образом, то натура ее могла бы возвыситься натурой своего образца. Что касается ее красоты... Читатель, если ты когда-нибудь будешь в Риме, то увидишь в Капитолии изображение Кумской Сивиллы, о котором не может дать даже слабое понятие ни одна из многочисленных ее копий. В мрачной красоте этих глаз есть что-то странное и неземное. Прошу тебя, не смешивай этой Сивиллы с какой-нибудь другой, потому что в римских галереях множество Сивилл[11]. Та, о которой я говорю, смугла, и лицо ее имеет восточный тип; платье и тюрбан при всей своей пышности меркнут пред густым, но прозрачным румянцем ее розовых щек; волосы ее были бы черны, если бы не имели того золотого блеска, который смягчает их цвет и дает ему оттенок, встречаемый только на юге, да и то чрезвычайно редко; черты, хотя не греческие, но безукоризненные, рот, лоб, окончательно сформировавшийся в изящный контур, – все человечно и сладострастно; выражение, вид представляют нечто более возвышенное; формы, может быть, слишком полны для совершенства красоты, для пропорций скульптуры, для изящества афинских моделей, но этот роскошный недостаток имеет свое величие. Смотрите подольше на картину: она чарует, она приковывает глаз. Когда вы глядите на нее, вы вызываете время за пять столетий назад. Пред вами живой портрет Нины ди Разелли.

Внимание прекрасной Нины было в эту минуту погружено не в остроумные и выработанные фантазии Петрарки, в которых он, несмотря на свой поэтический гений, часто принимает педантство за страсть. Глаза ее были устремлены не на страницы, а на сад под окном. Лунный свет падал на старые фруктовые деревья и на вьющиеся виноградные лозы; среди зеленого, но полузапущенного дерна вода маленького круглого фонтана, совершенные пропорции которого говорили о днях давно минувших, играла и сверкала отражавшимися в ней звездами. Сцена была спокойна и прекрасна, но Нина не думала ни об ее спокойствии, ни об ее красоте: она обращала глаза к одному, самому темному и мрачному месту. Там деревья стояли густой массой, скрывая от глаз низкую, но толстую стену, которая окружала дом Разелли. Сучья этих деревьев чуть пошевелились, но Нина заметила их колебание, от массы их медленно и осторожно отделилась одинокая фигура, от которой на траву упала длинная и темная тень. Фигура подошла к окну и тихим голосом проговорила имя Нины.

– Скорее, Лючия! – вскричала она, задыхаясь. – Скорей! Веревочную лестницу! Это он! Он пришел! Как ты медлишь! Поторопись, девочка, его могут заметить! Так, теперь она привязана. Мой милый, мой герой, мой Риенцо!

– Это вы! – сказал Риенцо, войдя в комнату и обхватывая руками ее стан. – Что ночь для других, то день для меня!

Первые минуты встречи и приветствий прошли, и Риенцо сел у ног своей красавицы. Голова его склонилась на ее колени, глаза были устремлены на ее лицо, руки обоих были соединены вместе.

– И для меня ты презираешь эти опасности, – сказал Риенцо, – стыд в случае разоблачения тайны, гнев родителей!

– Что значат мои опасности в сравнении с твоими? О, Боже! Если бы отец мой увидал тебя здесь, ты бы погиб.

– Он счел бы таким страшным унижением, что ты, прекрасная Нина, которая могла бы быть под стать самым гордым именам Рима, тратишь свою любовь на плебея, хотя он внук императора!

Гордое сердце Нины было в состоянии вполне сочувствовать уязвленной гордости ее милого: она заметила боль, скрывавшуюся под беспечным тоном его ответа.

– Разве ты не говорил мне, – сказала она, – и о великом Марии, который не был благородным, но от которого вести свой род надменнейшие Колонны почли бы счастьем? Разве я не вижу в тебе человека, который затмит могущество Мария, не запятнав себя его пороками?

– Упоительная лесть! Милая предвещательница! – сказал Риензи с меланхолической улыбкой, – и никогда твои ободрительные обещания будущего не были для меня более кстати, чем теперь. Я скажу тебе то, чего бы не сказал никому другому: моя душа почти подавлена огромным бременем, которое я на себя принял. Я имею нужду в новом мужестве, потому что страшный час приближается. Я почерпну это мужество из твоих взглядов и слов.

– О! – отвечала Нина, краснея. – Славен жребий, который я купила моей любовью к тебе: разделять твои планы, утешать тебя в сомнении, нашептывать тебе любовь в минуты опасности!

– И награждать меня в минуты торжества, – прибавил Риенцо страстно. – О, если когда-нибудь я заслужу лавровый венок за спасение родины, то какая радость, какая награда – положить его у ног твоих! Может быть, в эти долгие и уединенные часы холодности и изнеможения, которыми наполняются скучные промежутки холодного размышления между моментами сильной деятельности, может быть, я бы не выдержал и поколебался, и отрекся бы даже от моих грез о Риме, если бы они не были связаны с моими грезами о тебе; если бы я не представлял себе того часа, когда судьба поставит меня выше моего рождения, когда твой отец не сочтет унижением отдать тебя мне, когда и ты займешь между римскими женщинами надлежащее место, как самая прекрасная и уважаемая из всех; когда эта пышность, которую я презираю в душе моей, сделается мне мила и приятна, потому что соединена с тобой! Да, эти мысли вдохновляли меня, когда серьезные думы отступали перед призраками, окружавшими их цель. О, моя Нина! Священна, сильна и терпелива должна быть любовь, живущая в том же чистом и возвышенном воздухе, который питает мои мечты о патриотизме, свободе и славе!

Этот язык, более чем обеты верности и милая лесть, выливающаяся от избытка сердца, заковывал гордую и тщеславную душу Нины в цепи, которые она так охотно носила. Быть может, в отсутствие Риенцо, поддаваясь более слабым свойствам своей природы, она представляла себе торжество того времени, когда она унизит этих высокородных синьор и затмит варварское великолепие римских вождей. Но при нем, прислушиваясь к словам более возвышенного и благородного честолюбия, к которому не примешивалось еще никакое личное чувство, исключая надежды на обладание ею, эгоизм слишком легко прощаемый, ее высшие симпатии соединялись с его планами; ее ум стремился стать в уровень с его умом, и она думала больше о его славе, чем о собственном возвышении. Гордости ее льстило быть единственной поверенной самых сокровенных его мыслей, самых отважных его предприятий, видеть пред собой открытым запутанный лабиринт его

предприимчивой души, быть допущенной даже до знакомства с сомнениями и слабостями этой души так же, как с ее героизмом и силой.

Любовь Риенцо и Нины находилась в совершенном контрасте с любовью Адриана и Ирены. В последней все состояло из фантазий, грез и причуд юности; они никогда не говорили о будущем и не примешивали к любви своей никаких других стремлений. Честолюбие, слава, высокие земные цели исчезали для них, когда они бывали вместе; любовь их поглощала весь мир и не оставляла кроме себя ничего видимого под солнцем. Напротив того, любовь Нины и Риензи была страсть, свойственная натурам более сложным, возрасту более зрелому. Она состояла из тысячи чувств, по природе отдельных друг от друга, но сосредоточенных в одном фокусе могуществом любви. Они разговаривали о мирском, из мира извлекали пищу, которая поддерживала их привязанность; они говорили и думали о будущем; из грез его и воображаемой славы они сделали себе дом и алтарь. Любовь их была разумнее любви Адриана и Ирены: пригоднее для этой грубой земли; в ней заключалось больше осадка позднейших железных дней и меньше поэзии первобытного золотого века.

– И ты теперь должен идти? – сказала Нина, уже не отворачивая своих щек от его поцелуев и своей талии от его прощальных объятий. – Месяц еще высоко; ты был у меня так недолго.

– Недолго! Увы! – сказал Риенцо. – Близка полночь, друзья меня ждут.

– Если так, иди, лучшая половина моей души! Я не стану удерживать тебя ни на минуту от высоких целей, которые делают тебя так мне дорогим. Когда мы опять увидимся?

– Я увижу тебя не так, – сказал Риенцо с гордостью, и вся душа его отразилась на лице, – и не так, и не украдкой, не как неизвестный и презренный раб! Когда ты меня увидишь в следующий раз, я буду во главе сынов Рима, его защитником, восстановителем или... – прибавил он, понизив голос.

– Здесь нет никакого или! – прервала Нина, обнимая его и воспламеняясь его энтузиазмом. – Ты предсказал свою собственную судьбу!

– Еще один поцелуй! Через десять дней солнце будет сиять уже над восстановленным Римом!

ХII

СТРАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАЛЬТЕРА ДЕ МОНРЕАЛЯ

В тот же вечер, при свете еще не погаснувших звезд, Вальтер де Монреаль возвращался на свою квартиру в монастырь, соединенный тогда с церковью Санта-Мария дельприората и принадлежащий так же, как и церковь, рыцарям странноприимского ордена. Он приостановился среди развалин и опустошения, лежавшего вокруг его дороги. Хотя он мало был сведущ в классических описаниях местности, но не мог избежать впечатления, производимого этим, так сказать, огромным скелетом умершей гигантской империи.

Он смотрел вокруг на обнаженные колонны и обвалившиеся стены, которые были видны повсюду, озаренные светом звезд. За ними находилась мрачная и зубчатая крепость Франджипани, наполовину скрытая темной листвой деревьев, которые росли среди самих храмов и дворцов древности, показывая таким образом торжество природы над непрочным искусством.

«Книжников, – думал Монреаль, – эта сцена вдохновила бы фантастическими и мечтательными видениями прошедшего. Но для меня эти памятники высокого честолюбия и царского блеска создают только образы будущего. Рим со своей семихолмной диадемой еще может быть, как был прежде, добычей наиболее сильной руки и наиболее смелого воина. Он может быть возвращен к жизни, но не своими выродившимися сынами, а если влить в него крови новой расы. Вильяму незаконнорожденному едва ли было так легко завоевать англичан, как Вальтеру законнорожденному – этих римских евнухов. А какое завоевание славнее: варварский остров или метрополия мира? Не далеко от вождя до подесты – еще ближе от подесты до короля!»

Между тем как мысли его были заняты этими прихотливыми, не совсем химерическими, честолюбивыми планами, послышались быстрые легкие шаги по траве. Взглянув вверх, Монреаль увидел высокую фигуру женщины, сходящей к подошве Авентина с того места этой горы, которая была покрыта многими монастырями. Она опиралась на длинную палку, и движения ее были так эластичны и прямы, что, взглянув при свете звезд на ее лицо, нельзя было не удивиться открытию, что оно принадлежало пожилой женщине. Это было суровое и гордое лицо, поблекшее и с глубокими морщинами, но не без некоторой правильности очертания.

– Святая Дева! – вскричал Монреаль, отступив назад при виде этого лица. – Возможно ли? Это она! Это...

Он прыгнул вперед и стал прямо перед старухой, которая, казалось, столько же была удивлена, хотя еще более усташена, увидев Монреалья.

– Я искал тебя целые годы, – сказал кавалер, первый прерывая молчание; – годы, долгие годы, – твоя совесть может сказать тебе зачем.

– Моя? Кровожадный человек! – вскричала женщина, дрожа от ярости и страха. – Смеешь ли ты говорить о совести? Ты, оболститель, разбойник, отъявленный убийца! Ты, позор рыцарства и благородного происхождения! И ты носишь крест целомудрия и мира на своей груди! Ты говоришь о совести, лицемер! Ты?

– Синьора, синьора! – сказал Монреаль умоляющим голосом, почти робея перед этой бурной горячностью слабой женщины. – Я грешил против тебя и против твоих. Но вспомни все, что меня извиняет! Ранняя любовь – роковые препятствия – опрометчивый обет – непреодолимое искушение! Может быть, – прибавил он более гордым тоном, – может быть, я в состоянии загладить мою ошибку и вооруженной рукой вырвать от папы, который имеет власть вязать и разрешать...

– Проклятый и отверженный! – прервала женщина. – Неужели ты воображаешь, что насилием можно купить отпущение грехов или что ты в состоянии когда-нибудь загладить прошлое? Погубленное благородное ими, разбитое сердце отца и его предсмертное проклятие! Да, это проклятие я слышу и теперь! Оно пронзительно звучит в моих ушах, как в то время, когда я ходила за умирающим! Оно пристает к тебе, преследует тебя, оно пронзает тебя, несмотря на твои латы, оно поразит тебя в полном блеске твоего могущества! Ум потрачен, честолюбие обесславлено, покаяние отложено, буйная жизнь и позорная смерть – вот гибель твоя, дитя преступления! К этому, к этому приговорило тебя проклятие старика! И ты осужден!

Эти слова старуха более прокричала, чем проговорила. Сверкающий взгляд, поднятая рука, выпрямившаяся фигура женщины, уединение развалин, лежавших кругом, все способствовало тому, чтобы придать страшному проклятию вид пророчества. Воин, о бесстрашную грудь которого переломилась сотня копий, почувствовал себя теперь испуганным и уничтоженным. Он схватился за край платья своей обвинительницы и вскричал задыхающимся и глухим голосом.

– Пощади меня! Пощади!

– Пощадить тебя! – сказала непреклонная старуха. – Разве ты щадил когда-нибудь мужчину в своей злобе или женщину в своем сладострастии? О, пресмыкайся в пыли! Ползай, ползай! Дикий зверь, лоснящаяся шкура и прекрасный цвет которого делают неосторожных слепыми к твоим когтям, которые рвут, и зубам, которые пожирают! Ползай для того, чтобы нога женщины старой, бессильной могла отталкивать тебя!

– Ведьма! – вскричал Монреаль в приливе внезапной ярости и взбешенной гордости, вскочив и выпрямляясь во весь рост. – Ведьма! Ты перешла за пределы того, что я тебе дозволил по моей снисходительности, вспомнив кто

ты. Я почти забыл, что ты присвоила мою роль – я обвинитель! Женщина! Где мальчик? Не уклоняйся, не увертывайся! Не лги! Ты украла!

– Я. Ты научил меня воровать.

– Возврати, отдай его! – прервал Монреаль, топнув с такой силой, что мраморные обломки, на которых он стоял, задрожали под его ногой.

Женщина обратила мало внимания на бешенство, которое могло бы привести в трепет самого неустрашимого воина Италии; но отвечала не вдруг. Вместо страсти на лице ее появилось выражение важной, напряженной и меланхолической думы. Наконец она ответила Монреалу, рука которого опустилась на рукоятку кинжала скорее по инстинкту долгой привычки, как это было с ним всегда, когда его раздражали или перечили ему, нежели из какого-то кровавого намерения. Как ни был он суров и мстителен, но не мог иметь подобного намерения против какой-либо женщины, а тем более против той, которая теперь находилась перед ним.

– Вальтер де Монреаль, – сказала она спокойным голосом, похожим на голос сострадания, – мальчик, я думаю, никогда не имел ни брата, ни сестры, он был единственным ребенком в обеих линиях семьи гордой и знатной, хотя теперь обесчещенной в обеих же линиях... К чему это нетерпение? Ты скоро узнаешь самое худшее: ребенок умер!

– Умер! – повторил Монреаль, отступая и бледнея. – Умер! Нет, нет, не говори этого! У него есть мать, ты знаешь, что есть! Нежная, любящая, заботливая, надеющаяся! Нет, нет! Он не умер!

– Так ты еще в состоянии что-нибудь чувствовать к матери? – сказала старуха, по-видимому тронутая тоном провансальца. – Но одумайся; не лучше ли, что могила избавила его от жизни, исполненной убийства, кровопролития и преступления? Лучше почить с Господом, нежели бодрствовать с нечистой силой!

– Умер! – проговорил Монреаль. – Умер! Милый мальчик! Еще ребенок! Эти глаза – совершенно такие, как у матери – закрылись так рано!

– Хочешь ли ты сказать еще что-нибудь? Твой вид изгоняет из моей души все женское! Дай мне уйти.

– Умер! Могу ли я верить тебе? Или ты насмехаешься надо мной? Ты произнесла свое проклятие, послушай же и мое предостережение: если ты в этом солгала, то твой последний час ужаснет тебя и твоя смертная постель будет постелью отчаяния!

– Твои губы, – возразила старуха с презрительной улыбкой, – более пригодны для нечистых обетов, даваемых несчастным девушкам, нежели для обвинений, которые серьезны только в устах добрых людей. Прощай!

– Остановись, неумолимая женщина! Где он похоронен? За упокой его души будут служиться обедни! Священники будут молиться! Грехи отца не должны обратиться на невинную голову ребенка!

– Во Флоренции, – отвечала старуха поспешно. – Но над его могилой нет ни одного камня! Умерший мальчик не имеет имени!

Не дожидаясь дальнейших вопросов, она прошла мимо и продолжала свой путь. Высокая трава и изгибы спуска скоро скрыли это зловещее привидение от глаз Монреалья.

Оставшись один, он с глубоким и тяжелым вздохом опустил на землю, закрыл лицо руками и предался горестным мукам. Его грудь вздымалась, все тело дрожало, и он громко рыдал со всей страшной энергией человека, которого страсти крепки и буйны, но для которого сила скорби нова и непривычна.

Уничтоженный и павший духом, он оставался в этом положении довольно долгое время, медленно и постепенно успокаиваясь, по мере того как слезы облегчали его волнение, и переходя от порывистой печали в мрачную задумчивость. Месяц стоял высоко, и уже было поздно, когда он встал. Теперь на его лице осталось мало следов прошлого волнения: Вальтер де Монреаль был не из тех людей, которые поддаются продолжительному горю или которым печаль может сообщить постоянную и обычную меланхолию, посещающую людей, у которых чувства прочнее, хотя волнения не так бурны. Характер его состоял из элементов чисто французских, хотя доведенных до крайности. Его наиболее серьезные качества были перемешаны с изменчивостью и капризом, его глубокая проницательность часто была сбиваема с толку причудами; огромное честолюбие исчезало перед каким-нибудь пустым искушением. Его упругая, сангвиническая и смелая натура была верна только желанию военной славы, поэзии отважной и бурной жизни и восприимчивости к той нежной страсти, без прикрас которой не полон ни один портрет рыцаря. В этом отношении Монреаль был способен к чувству, к нежности и верной преданности, что, по-видимому, было несовместимо с его беспечным легкомыслием и беспорядочной карьерой.

Он медленно встал.

– Не о себе, – сказал он, закутываясь в плащ и уходя, – я так горевал. Но мучение минуло, и самое худшее известно. Итак, обратимся теперь опять к тем вещам, которые никогда не умирают, – к беспокойным намерениям и отважным планам. Проклятие этой ведьмы еще леденит мою кровь, а это место таит в себе что-то роковое и ужасное. А! Что значит этот внезапный свет?

Свет, бросившийся в глаза Монреалья, походил на звезду; он был больше объемом, несколько покраснев и сильнее. Сам по себе он не представлял ничего необыкновенного и мог выходить из монастыря или из хижины. Но он сиял в той части Авентина, на которой не было, обитаемых жилищ, а только одни пустые развалины и обрушившиеся портики; сами имена их прежних обитателей погибли. Зная это, Монреаль почувствовал некоторый таинственный страх при виде этого неподвижного луча, озаряющего мрачный ландшафт. Он был не лишен суеверия рыцарей того времени, притом теперь как раз был час духов и привидений. Но страх перед здешним или нездешним миром не мог долго оставаться в душе этого смелого разбойника, и после непродолжительного колебания он решился уклониться от своего пути и узнать причину явления. Бессознательно воинственная нога варвара шла по месту прославленного или, если угодно, бесславного храма Изиды, бывшего некогда свидетелем тех неистовых оргий, о которых упоминает Ювенал. Он дошел, наконец, до густого и темного кустарника, сквозь отверстие которого сиял таинственный свет. Пробравшись через темную листву, рыцарь достиг большой развалины, мрачной и без крыши, откуда неясно и глухо доносился звук голосов. Сквозь расселину стены, образующую род окна около десяти футов от земли, свет падал на землю, заключенный, так сказать, в рамку из массивной тени, и пробиваясь сквозь обвалившийся портик, находившийся как раз возле. Провансалец стоял на том самом месте, где был храм, портик и библиотека свободы (первая публичная библиотека в Риме). Стена развалины была покрыта бесчисленным множеством ползущих растений и диким папоротником, и со стороны Монреалья мало требовалось ловкости, чтобы с помощью их подняться до высоты отверстия и под прикрытием роскошной листвы смотреть внутрь. Он увидел стол, освещенный восковыми свечами; посередине стола находились распятие, обнаженный кинжал, развернутый свиток, имевший священный характер, как показывала вся обстановка, наконец, медная чаша. Около сотни людей в плащах и черных масках стояли неподвижно вокруг. Один из них был выше, прочих ростом и без маски; его бледный лоб и суровые черты при этом свете казались еще бледнее и суровее; он, казалось, оканчивал речь к своим товарищам.

– Да, – сказал он, – в латеранской церкви я сделаю последнее воззвание к народу. При помощи наместника папы, которому я сам служу в качестве должностного лица первосвященника, религия и свобода – герои и мученики соединятся в одном деле. После того – слова бесполезны; должны начаться действия. Перед этим распятием я даю клятву в верности, над этим клинком обрекаю жизнь мою возрождению Рима! А вы (ни в плащах, ни в мантиях

тогда не будет надобности), вы клянитесь, когда послышится одинокая труба и появится одинокий всадник, собратся вокруг знамени республики и противодействовать оружию угнетателей сердцем и рукой, жизнью и душой, презирая смерть и надеясь на спасение!

– Клянемся, клянемся! – вскричали все и, столпившись около креста и кинжала, заслонили собой свечи. Монреаль не мог ни рассмотреть церемонии, ни слышать тихо произносимой формулы присяги, но угадывал, что обыкновенный при тогдашних заговорах обряд, требовавший, чтобы каждый из заговорщиков пролил несколько капель своей крови, в знак предания своей жизни предприятию, не был упущен. Когда группа отступила назад, тот же самый человек обратился к собранию, подняв вверх чашу обеими руками, между тем как с левой его руки медленно струилась кровь и падала каплями на пол. Подняв глаза, он произнес торжественным голосом:

– Свобода! Среди развалин твоего храма мы, римляне, посвящаем тебе это возлияние! Не баснословные идолы помогают нам; нас вдохновляет Господь Сил и Тот, кто, сойдя на землю, взывал к рыбаку и земледельцу, поручая бедным и смиренным проповедь откровения. – Потом, вдруг обратясь к своим товарищам, он громко вскричал, между тем как его черты, необыкновенно изменчивые в характере и выражении, просияли торжественным благоговением. – Смерть тирании! Жизнь республике! – Действие этого перехода было поразительно. Каждый как бы по невольному и непреодолимому побуждению, положил руку на свой меч, повторяя эти слова; некоторые обнажили свои клинки, как будто сейчас уже готовы были идти на битву.

– Я видел довольно: они сейчас разойдутся, – сказал сам себе Монреаль, – притом я скорее готов встретиться с тысячным войском, нежели с полудюжиной таких горячих энтузиастов. – С этой мыслью он спустился наземь и пошел прочь, и в безмолвии полночи еще раз до слуха его дошел глухой звук: «Смерть тирании! Жизнь республике!»

Книга II РЕВОЛЮЦИЯ

ПРОВАНСАЛЬСКИЙ РЫЦАРЬ И ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Было около полудня, когда Адриан вошел в ворота палаццо Стефана Колонны. Дворцы нобилей тогда не были тем, что они теперь – вместилищами бессмертных картин итальянского и негибнущей скульптуры греческого искусства. Но до настоящего дня сохранились массивные стены и окна с решетками и обширные дворы, где в те времена помещались грубые наемники. Гораздо выше ворот подымалась огромная твердая башня, господствовавшая над обширным видом изувеченных остатков Рима. Сами ворота были украшены и поддерживались с обеих сторон гранитными колоннами, дорические капители которых обличали святотатство, отторгнувшее их от одного из многих храмов прежнего священного форума. Из этого же источника были заимствованы огромные обломки травертина, из которых были сложены стены внешнего двора. Это варварское присвоение драгоценнейших памятников искусства было в то время так обыкновенно, что на колонны и купола древнего Рима все смотрели не более как на каменоломни, из которых каждый был волен добывать материалы для своего замка или для своей хижины. Такое оскорбление было хуже опустошений Готов, на которых позднейшие века охотно сваливали все дурное; оно едва ли не сильнее других, более тяжких, злоупотреблений возбуждало классическое негодование Петрарки и заставляло его сочувствовать Риенцо в его надеждах на восстановление Рима. Еще и теперь можно видеть церкви того или даже более раннего времени, церкви самой безобразной архитектуры, построенные на тех местах и из того мрамора, которые освятили собой имена Венеры, Юпитера и Минервы. Дворец князя Орсини, дука Гравинского, до сих пор возвышается над грациозными (еще видными) арками театра Марцелла, бывшего тогда крепостью Савелли.

Когда Адриан проходил двор, на его пути стояла тяжелая повозка, нагруженная большими плитами мрамора, взятыми из неисчерпанного еще источника золотого дома Нерона. Этот мрамор предназначался для постройки новой башни, которой Стефан Колонна хотел еще более укрепить безвкусное и безобразное здание, где этот старый вельможа поддерживал свои права на оскорбление законов.

Друг Петрарки и питомец Риенцо глубоко вздохнул, когда проходил мимо этой повозки недавнего грабительства и когда столб из граненого алебастра соскользнул с нее и упал с громким стуком на мостовую. Внизу лестницы столпилось около дюжины бандитов старого Колонны; они играли в кости на древней гробнице; ясная и резкая надпись на которой, так непохожая на аляповатые буквы последних времен империи, указывала на памятник самых

цветущих лет Рима. Опрокинутая вверх, она служила столом для этих диких чужеземцев и была покрыта кусками мяса и посудой с вином. Бандиты едва пошевелились, едва подняли глаза, когда молодой патриций проходил мимо. Их грубые проклятия и громкие восклицания, произносимые на северном *patois*, неприятно звучали в его ушах, когда он медленными шагами подымался по высокой и неопрятной лестнице. Адриан вошел в обширную переднюю комнату, которая наполовину была заполнена наемниками высшего разряда. Пять или шесть пажей, собравшихся около узкого и углубленного окна, спорили о важных материях волокитства и интриги; трое мелких начальников низшей толпы, в латах, положив возле себя мечи и каски, сидели чванно и безмолвно за столом среди комнаты. Их можно было бы принять за автоматов, если бы они по временам не подымали к своим усатым губам кубков, предаваясь затем с самодовольным ворчанием вновь своим размышлениям. Поразителен был контраст их северной флегмы с живостью толпы итальянских подданных, которые беспокойно ходили взад и вперед, громко разговаривая между собой, со всеми возможными жестами и с изменчивостью физиономии, свойственным южным жителям. Появление Адриана среди этой смешанной толпы произвело всеобщее волнение. Бандитские капитаны машинально кивнули головами, пажи поклонились, любуясь его пером и обувью; клиенты и просители столпились вокруг него каждый с особой просьбой о ходатайстве перед его могущественным родственником. Адриану потребовалось немало обычной светскости и ловкости, чтобы отделаться от них. С трудом наконец он добрался до низкой и узкой двери, где стоял высокий слуга, который допускал или не допускал посетителей, смотря по своим выгодам или капризам.

– Барон принимает? – спросил Адриан.

– Нет, монсеньор: у него один иностранный господин; но вы, конечно, можете войти.

– Да, ты можешь впустить меня. Я хочу узнать о его здоровье.

Слуга отворил дверь, на нее устремилось множество завистливых и пристальных взглядов, и вверил Адриана пажу, который был особо приближенным слугой владетеля замка. Пройдя другую, уже пустую комнату, обширную и мрачную, Адриан очутился в небольшом кабинете, в обществе своего родственника.

У стола, заваленного письменными принадлежностями, сидел старый Колонна. Мантия из бархата, подбитая богатым мехом, свободно лежала на его высоком и красивом стане; из-под круглой теплой шапочки малинового цвета выбивались седые кудри, смешиваясь с длинной, почтенной бородой. Лицо старого нобиля, которому давно уже минуло восемьдесят лет, еще

сохраняло следы красоты, которая была замечательна во время его цветущего возраста. Глубоко впавшие глаза его были, однако же, зорки и живы, и сверкали еще всем огнем юности; его, рот смеялся приятной, хотя полусатирической улыбкой; и в целом его наружность была привлекательной и властной, обнаруживая скорее высокое происхождение, хитрый ум и благородную храбрость патриция, чем его коварство, лицемерие и обычный, презрительный дух угнетения.

Стефан Колонна, не будучи безусловно героем, был однако же гораздо храбрее большей части римлян, хотя крепко держался итальянского правила никогда не сражаться с врагом, если есть возможность его обмануть. Но два недостатка вредили силе его прозорливости: чрезвычайная дерзость характера и глубокая вера в свою собственную опытность. Он был неспособен к аналогии и совершенно убежден, что никогда не может случиться того, чего не случилось в его время. Таким образом, несмотря на свою всеобщую репутацию искусного дипломата, он обладал только хитростью интригана, а не проницательностью государственного человека. Но если гордость делала его надменным в счастье, то она поддерживала его и в бедствии. И в превратностях раннего периода своей жизни, проведенного отчасти в изгнании, он обнаружил много благородной твердости, терпения и настоящего величия души, которые показывали, что его недостатки были скорее приобретены вследствие обстоятельств, нежели происходили от природы. Его многочисленное и высокородное племя гордилось своим главою; и справедливо, потому что он был способнейший и наиболее уважаемый человек не только в прямой линии Колоннов, но, может быть, даже из всех наиболее могущественных вельмож.

У того же стола, где и Стефан-Колонна, сидел человек благородного вида, лет тридцати трех или тридцати четырех, в котором Адриан тотчас же узнал Вальтера де Монреалья. Наружность этого знаменитого рыцаря мало соответствовала тому ужасу, который вообще возбуждало его имя. Его лицо было красиво и нежно до женственности. Его длинные белокурые волосы свободно вились над белым и не покрытым морщинами лбом; походная жизнь и итальянское солнце только слегка затемнили его светлый и здоровый цвет лица, которое сохранило еще много юношеской свежести. Его черты были правильны, светло-карие глаза – велики, ясны и проницательны. Короткая, но курчавая борода и усы, несколько потемнее волос, подстриженные с солдатской точностью, придавали воинственное выражение его приятной физиономии, но это выражение было такого рода, что скорее шло герою дворов и турниров, чем начальнику разбойничьего лагеря. Вид,

манера и осанка провансальца более очаровывали, чем устрашали, объединяя в себе какую-то военную откровенность со свободным и грациозным достоинством человека, сознающего благородство своего происхождения и привыкшего обращаться с вельможами и патрициями, как с равными себе. Его фигура составляла счастливый контраст с характером лица, «необыкновенно красивые черты которого нуждались в силе и высоком росте тела для того, чтобы в них не было заметно женственной нежности: стан его был высок и обладал замечательной силой мускулов, нисколько не имея в себе неуклюжей и негибкой массивности; он был тонок и вместе крепок. Но главным отличием этого воина, самого неустрашимого бойца Италии, было присутствие какой-то рыцарской и геройской грации, которым много красоты придавал великолепный наряд из коричневого бархата, усыпанный жемчугом, на который наброшен был плащ странноприимных рыцарей, с белым восьмиконечным крестом, знаком этого ордена. В данный момент он слегка наклонился к старому Колонне, опершись обеими руками на золотую рукоятку огромного меча, на ножнах которого были тщательно изображены серебряные лилии, девиз иерусалимского братства в Провансе. Руки эти были малы и деликатны (обыкновенное отличие старой германской расы[12], от которой Монреаль вел свое происхождение, несмотря на то, что родился в Провансе) и украшены дорогими камнями, по моде того времени.

– Доброе утро, дорогой родственник, – сказал Стефан, – прошу тебя, садись. Этот благородный посетитель – знаменитый Вальтер де Монреаль.

– А, синьор! – сказал Монреаль, улыбаясь и кланяясь Адриану. – Как поживает синьора?

– Вы ошибаетесь, кавалер, – проговорил Стефан, – мой молодой родственник еще не женат. Клянусь честью, это удовольствие тем ценнее, чем оно дольше откладывается, как заметил папа Бонифаций, лежа больной в постели, своему духовнику, который толковал ему о лоне Авраамовом.

– Синьор меня извинит, – возразил Монреаль.

– Только не извиню, – отвечал Адриан, – пренебрежения синьора Вальтера, не хотевшего удостовериться в этом факте лично. Я обязан ему, благородный родственник, большей благодарностью, нежели вы подозреваете; и он обещал посетить меня, чтобы принять ее.

– Уверю вас, синьор, – отвечал Монреаль, – я не забыл приглашения; но до сих пор я имел так много важных занятий в Риме, что должен был отложить, несмотря на мое нетерпение.

– Так вы уже знакомы друг с другом? – спросил Стефан. – Каким образом?

– Здесь замешана девушка, – отвечал Монреаль, – извините, синьор, если я промолчу.

– Ах, Адриан, Адриан, когда ты остепенишься, – сказал Стефан, важно поглаживая свою седую бороду. – Но оставим этот пустой разговор, обратимся к нашему предмету. Ты должен знать, Адриан, что моему достойному гостю я обязан теми храбрыми молодцами, которые сохраняют в Риме такое спокойствие, хотя производят такой шум в моем бедном жилище. Он пришел предложить еще большую помощь, если нужно, и посоветоваться со мной о делах северной Италии. Продолжай, прошу тебя, кавалер, у меня нет секретов от моего родственника.

– Ты, без сомнения, видишь, – сказал Монреаль, устремив проницательный взгляд на Адриана, – что Италия в эту минуту представляет нам любопытное зрелище. В ней происходит борьба между двумя противными силами, которые должны погубить одна другую. Одна сила есть сила строптивного и мятежного народа, которую этот народ называет свободой; другая сила есть сила вождей и князей, которую они более справедливо называют порядком. Города Италии разделены между этими двумя партиями. Во Флоренции, Генуе и Пизе, например, учреждено свободное государство – республика. Более беспокойного и несчастного состояния правительства невозможно себе вообразить.

– Это совершенная правда, – заметил Стефан, – они выгнали моего двоюродного брата из Генуи.

– Короче говоря, постоянная борьба, – продолжал Монреаль, – борьба между знатными фамилиями, попеременные преследования, конфискации и изгнания: сегодня гвельфы выгоняют гибеллинов, завтра – гибеллины гвельфов. Может быть, это – свобода, но свобода сильных против слабых. В других городах, как например, в Милане, Вероне, Болонье, народ находится под управлением одного человека. Он называет себя князем, а его враги зовут его тираном. Будучи сильнее каждого из граждан, он правит твердо, имея преимущества перед гражданами: постоянную потребность в уме и энергии. Он правит благоразумно. Эти два рода правления спорят друг с другом; если народ одного бунтует против своего властителя, то народ другого, то есть республики, посылает оружие и деньги ему в помощь.

– Ты слышишь, Адриан, как низки эти последние, – заметил Стефан.

– Мне кажется, – сказал Монреаль, – что этот спор рано или поздно должен кончиться. Вся Италия должна сделаться или республиканской, или монархической. Легко предвидеть, каков будет результат.

– Да, свобода должна победить, – сказал Адриан с жаром.

– Извините меня, молодой человек, я совершенно противоположного мнения. Вы знаете, что это республики коммерческие, это торговцы. Они уважают богатство и презирают храбрость. Они занимаются всеми ремеслами, исключая оружейное. Как же могут они вести войну? Своими собственными гражданами? Нет! Они или посылают к какому-нибудь чужеземному вождю и обещают ему за его покровительство власть над городом на пять или на десять лет, или же они занимают у какого-нибудь смелого авантюриста, подобного мне, столько войск, за сколько они могут заплатить. Не так ли, синьор Адриан?

Адриан нехотя кивнул головой в знак согласия.

– Итак, чужеземный вождь сам виноват, если не утвердит своей власти навсегда, как это уже сделали Висконти и Скала в государствах, некогда свободных. Или же виноват предводитель наемников, если он не успеет превратить своих разбойников в сенаторов, а себя в короля. Эти события так естественны, что рано или поздно они произойдут во всей Италии. Тогда вся Италия делается монархической. Мне кажется интерес всех могущественных фамилий в Риме, в том числе и вашей собственной, состоит в том, чтобы, подобно Висконти в Милане, ускорить эту эпоху и остановить, пока это еще для вас легко, заразу возмущений, которая теперь быстро распространяется между народом и которая клонится к своеволию для них и к гибели для вас. У вас сперва отнимают привилегии, потом собственность. Мало того, во Флоренции, как вам известно, ни один патриций не имеет права исполнять самой ничтожной должности в государстве.

– Негодяи! – сказал Колонна. – Они нарушают первый закон природы.

– В эту минуту, – продолжал Монреаль, который увлеченный темой разговора, мало обратил внимания на прервавшие его речь слова барона, исполненные святого негодования, – в эту минуту есть много благоразумнейших, может быть, людей в республиках, которые желают возобновить старые ломбардские союзы в защиту их общей свободы повсюду и против всякого, кто бы вздумал сделаться государем. К счастью, смертельное, низкое, плебейское недоброжелательство между этими купеческими государствами, завидующими более торговле, чем славе, является непреодолимым препятствием этому плану. А Флоренция, наиболее мятежная и уважаемая из всех, различными коммерческими неудачами, к счастью, доведена до того, что решительно не способна к выполнению этого великого предприятия. Итак, для нас теперь настало время, пока наши враги находятся в таком затруднительном положении, организовать контрлигу всех владетелей Италии. Я пришел к вам первому, благородный Стефан, как к

первому по знатности, чтобы предложить вам этот почетный союз. Заметьте, какие выгоды он представляет для вашего дома. Папы оставили Рим навсегда. Нет преград для вашего честолюбия. Вы видите перед собой пример Висконти и Таддео ди Пеполи. Вы можете найти в Риме, первом городе Италии, верховную, неограниченную власть, окончательно подчинить своих слабых соперников Савелли, Малатеста, Орсини и оставить вашим внукам наследственное королевство, которое, в свою очередь, может быть, сделается всемирной империей.

Стефан прикрыл свое лицо рукой и отвечал:

– Но, благородный Монреаль, это требует средств, денег и людей.

– Что касается последних, – возразил Монреаль, – то вы можете мной располагать. Небольшой мой отряд, дисциплинированный наилучшим образом, может сделаться, когда только я захочу, самым многочисленным в Италии. И главное, благородный барон, богатая семья Колонное не может иметь неудачи, и даже если бы пришлось заложить ее обширные владения, то это хорошо вознаградится, когда вы сами будете обладать всеми доходами Рима. Вы видите, – продолжал Монреаль, обращаясь к Адриану, от которого, как от человека молодого, он ожидал более горячего сочувствия, нежели от его седого родственника, – вы видите с первого взгляда, как удобоисполним этот проект и какое обширное поприще открывается для вашей семьи.

– Синьор Вальтер де Монреаль, – сказал Адриан, подымаясь со скамьи и предаваясь негодованию, которое он с трудом удерживал, – мне очень больно, что под кровлей первого гражданина Рима иностранец так спокойно и беспрепятственно возбуждает честолюбие, которое бы могло соперничать с преступной и ненавистной знаменитостью какого-нибудь Висконти или Пеполи. Говорите, синьор, – сказал он, обращаясь к Стефану, – говорите, благородный родственник, и скажите провансальскому рыцарю, что если Колонна не может восстановить древнего величия Рима, то, по крайней мере, не Колонна уничтожит последние обломки его свободы.

– Полно, Адриан, полно, милый родственник! – сказал Стефан, к которому так внезапно обратились. – Успокойся, прошу тебя. Благородный кавалер, он молод и горяч, он не думал оскорбить тебя.

– В этом я убежден, – отвечал Монреаль холодно, но с большим самообладанием, – он говорит по минутному увлечению; ошибка, достойная похвалы в молодом человеке. В его возрасте я был таков же, и не раз чуть не потерял жизни вследствие моей опрометчивости. Нет, синьор, нет, не беритесь за меч с таким значительным видом, воображая, что я произнес какую-то угрозу: я далек от такого тщеславия. Поверьте, войны научили меня достаточной осторожности для того, чтобы из одной прихоти не вызывать

против себя меча, который боролся с такой превосходной силой, чему я сам был свидетелем.

Невольно тронутый вежливостью кавалера и намеком на происшествие, в котором, может быть, его жизнь была спасена Монреалем, Адриан протянул ему руку.

– Извините мою горячность, – сказал он прямодушно, – но судите из самой этой горячности, – прибавил он с важностью, – что ваш план не найдет друзей между Колоннами. Мало того, в присутствии моего благородного родственника я осмеливаюсь вам сказать, что если бы он согласился на такой план, то лучшие люди его фамилии оставили бы его, и я сам, его родственник, вооружил бы свой замок против такого неестественного честолюбия.

Легкое, едва заметное облако пробежало по лицу Монреалья при этих словах, и он, закусив губы, отвечал:

– Но если Орсини будут менее совестливы, то первым делом их власти будет истребление дома Колоннов.

– Знаете ли вы, – возразил Адриан, – что один из наших девизов есть следующее гордое обращение к римлянам: «Если мы падем, то и вы падете с нами!» И эта судьба лучше возвышения над обломками нашего родного города.

– Хорошо, хорошо, – сказал Монреаль, садясь, – я вижу, что должен предоставить Рим самому себе; лига создастся без его помощи. Относительно Орсини я только шутил, потому что они не имеют власти, которая могла бы сделать их усилия безопасными. Забудем же наш разговор. Синьор Колонна, вы, кажется, 19-го числа предполагаете отправиться со своими друзьями и служителями в Корнето, куда приглашали и меня?

– Да, кавалер, – отвечал барон, очевидно обрадованный новым поворотом разговора. – Дело в том, что нас часто обвиняли в равнодушии к интересам доброго народа, этой экспедицией я хочу опровергнуть такое мнение? Поэтому мы предполагаем конвоировать и защищать против дорожных разбойников хлебный обоз, идущий в Корнето. Впрочем, кроме страха разбойников, я могу прибавить еще и другую причину, которая заставляет меня брать с собой сколь возможно многочисленную свиту. Я хочу показать моим врагам, и в особенности народу, прочную и возрастающую силу моего дома; такой вооруженный отряд, какой я надеюсь набрать, будет великолепным поучением для мятежных и непокорных. Адриан, надеюсь, ты соберешь своих служителей, мы не хотели бы ехать без тебя.

– И во время пути, прекрасный синьор, – сказал Монреаль, кланяясь Адриану, – мы с вами окончательно залечим рану, которую я так

неосторожно нанес вам. К счастью, есть один пункт, в котором мы можем согласиться; это – наша вежливость к женскому полу. Вы должны познакомить меня с именами прекраснейших римских женщин, и мы будем толковать о старых похождениях и надеяться на новые. Кстати, я предполагаю, синьор Адриан, что вы вместе с остальными вашими соотечественниками без ума от Петрарки?

– Разве вы не разделяете нашего энтузиазма? Прошу, не пятняйте таким образом вашего уважения к дамам.

– Полно, мы не будем более спорить, но клянусь, по-моему, одно рондо какого-нибудь трубадура стоит всего, что когда-нибудь написал Петрарка. Он только заимствовал из рыцарской поэзии и переделал это.

– Хорошо, – сказал Адриан весело, – на каждый стих трубадуров, который вы приведете, я приведу другой. Я прощу вам нашу несправедливость к Петрарке, если вы справедливы к трубадурам.

– Справедливо! – вскричал Монреаль с неподдельным энтузиазмом. – Я происхожу из земли, мало того, из настоящей крови трубадуров! Но мы слишком невнимательны к вашему благородному родственнику, и мне время теперь с вами проститься! Прощайте, синьор Адриан, брат мой по рыцарству, не забудьте вашего вызова.

И с непринужденной, беспечной грацией кавалер св. Иоанна вышел; старый барон, сделав безмолвный знак извинения Адриану, последовал за Монреалем в соседнюю комнату.

– Господин кавалер, – сказал он, запирая дверь и отозвав Монреаль в углубление окна, – одно слово вам по секрету. Не подумайте, что я пренебрегаю вашим предложением, но к этим молодым людям надо быть снисходительным. Замысел велик, благороден и приятен моему сердцу, но он требует времени и осторожности. В моей семье много таких совестливых людей, как этот горячеголовый юноша, которых мне придется убеждать. Дорога приятна, но ее надо хорошо и тщательно исследовать. Вы понимаете?

Из-под нахмуренных бровей своих Монреаль бросил пронизательный взгляд на Стефана и отвечал:

– Моя дружба к вам внушила мне мое предложение. Лига может обойтись без Колоннов. Берегитесь того времени, когда Колонны не в состоянии будут обойтись без лиги. Синьор, посмотрите вокруг себя; в Риме больше людей со свободным образом мыслей, смелых и беспокойных, больше, нежели вы воображаете. Берегитесь Риенцо! Прощайте, мы скоро встретимся опять.

С этими словами Монреаль ушел и, проходя небрежной поступью через переднюю, наполненную народом, говорил про себя:

– Во мне здесь не нуждаются. Эти трусливые патриции не имеют ни храбрости быть великими, ни благоразумия быть честными. Пусть их погибают! Я могу найти в народе какого-нибудь подобного мне искателя приключений, который стоит всех их.

Стефан вернулся к Адриану и тотчас же с любовью обнял своего питомца, который готовился уже к резкому отпору его выговоров.

– Ты превосходно притворился, удивительно, удивительно! – вскричал барон. – Ты при дворе императора научился настоящей хитрости государственного человека. Я всегда считал тебя таким и всегда говорил это. Ты понял дилемму, в которой я находился, будучи захвачен врасплох этим безумным планом варвара. Я боялся отказать, а еще более принять. Ты выручил меня с необыкновенной ловкостью. Эта горячность, столь натуральная в твоём возрасте, была отличным притворством: она вывела меня из затруднительного положения, дала мне вздохнуть и уравнила мою игру с этим дикарем. Но мы не должны оскорблять его: ты знаешь, все мои наемные солдаты оставят меня или продадут меня Орсини, или, наконец, перережут мне горло при первом его знаке. О, это отлично разыграно. Адриан, удивительно!

– Благодарение небу, – сказал Адриан, с некоторым трудом переводя дух, который у него захватило от удивления, – вы не думаете принять это преступное предложение?

– Думать об этом! Нет! – сказал Стефан, опускаясь на стул. – Разве ты не знаешь моих лет, мальчик? Мне скоро стукнет девяносто, и я был бы сумасшедшим, бросаясь в этот водоворот смут и волнений. Мне нужно сохранить то, что я имею, а не рисковать, стараясь захватить больше. Я любимец папы. Неужели я буду себя подвергать отлучению от церкви? Я, самый могущественный из нобилей, неужели я буду могущественнее, когда сделаюсь королем: в моих летах говорить мне о подобных вещах! Этот человек идиот, сверх того, – прибавил старик, понижая голос и боязливо оглядываясь вокруг, – если я буду королем, то мои сыновья, пожалуй, отравят меня из-за наследства. Они хорошие ребята, Адриан, очень хорошие! Но такое искушение! Я не хочу ставить его на их дороге. Седые волосы приносят опыт. Тираны не умирают натуральной смертью. Нет, нет! Черт возьми этого рыцаря, право! Он уже бросил меня в холодный пот.

Адриан пристально смотрел на озабоченное лицо старика, которого эгоизм удерживал от преступления. Он слушал его заключительные слова, верно изображающие те мрачные времена, и когда, в противоположность им, в его воображении блеснуло высокое и чистое честолюбие Риенцо, то он

почувствовал, что не может порицать горячности или удивляться чрезмерности этого честолюбия.

– И притом, – продолжал барон, говоря все медленнее, по мере того как успокаивался, – этот человек, под видом предостережения, обнаружил с первого взгляда свое полное незнание обстоятельств. Он имел сношения с толпой и принял ее нечистое дыхание за силу. Да, он принимает слова за солдат и просит меня – меня, Стефана Колонну, остерегаться – кого бы ты думал? Нет, ты никогда не угадаешь. Этого говоруна Риенцо, моего прежнего шута! Ха, ха, ха, каково невежество этих варваров, ха, ха, ха! – И старик хохотал до тех пор, пока слезы не потекли у него по щекам.

– Однако же, многие из нобилей боятся этого самого Риенцо, – сказал Адриан серьезно.

– Пусть их, пусть их! Они не обладают ни нашей опытностью, ни нашим знанием света, Адриан. Полно, разве декламация разрушала когда-нибудь замки и побеждала солдат? Я люблю, когда Риенцо говорит толпе о величии древнего Рима и о подобных пустяках. Это дает им кой-какую пищу для мысли и болтовни; и вся их свирепость испаряется в словах. Они сожгли бы какой-нибудь дом, если бы не услышали речи. Но здесь, кстати, я должен признаться, что педант сделался наглым в своей новой должности. Вот, я получил сегодня эту бумагу, когда еще не вставал с постели. Я слышал, что подобная же дерзость сделана всем нобилиям. Прочти это, пожалуйста. – И Колонна передал какой-то свиток своему родственнику.

– Я получил такой же, – сказал Адриан, взглянув на свиток, – это приглашение Риенцо собраться в церковь св. Иоанна латеранского для того, чтобы слушать объяснение надписи на недавно найденной таблице. Она, по его словам, имеет самую близкую связь с благоденствием Рима.

– Очень забавно, я думаю, для профессоров и книжников. Извини меня, Адриан, я забыл твой вкус к этим вещам, и мой сын Джиани тоже разделяет твои фантазии. Впрочем, это довольно невинно, ступай, этот человек хорошо говорит.

– Вы тоже там будете?

– Я, мой милый мальчик, я?! – старый Колонна, раскрыл глаза с таким изумлением, что Адриан не мог удержаться от смеха над наивностью своего вопроса.

II

СВИДАНИЕ И СОМНЕНИЕ

Выйдя из дворца своего опекуна и направив путь к форуму, Адриан несколько неожиданно столкнулся с Раймондом, епископом Орвиетским, который ехал на маленькой лошадке в сопровождении трех или четырех служителей. Узнав молодого патриция, он вдруг остановился.

– Ах, мой сын, редко я тебя вижу. Как поживаешь? Хорошо? Рад слышать это. Увы, в каком положении находится наше общество сравнительно с мирными удовольствиями Авиньона! Там все люди, которые любят те же занятия, какие и мы – *deliciae musarum* (епископ гордился, когда мог ввернуть в разговор какую-нибудь цитату, к делу или не к делу). Гм! Там все люди сходятся легко и естественно между собой. Здесь же мы едва сможем выйти из дому, за исключением каких-нибудь важных случаев. Но разговор о важных случаях и о музах напоминает мне о приглашении в Латеран, которое мы получили от нашего доброго Риенцо. Без сомнения и вы там будете. Он вызвался объяснить одну темную латинскую надпись, очень (как я слышал, по крайней мере) интересную для нас, сын мой, очень!

– Это завтра, – отвечал Адриан, – да, конечно, я там буду.

– Послушай, милый сын мой, – сказал епископ ласково, положив руку на плечо Адриана, – есть причина надеяться, что он напомнит нашим бедным гражданам о юбилее на пятидесятый год и побудит их очистить дорогу от разбойников. Дело необходимое – и о нем надо позаботиться заблаговременно, иначе кто придет в Рим за отпущением грехов, если ему грозит опасность неожиданно очутиться в чистилище? Вы слышали, как говорит Риенцо? Это Цицерон, настоящий Цицерон! Да благословит вас Бог, сын мой! Вы непременно будете?

– Непременно.

– Еще одно слово. Вы наметите всем, кого встретите, о том, что собранию следует быть многолюдным. Хорошее впечатление производит то, когда город показывает уважение к наукам!

– Не говоря уже о юбилее, – прибавил Адриан, улыбаясь.

– Да, не говоря уже о юбилее. Прощайте. – И епископ, усевшись опять на седле, торжественно поехал к своим друзьям, чтобы побудить их явиться на сходку.

Адриан тоже продолжал свой путь. Он миновал Капитолий, арку Севера, обвалившиеся колонны храма Юпитера и очутился среди высокой травы, шумящего тростника и заброшенных виноградных лоз, колыхавшихся над исчезнувшим теперь золотым домом Нерона. Сев на упавшем столбе, на том самом месте, где находились так называемые бани Ливии, он нетерпеливо поглядывал на солнце, как бы упрекая его за медлительность. Он ждал

недолго. Легкие шаги прошуршали по душистой траве, и вслед за тем между виноградных лоз показалось лицо как будто нимфы – богини этих мест.

– Моя прекрасная, моя Ирена! Как я тебе благодарен!

Но скоро восторженный влюбленный заметил в лице Ирены грусть, которой обыкновенно у нее не бывало в его присутствии. Ее голос дрожал, слова казались принужденными и холодными.

– Не провинился ли я чем-нибудь перед тобой, или случилось какое-нибудь несчастье?

Ирена взглянула на Адриана и спросила:

– Скажи мне, прямо и откровенно – сильно ли огорчит тебя то, если это свидание наше будет последним?

Смуглые щеки Адриана сделались бледнее мрамора, лежавшего у его ног; прошло несколько минут прежде, чем он мог отвечать; улыбка его была неестественна, губы дрожали.

– Не шути так, Ирена, – сказал он.

– Но послушайте, синьор.

– Что так холодно? Называй меня Адрианом, другом, возлюбленным или молчи.

– Если так, то, душа души моей, полнота надежд моих, жизнь моей жизни! – вскричала Ирена со страстным увлечением. – Выслушай меня. Я боюсь, что мы в настоящую минуту стоим над какой-то бездной, глубины которой я не вижу, но которая может нас разлучить навсегда. Ты знаешь истинный характер моего брата и не ошибаешься на его счет, как многие Другие. Долго он составлял планы, предположения и совещался сам с собой, разговаривая с народом и готовя тропинку к какой-то великой цели. Но теперь... Ты не выдашь? Ты не будешь вредить ему? Ведь он твой друг!

– И твой брат! За него я пожертвовал бы жизнью! Продолжай.

– Теперь, – сказала Ирена, – время для исполнения предприятия быстро приближается. Не знаю, в чем собственно состоит это предприятие, но верно то, что оно направлено против нобилей, против твоего сословия, даже против твоей семьи. Если оно удастся... Ах, Адриан! Ты сам, может быть, не избежишь опасности, по крайней мере, мое имя будет связано с именем твоих врагов. В случае же неуспеха мой брат погибнет! Он будет жертвой мщения, или правосудия, назови это как угодно. Твой родственник будет его судьей, его палачом. А я, если только я переживу брата – гордость и славу моего рода, могу ли я позволить себе любить того, в чьих жилах течет кровь его губителя? О, я несчастна, несчастна! Эти мысли чуть не сводят меня с ума! – И ломая руки, Ирена громко зарыдала. Адриан сам был сильно поражен представленной ему картиной, хотя эти затруднения часто смутно

волновали его ум. Впрочем, не видя, чтобы планы Риенцо основывались на какой-нибудь вещественной силе и никогда еще не быв свидетелем могущества нравственного переворота, Адриан не думал, чтобы восстание, к которому Риенцо хочет побудить народ, могло быть успешным. Что касается наказания Риенцо за бунт, то в этом городе, где правосудие было подчинено интересу, Адриан считал себя довольно сильным для того, чтобы испросить прощение даже для важнейшего из преступлений – восстания против нобилей. Когда эти мысли опять пришли ему в голову, то он нашел в себе довольно мужества для успокоения и ободрения Ирены, но его усилия удались не вполне. Встревоженная опасениями за будущее, о котором она забывала до сих пор, Ирена в первый раз, казалось, была глуха к голосу своего очарователя.

– Увы, – сказала она грустно, – даже при лучших обстоятельствах к чему бы повела любовь, которой мы предавались так слепо? Чем она может кончиться? Ты не можешь жениться на мне; а я – как я была безумна!

– Так измени свои чувства, – сказал Адриан гордо. – Люби другого с большим благоразумием; если хочешь, можешь нарушить данные мне обещания и продолжать думать, что любовь есть преступление, а верность – безумие!

– Безжалостный! – сказала Ирена прерывающимся голосом, встревоженная в свою очередь. – Неужели ты говоришь серьезно?

– Прежде чем я отвечу тебе, скажи вот что: если бы эта любовь должна была кончиться смертью, горем, печалью всей жизни, жалела бы ты, что любила? Если да, то ты не понимаешь той любви, которую я чувствую к тебе.

– Никогда, никогда я не буду раскаиваться, – отвечала Ирена, припав к груди Адриана, – прости меня!

– Но, – сказал Адриан, несколько успокоенный после этой ссоры и этого примирения, свойственных влюбленным, – неужели в самом деле так заметно различие между прошлым и настоящим поведением твоего брата? Каким образом ты знаешь, что время для деятельности так близко?

– Потому что он по целым ночам сидит, запершись с людьми всяких сословий, он оставил свои книги и больше ничего уже не читает, а когда остается один, то ходит взад и вперед по комнате, говоря сам с собой. Иногда он останавливается против календаря, который недавно прибил к стене, и водит пальцем по буквам до тех пор, пока не дойдет до известного числа, и тогда играет мечом своим и улыбается. А дня два тому назад в наш дом нанесли множество оружия, и я слышала, как начальник людей, которые принесли его, угрюмый великан, очень хорошо известный в народе, сказал, отирая лоб: скоро ему будет работа!

– Оружие! Ты уверена в этом? – вскричал Адриан с беспокойством. – Значит, эти планы важнее, чем я воображал. Но, – прибавил он, заметив, что при перемене его голоса Ирена взглянула на него со страхом, – что бы ни случилось, верь мне, моя красавица, мое божество пока я жив, твой брат не будет страдать от гнева, который может навлечь на себя восстанием. Моя любовь к тебе также не ослабеет, хотя бы он забыл нашу старую дружбу.

– Синьора, синьора, дитя мое! Вам надо идти, – сказала Бенедетта пронзительным голосом, выглянув из-за деревьев. – Рабочие возвращаются домой этой дорогой; я вижу, они идут.

Влюбленные расстались. В первый раз змей проникнул в их эдем; в первый раз они говорили между собой и думали о других предметах, кроме любви.

III

ПОЛОЖЕНИЕ, В КАКОМ НАХОДИТСЯ ВО ВРЕМЯ НАРОДНОГО НЕУДОВОЛЬСТВИЯ ПАТРИЦИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. СЦЕНА В ЛАТЕРАНЕ

Положение патриция, питающего честную любовь к народу, в то время, когда сила угнетает, а свобода ведет против нее войну, когда два разряда людей спорят друг с другом, в высшей степени затруднительно и неприятно. Примет ли он сторону нобилей? Он действует против своей совести. Сторону народа? Он оставляет своих друзей. Но это – не единственное и для твердого ума, может быть, еще не самое важное затруднение. Все люди управляются и связываются общественным мнением, этим общественным судьей, но общественное мнение не одинаково для всех званий. Общественное мнение, возбуждающее или удерживающее плебея, есть мнение плебеев, т. е. тех, кого он видит, встречает и знает, тех, с которыми он имеет отношения с самого детства, похвалы которых он слышит ежедневно, строгая цензура которых следит за ним каждый час. Таким же образом общественное мнение вельмож есть мнение им равных, т. е. людей, которые рождением и обстоятельствами поставлены навсегда на их дороге. Когда мы читаем в настоящее время поверхностные страницы какого-нибудь догматизирующего журналиста о том, что такой-то и такой-то вельможа не осмелится сделать то-то и то-то, например, грозить арендатору или подкупить подателя голоса, из боязни общественного мнения, то неужели его осудит общественное мнение людей, его окружающих, т. е. его захребетники, его клиенты, его

сотоварищи по политике и чувствам. Нет, это сделает мнение другого класса, похвала или порицание которого редко доходит до его слуха, пренебрежение к которому его сословие может считать мужеством и достоинством. Это различие исполнено важных практических выводов; его никогда не должен забывать политик, который хочет быть проникательным. Для патрициев существует страшное испытание, которому подвергаются не многие плебеи, и было бы несправедливо требовать, чтобы первые бестрепетно пренебрегали им. Оно состоит в противодействии существующего для них общественного мнения; они не могут не сомневаться в основательности собственного своего суждения и невольно поддаются мысли, что голос мудрости и добродетели заключается в тех звуках, которые были для них оракулами от колыбели. Трибунал частных предрассудков они считают судилищем всеобщей совести. Другое могущественное препятствие для деятельности патриция, находящегося в таком положении, состоит в уверенности, что побуждения, руководящие его поступками, будут неправильно истолкованы как аристократией, которую он оставляет, так и народом, к которому он присоединяется. Бегство от своего сословия в человеке кажется таким ненатуральным, что свет готов искать для объяснения этой тайны любую причину, кроме честного убеждения и возвышенного патриотизма. Честолюбие! – говорит один; обманутая надежда! – кричит другой; какое-нибудь личное неудовольствие! – замечает третий; угодливость черни и тщеславие! – насмешливо говорит четвертый. Народ же сперва благоговейно удивляется, а потом подозревает. При первом противоречии народной воле для популярного патриция уже нет спасения: его обвиняют в том, что он действовал как лицемер, что он одевался в шкуру ягненка и говорят: посмотрите, волчьи зубы показались! Если он дружен с народом, это лесть; если далек от него, это гордость. Прочь же притворство общественного мнения, прочь жалкое обольщение надежды на справедливость потомства: он оскорбляет первое и никогда не получит последней. Что же в подобном положении поддерживает человека, следующего внушениям собственной совести и понимающего все опасности своего пути? Его собственная душа! Помогая своим ближним, истинно великий человек имеет вместе с тем некоторое презрение к ним; их бедствия или благо составляют для него все, их одобрение и порицание для него ничто. Он выходит из пределов того круга, в который поставлен происхождением и привычками; он глух к мелким побуждениям мелких людей. Высоко, через обширное пространство, описываемое его орбитой, он продолжаем свой путь, чтобы руководить и просвещать других, но шум, происходящий внизу, не доходит до него. Пока колесо еще не сломано, пока темная бездна не поглотила звезды, душа день и

ночь звучит мелодией для своего собственного уха, не желая прислушиваться к звукам освещаемой ею земли, не ища никакого спутника на стезе, по которой она движется, сознавая свою силу и потому довольная своим одиночеством. Но умы подобного рода редки. Не все века в состоянии производить их, они составляют исключение из обыкновенной человеческой добродетели, которая, если и не испорчена, все-таки находится под влиянием и управлением внешних обстоятельств. В то время, когда быть даже несколько чувствительным к голосу славы считалось уже большим превосходством в нравственной энергии над остальными людьми, было невозможно найти человека, обладающего тем утонченным, абстрактным чувством, тем чистым побуждением к высоким подвигам, тем величием, живущим в собственном сердце, которые так неизмеримо выше желания славы, держащейся за других. В самом деле; прежде чем будем в состоянии обойтись без света, мы должны продолжительным и строгим искусом, одобрением долгого размышления и большим горем, вследствие грустного убеждения в суетности всего, что свет может нам дать, поставить себя выше света. Немногие, даже мудрейшие из людей нашего, более просвещенного века, достигают этой отвлеченности, такого идеализма. И однако же до тех пор, пока мы не будем столь счастливы, мы не можем вполне постигнуть ни божественности созерцания, ни вседогодного могущества совести, не можем торжественно удалиться в святая святых своей души, где мы узнаем и чувствуем, как наша природа способна к самостоятельному существованию.

Мысли и обстоятельства, которые в подобных случаях оковывали столь многих честных и мужественных людей, оковали также ум Адриана. Он чувствовал себя в ложном положении. Разумом и совестью он одобрял планы Риенцо; и его врожденная смелость и предприимчивость повели бы его к деятельному участию в опасностях, сопровождавших исполнение этих планов. Но против этого громко возопили все его связи, дружеские отношения, частные и семейные узы. Как мог он составлять тайные заговоры и быть строгим к своему сословию, к своей семье, к товарищам своей юности? Патриотизм, который побуждает его стремиться к цели, будет истолкован как лицемерие и неблагодарность. Кто назовет честным защитником своей родины того, кто изменяет своим друзьям? Таким образом, по выражению Шекспира:

The native hue of resolution

Was sicklied o'er with the pale cast of thought [13].

И тот, кто по естественному порядку вещей должен бы быть вождем своего времени, остался только его зрителем. Впрочем, Адриан старался утешать себя в своей пассивности убеждением в благоразумии своего поведения. Кто не принимает участия в начале гражданских переворотов, тот может часто с величайшим успехом сделаться посредником между страстями и партиями, образовавшимися впоследствии. Может быть, в обстоятельствах Адриана выжидание было действительно политикой благоразумного человека: положение нерешительное в начале часто дает власть перед концом. Все готовы смотреть со снисходительностью и уважением на нового актера в беспокойной драме, если он чужд крайностей и злобы соперничающих партий. Его умеренность может сделать его поверенным народа, а звание – приличным посредником между народом и нобилиями; таким образом, качества, которые в один период времени сделали бы его мучеником, могут возвести его в степень избавителя в другой. В случае неудачи планов Риенцо он своим бездействием мог спасти народ от новых цепей, а Риенцо от смерти. В случае же успеха он мог избавить свою семью от народной ярости, и, во имя свободы, прекратить беспорядок. Таковы, по крайней мере, были его надежды. Таким-то образом итальянская хитрость и осторожность его характера сдерживали и успокаивали в нем энтузиазм молодости и храбрости.

Солнце спокойно и безоблачно сияло над огромной толпой народа, собравшегося перед обширной площадью, окружающей церковь св. Иоанна латеранского. Частью из любопытства, частью по желанию епископа орвиетского, частью пользуясь случаем показать великолепие своей свиты, к этому месту собрались многие из знатнейших вельмож Рима.

На одной из ступеней, ведущих к церкви, завернувшись в плащ, стоял Вальтер де Монреаль, глядя на разные группы людей, которые, одна за другой, шли по узкому промежутку, проложенному папскими солдатами среди толпы для прохода главных патрициев. Несмотря на свой обычный беспечный вид и блуждающий взор, он с интересом наблюдал и слушал различные приветствия, оказываемые чернью разным знатным лицам. Знамена и гербы предшествовали каждому из синьоров и при проходе их Монреаль старательно запечатлевал в своей памяти пробежавшие по живой толпе остроты и прозвища, эти короткие слова похвалы или порицания, заключающие в себе так много значения.

– Дорогу, дорогу сеньору Орсини ди Порто!

– Молчи, подлипало! Осади назад! Дорогу синьору Адриану Колонна, барону ди Кастелло, рыцарю империи...

И при этих криках развевались знамена фамилий: Орсини – с золотым изображением медведя и девизом: «Берегись моих объятий!» и Колоннов, с изображением столба на голубом поле и с особым девизом Адриана: «Грустен, но тверд». Свита Мартино Орсини была многочисленнее Адриановой, состоявшей только из десяти солдат, но последние более привлекали уважение толпы и более нравились опытному взгляду рыцаря св. Иоанна. Их оружие блестело как зеркало, их рост был одинаков, поступь была торжественна и спокойна, они держались прямо и не оглядывались ни направо, ни налево. В них заметна была необъяснимая дисциплина, та гармония порядка, внушать которую Адриан научился во время первоначальных своих занятий военным искусством. Солдаты, составлявшие беспорядочную свиту синьора ди Порто, были разного роста, их оружие было плохо вычищено и дурной работы; они толпой теснились друг к другу, громко смеясь и разговаривая; в их осанке и поступи видна была наглость людей, которые одинаково презирают как народ, так и своего господина, которому они служат. Едва эти две свиты столкнулись одна с другой в узком проходе, как тотчас же в них проявилась взаимная ненависть двух домов; первая рвалась вперед, и когда спокойная дисциплина, а также стройность и сомкнутость свиты Адриана помогли ей опередить предводителей его соперника, то чернь громко закричала:

– Многие лета Колонне! Пусть медведь пляшет за Колонной.

– Вперед вы, негодяи! – громко вскричал Орсини своим людям. – Как вы стерпели эту обиду? – И ведя их вперед, он пробрался бы через свиту своего соперника, если бы высокий гвардеец в папской ливрее своим жезлом не преградил ему дорогу.

– Извините, синьор, мы имеем строгое приказание не допускать споров разных свит между собой.

– Негодяй! Ты смеешь перечить и пререкаться со мной?! – взвился свирепый Орсини и разрубил жезл гвардейца пополам.

– Именем наместника приказываю вам отодвинуться назад, – сказал упрямый гвардеец, заслоняя дорогу своей огромной фигурой.

– Это Чекко дель Веккио! – вскричали ближайшие из толпы, которые заметили это промедление и его причину.

– Да, – сказал один, – добрый викарий поставил здесь много самых дюжих молодцов в папской ливрее для соблюдения порядка, но Чекко лучше их всех.

– Он не должен погибнуть, – вскричал другой, когда Орсини, бросив яростный взгляд на кузнеца, обнажил меч, как бы желая изрубить его.

– Стыд, стыд! Неужели папу будут оскорблять в его городе? – вскричали многие голоса. – Прочь святотатство! Прочь! – И как будто заранее сговорившись, вся масса черни хлынула вдруг через промежуток на Орсини и его смятую и худо подобранную свиту. Сам Орсини был сбит на землю и по нему прошла сотня ног. Его люди, боровшиеся всеми силами против толпы, были рассеяны и опрокинуты. И когда стража под предводительством кузнеца восстановила порядок, то Орсини, задыхаясь от бешенства и унижения и сильно помятый, едва мог встать. Папские офицеры подняли его, и он, дико озираясь, искал свой меч, который выпал у него из рук и был отброшен в толпу. Не найдя его, Орсини, скрежеща зубами, проговорил, обращаясь к Чекко дель Веккио:

– Любезный, твоя шея ответит за эту обиду, или пусть оставит меня Бог! – И он прошел среди полуподавленного и торжествующего шиканья присутствующих.

– Дорогу, – вскричал кузнец, – дорогу синьору Мартино ди Порто, и пусть все знают, что он грозил убить меня за то, что я исполняю свою обязанность, повинуюсь папскому наместнику!

– Он не смеет! – закричала тысяча голосов. – Народ защитит своих!

Эта сцена не была не замечена провансальцем, который умел распознавать, откуда дует ветер, и по смелости черни тотчас понял, что эти люди сознавали приближение бури.

– *Pardieu*, – сказал он, кланяясь Адриану, который с важностью и не оглядываясь назад, дошел теперь до ступеней церковной паперти. – Этот высокий молодец храбр и имеет много друзей. Как вы думаете, – прибавил он тихим шепотом, – не служит ли эта сцена доказательством, что нобили не в такой уж безопасности, как они думают?

– Конь начинает лягаться, почувствовав шпоры, – отвечал Адриан. – Благородный всадник в подобном случае остерегается натянуть поводья слишком туго, чтобы животное не поднялось на дыбы и не опрокинулось. Но вы посоветовали бы именно это.

– Вы ошибаетесь, – возразил Монреаль, – мое желание состояло в том, чтобы дать Риму государя вместо множества тиранов. Но, чу! Что значит этот колокол?

– Церемония скоро начнется, – отвечал Адриан, – мы войдем в церковь вместе?

Редко храм, посвященный Богу, был свидетелем такого странного зрелища, какое представляла теперь внутренность латеранской церкви.

Посредине возвышались скамьи амфитеатром, на дальнем конце которого был устроен помост немножко выше всего остального. Ниже этого места, но

довольно высоко для того, чтобы быть на виду всего собрания, была помещена большая железная таблица с вырезанной на ней древней надписью и с ясным и выпуклым девизом посередине, который теперь подлежал объяснению.

Скамьи были покрыты сукном и богатыми обоями. В глубине церкви был повешен пурпурный занавес, вокруг амфитеатра стояли офицеры церкви в папских мундирах. Направо от помоста сидел Раймонд, епископ Орвиетский в парадной одежде. На скамьях вокруг разместились все значительные особы Рима: судьи, ученые и патриции, начиная от высокого ранга Савелли до низшего, к которому принадлежали Разелли. Пространство вне амфитеатра было заполнено народом, который теперь быстро приливал поток за потоком. И все это время чисто и громко звучал большой церковный колокол.

Наконец, когда Адриан и Монреаль сели на небольшом расстоянии от Раймонда, колокол внезапно замолк, говор народа затих, пурпурный занавес был отдернут, и Риенцо выступил медленным и величавым шагом. Но он явился не в обыкновенной своей темной и простой одежде. На нем был надет камзол ослепительной белизны; длинный плащ, наподобие широкой тоги, волочился по полу, на голове у него была повязка из белой ткани, на которой сияла золотая корона. Корона была разделена или, так сказать, разрезана надвое мистическим орнаментом, представляющим серебряный меч, который, привлекая всеобщее внимание, свидетельствовал, что этот странный наряд был надет не из суетной роскоши, но для того, чтобы представить собранию в лице гражданина тип и эмблему состояния города, о котором он хотел говорить.

– Право, – прошептал один из старых нобилей своему соседу, – плебей храбро принимается за дело.

– Это будет редкое зрелище, – сказал другой. – Я уверен, что добрый человек вставит в свою речь несколько шуток.

– Что это за комедия? – сказал третий.

– Он верно рехнулся, – прибавил четвертый.

– Как он красив, – говорили женщины, замешавшиеся в толпе.

– Этот человек выучил народ наизусть, – заметил Монреаль Адриану. – Он знает, что должен подействовать на зрение, чтобы победить ум. Плут, умный плут!

Риенцо взошел на помост, и когда он обратил пристальный взгляд на собрание, то высокое и задумчивое спокойствие его величественного лица, его глубокая и торжественная важность, прекратили шум и одинаково подействовали как на нетерпеливую чернь, так и на насмешливых нобилей.

– Синьоры Рима, – сказал он наконец, – и вы, друзья и граждане! Вы слышали, зачем вы собрались здесь. Вы, монсиньор епископ Орвиетский, и вы, сотрудники мои на поприще учености, также знаете, что поводом к этому послужило нечто относящееся к древнему Риму. Мы провели нашу юность, стараясь понять возвышение и упадок его прежнего величия и славы. Но, верьте мне, это не пустая загадка для эрудиции, полезная только ученым, относящаяся только к мертвому. Пусть погибнет прошедшее! Пусть тьма покроет его, пусть оно вечно спит на обвалившихся храмах и печальных могилах его забытых сынов, если вырытые из земли тайны его не могут представить нам руководства для настоящего и будущего. Неужели вы думаете, синьоры, что ради одной древности мы проводили дни и ночи в изучении того, чему может научить нас эта древность? Вы ошибаетесь. Знание того, чем мы были, бесполезно, если оно не сопровождается желанием знать то, чем мы должны быть. Наши предки не более как прах и пепел, если они не говорят нашему потомству; а когда они говорят, то их голоса звучат не из земли, а с неба. В воспоминании есть свое красноречие, потому что оно питает надежду. В прошедшем есть святость единственно по причине хроник, которые оно содержит в себе, повествований о прогрессе рода человеческого, в цивилизации, свободе и знании. Наши отцы запрещают нам идти назад. Они показывают нам наше прямое наследие, они обязывают нас сберечь и умножить его, хранить их добродетели, избегать их ошибок. Вот в чем состоит подлинная польза прошедшего. Подобно святому зданию, в котором мы находимся, это есть могила для построения на ней храма. Я вижу, что вы удивлены этим длинным вступлением, вы посматриваете друг на друга и спрашиваете, к чему это ведет. Взгляните на эту большую железную доску. На ней вырезана надпись, только недавно вырытая из груды камней и развалин, которые были некогда дворцами империи и арками торжествующей власти. Девиз в середине таблицы, которую вы видите, включает в себе акт римских сенаторов, предоставляющих Веспасиану императорскую власть. Я пригласил вас для того, чтобы прочесть вам эту надпись. Она обозначает условия и пределы этой власти. Императору предоставляется право издавать законы и заключать союзы с какой бы то ни было нацией; расширять или уменьшать пределы городов и округов и, заметьте это, синьоры, возводить людей в звание вождей и царей и лишать их этого звания; учреждать города и уничтожать их. Словом, все атрибуты верховной власти. Да, этому императору была вверена обширная власть, но кем? Слушайте, прошу вас, внимательно, не пропустите ни одного слова. Кем, спрашиваю я: римским сенатом! А что такое был римский сенат? Представитель римского народа.

– Я знал, что он до этого дойдет, – сказал кузнец, который стоял в дверях со своими товарищами, но до слуха которого ясно и отчетливо доходил звонкий голос Риенцо.

– Молодец! И это он сказал при синьорах!

– Да, вы видите, чем был народ, и мы бы никогда этого без него не узнали.

– Тише, ребята, – сказал офицер тем из толпы, между которыми слышались эти замечания, произносимые шепотом.

Риенцо продолжал:

– Да, народ вверил эту власть и следовательно она принадлежит народу. Не присвоил ли гордый император себе корону? Не взял ли власть сам собой? Не родилась ли она с ним? Не получил ли он ее, бароны, посредством обладания укрепленными замками или высоким происхождением? Нет, при всем своем могуществе, он не имел права ни на одну малейшую частицу этой власти без голоса и доверенности римского народа. Такой привилегией, сограждане, пользовались наши отцы, хотя в то время свобода была только тенью того, чем была прежде; всякая власть была даром народа. Спрашиваю: что же вы можете дать теперь? Какой отдельный человек, какой даже незначительный начальник просит у вас власти, которую он присваивает? Его сенат – меч. Грамота его привилегий написана не чернилами, а кровью. Народ! В Риме нет народа! О, если бы мы могли вырыть из могилы дух прошедшего так же легко, как воспоминание о нем!

– Если бы я был вашим родственником, – прошептал Монреаль Адриану, – то я дал бы этому человеку мало времени между его проповедью и исповедью.

– Кто вам император? – продолжал Риенцо. – Иностранец! Кто великая глава вашей церкви? Изгнанник! Вы лишены законных вождей. А почему? Потому что вы не лишены беззаконных тиранов. Своеволие ваших нобилей, их споры и распри заставили святого отца удалиться из наследия св. Петра; они наполнили римские улицы вашей кровью. Она растратила богатства, добытые вашими трудами, на частные союзы и содержание наемных негодяев. Ваши силы истощены против вас самих, вы сделали посмешищем вашу родину, бывшую некогда властительницей мира; вы намочили губы ее желчью и надели терновый венец на ее голову! Как, синьоры! – вскричал он вдруг, повернувшись к Савелли и Орсини, которые, стараясь освободиться от трепета, возбужденного в их сердцах пламенным красноречием Риенцо, презрительными жестами и улыбками выражали теперь свое неудовольствие, не смея его выразить громко в присутствии наместника и народа. – Как, даже в то время, когда я говорю, вас не останавливает святость этого места? Я, правда, незначительный человек, не более как гражданин Рима; но я имею

одну заслугу, я возбудил против себя многих врагов и поносителей тем, что я сделал для Рима. Меня ненавидят, потому что я люблю мою родину; меня презирают, потому что я хочу ее вознести. Я расплачиваюсь, я хочу быть отмщен. В собственных наших дворцах вас предадут три изменника, их имена: роскошь, зависть и раздор!

– Задел же он их!

– Ха, ха, ха! Клянусь святым крестом, это было славно сказано.

– Я готов отдаться в руки палачу за другую такую острую штуку.

– Стыдно нам трусить, если один человек так храбр, – сказал кузнец.

– Именно такого человека нам недоставало!

– Тише! – сказал офицер.

– О, римляне! – продолжал Риенцо с жаром. – Проснитесь, заклинаю вас, пусть воспоминание о вашем прежнем могуществе, о вашей древней свободе глубоко западет вам в душу. В благоприятную минуту, если вы ею воспользуетесь, и в несчастную, если вы упустите золотой случай, это воспоминание о прошедшем было доведено до вашего слуха. Вспомните, что приближается время юбилея.

Епископ Орвиетский улыбнулся и одобрительно кивнул головой, народ, граждане и нобили низшего разряда хорошо заметили эти ободрительные знаки, им показалось, что сам папа в лице своего викария благосклонно смотрел на смелость Риенцо.

– Приближается время юбилея, глаза всего христианского мира будут обращены на Рим. Здесь, куда со всех четырех стран света люди идут искать мира, неужели они найдут раздор? Ища разрешения от грехов, неужели они увидят преступление? В области господства Божия неужели они будут оплакивать вашу слабость? В местопребывании святых мучеников неужели они будут трепетать от ваших пороков? В роднике и источнике Христова закона неужели они не найдут никакого закона? Вы были славой мира, неужели ныне вы будете его поношением? Вы были его примером, неужели теперь вы будете его предостережением? Встаньте пока еще есть время, очистите ваши дороги от бандитов, ваши дома от гнездящихся в них наемников! Изгоните эти гражданские распри людей (как бы знатны и горды они ни были), которые их поддерживают! Вырвите весы из рук обмана, меч из руки насилия! Весы и меч были древними атрибутами правосудия, возвратите их ему. Это будет вашим великим делом, вашей великой целью. Считайте всякого человека, который им противится, изменником своей родине. Одержите победу важнейшую, нежели победы цезарей, победу над собой. Пусть богомольцы всего света увидят воскресение Рима. Сделайте эпоху из юбилея религии и восстановления закона. Принесите в жертву ваши

побежденные страсти, первые плоды возобновленной вашей свободы на алтарь, который находится в этих стенах. О, с тех пор как существует мир, Богу не была приносима более приятная жертва!

Впечатление, произведенное этими словами, было так сильно, они так потрясли душу слушателей, которых захватили врасплох, что Риенцо сошел с помоста и уже исчез за занавесом, из-за которого он явился, прежде чем толпа осознала, что он закончил.

Странность этого внезапного явления, окруженного мистическим блеском и исчезнувшего в ту минуту, когда дело было кончено, придало еще более действенности произнесенным им словам. Весь характер этой смелой речи был проникнут чем-то сверхъестественным и вдохновенным; в толпе казалось, что смертный преобразился в оракула и, дивясь бесстрашному мужеству, с каким их идол порицал и заклинал гордых баронов, из которых на каждого они смотрели, как на официального палача и гнев которых мог тотчас обернуться смертными казнями, они суеверно воображали, что власть, происходящая свыше, одарила их вождя такой смелостью и сохранила его от опасности. В самом деле безопасность Риенцо состояла именно в этой храбрости; он был поставлен в такие обстоятельства, при которых дерзость есть благоразумие. Если бы он был менее смел, то нобили были бы более строги к нему; но теперь они, естественно, воображали, что такая свобода речи должностного лица Святого престола произошла не без согласия папы и не без одобрения народа; люди, не считавшие, подобно Стефану Колонне, слова ветром, не взяли на себя обязанность наказать человека, голос которого, может быть, есть не более как отголосок желаний первосвященника. Несогласия нобилей друг с другом были для Риенцо не менее благоприятны. Он нападал на сословие, члены которого не имели единства.

– Не мое дело убивать его! – сказал один.

– Я не представитель баронов! – сказал другой.

– Если Колонна не обращает на него внимания, то было бы нелепо и опасно для человека менее значительного делать себя поборником порядка! – сказал третий.

Колонны одобрительно улыбались, когда Риенцо обвинял Орсини, а один из Орсини громко засмеялся, когда красноречие разразилось против Колоннов. Менее значительным нобилиям было очень приятно слышать нападки на тех и других. С другой стороны, епископ, ободренный продолжительной безнаказанностью Риенцо, решился утвердить его поступок своим одобрением. Правда, в своей речи он иногда притворялся будто бы порицает излишество горячности Риенцо, но всегда сопровождал

эти порицания похвалами его честности, – и одобрение папского викария утвердило нобилей в мысли относительно одобрения самого папы. Таким образом, само безрассудство энтузиазма Риенцо обеспечило ему безопасность и успех.

Однако же, когда бароны несколько оправились от оцепенения, в которое были ввергнуты словами Риенцо, они стали посматривать друг на друга, и в их глазах выражалось сознание дерзости оратора и нанесенной им обиды.

– *Per fede!* – проговорил Реджинальдо ди Орсини. – Это переходит все границы терпения – плебей зашел слишком далеко!

– Взгляните на чернь внизу! Как эти люди ропщут и разевают рты, как сверкают их глаза и какие взгляды бросают они на нас! – сказал Лука ди Савелли своему смертельному врагу Каструччио Малатеста: чувство общей опасности соединило в одну минуту, но только на одну минуту, людей, много лет враждовавших между собой.

– *Diavolo!* – проворчал Разелли (отец Нины) барону, такому же бедному. – Писец говорит правду. Жаль, что он не благородный!

– Какая умная голова пропадает даром! – сказал один флорентийский купец. – Этот человек мог бы быть кем-нибудь при достаточном богатстве.

Адриан и Монреаль молчали: первый, казалось, погрузился в думу, а последний наблюдал различное действие, произведенное речью Риенцо на слушателей.

– Тише! – провозгласили офицеры. – Тише, монсиньор наместник хочет говорить.

При этих словах все глаза обратились к Раймонду, который, встав, с большим клерикальным величием обратился к собранию с такой речью:

– Бароны и граждане Рима, возлюбленная паства, мои дети! Хотя я знал не больше вас, в чем будет состоять речь, которую вы сейчас слышали, хотя я не вполне доволен тоном и одобряю не все части этого пылкого увещания, однако же (и епископ сделал сильное ударение на этом слове) не могу отпустить вас отсюда, не присоединив к мольбам слуги нашего святого отца мольбы духовного представителя его святейшества. Да, юбилей приближается! Юбилей приближается – а наши дороги, до самых ворот Рима, наполнены убийцами и безбожными злодеями! Какой пилигрим отважится перебраться через Апеннины на богомолье у алтарей св. Петра? Юбилей приближается: о, какой позор будет для Рима, если эти алтари останутся без богомольцев, если боязливые отступят перед опасностями пути, а смелые падут их жертвой! Поэтому прошу вас всех – граждан и вождей – отложить в сторону несчастные раздоры, которые так долго истощали силу нашего святого города и, соединясь между собой узами дружбы и братства,

образовать святую лигу против дорожных грабителей. Я вижу между вами, синьоры, многих, составляющих гордость и опору государства; но, увы! с горем и ужасом помышляю о беспричинной и пустой ненависти между вами! Она – соблазн для нашего города и – позвольте мне прибавить, синьоры, – не делает чести ни вере, которую вы исповедуете, как христиане, ни достоинству вашему в качестве защитников церкви.

Между нобилиями низшего разряда, на скамейках занятых судьями и учеными и в огромной толпе народа послышался при этих словах громкий шепот одобрения. Знатнейшие бароны смотрели гордо, но не презрительно на лицо прелата и хранили строгое молчание.

– В этом священном месте, – продолжал епископ, – позвольте мне просить вас похоронить навсегда эту бесплодную вражду, которая стоила нам достаточного количества крови и денег. Оставим эти стены с единодушной решимостью доказать наше мужество и рыцарскую доблесть единственно против наших общих неприятелей, этих злодеев, которые опустошают наши поля и наполняют наши дороги, этих врагов народа, который мы обязаны защищать, и Бога, которому мы должны служить!

Епископ сел. Нобили, не отвечая, смотрели друг на друга; народ начал громко шептать; наконец, после небольшой паузы, Адриан ди Кастелло встал со своего места.

– Извините меня, синьоры, и вы, почтенный отец, если я, не обладающий ни опытностью зрелого возраста, ни значительным весом между вами, решаюсь первый принять предложение, которое мы сейчас слышали. Охотно отказываюсь я от всякого прежнего повода к вражде с кем бы то ни было из моих равных. К счастью для меня, мое продолжительное отсутствие в Риме изгладило из моей памяти распри и соперничество, знакомые мне с ранней моей юности; и в этом благородном собрании я вижу (и он взглянул на Мартино ди Порто, который сидел угрюмо, опустив глаза) только одного человека, против которого я однажды счел долгом обнажить меч; залог, который я тогда бросил этому патрицию, к моему удовольствию еще не освобожден. Я беру его назад. С этих пор враги Рима будут моими единственными врагами!

– Благородно сказано, – громко заметил епископ.

– И, синьоры, – продолжал Адриан, бросая перчатку в середину толпы нобилей, – я бросаю этот взятый назад залог всем вам, вызывая вас на более важное состязание, на более благородную битву. Я приглашаю каждого поспорить со мной в усердии к восстановлению спокойствия на наших дорогах и порядка в нашем государстве. Если, несмотря на все мои усилия, я буду побежден в этом споре, то я без зависти уступаю приз. В течение десяти

дней с этого времени, почтенный отец, я поставлю сорок вооруженных всадников, готовых повиноваться всяким распоряжениям, которые будут признаны необходимыми для безопасности римского государства. А вас, римляне, прошу забыть произнесенные сейчас укоризны против ваших сограждан. Все мы, к какому бы званию ни принадлежали, может быть, участвовали в беспорядках этого несчастного времени. Будем стараться не мстить, не раздражать, а преобразовывать и соединять. Пусть народ будет иметь возможность прийти к убеждению, что настоящая гордость патриция состоит в том, что его власть делает его более других способным служить своему отечеству.

– Благородные слова! – сказал насмешливо кузнец.

– Если бы все были похожи на него! – сказал сосед кузнеца.

– Он избавил нобилей от дилеммы! – сказал Пандульфо.

– Он обнаружил седой ум под молодыми волосами, – сказал старый Малатеста.

– Вы отвели поток, но не остановили его, благородный Адриан, – прошептал вечно предвещающий Монреаль, когда молодой Колонна сел среди всеобщего одобрения.

– Что вы под этим разумеете? – спросил Адриан.

– Что ваши мягкие слова, подобно всем уступкам патрициев, пришли слишком поздно.

Из остальных нобилей никто не пошевелился, хотя, может быть, они чувствовали себя расположенными соединиться в общем чувстве амнистии, и, судя по их знакам и шепоту, казалось, одобряли речь Адриана. Они слишком привыкли к грубой, необразованной гордости для того, чтобы унизиться до обращения примирительных слов к народу, т. е. к своим врагам. Раймонд, бросив взгляд вокруг и опасаясь, чтобы их неловкое молчание не было замечено, встал с целью насколько возможно поправить эту неловкость.

– Мой сын, – сказал он, – ты говорил как патриот и христианин; из одобрительного молчания тебе равных, мы все заключаем, что они разделяют твои чувства. Теперь разойдемся; цель нашего собрания достигнута. Способ действий против дорожных разбойников требует более зрелых соображений где-нибудь в другом месте. Этот день будет началом новой эпохи в нашей истории.

– Да, – проворчал угрюмо сквозь зубы Чекко дель Веккио.

– Дети, благословение мое на всех вас! – заключил викарий, простирая руки.

И через несколько минут толпа повалила из церкви. Служители и знаменосцы выстроились на внешних ступенях; каждая свита заботилась о

том, чтобы ее господин шел впереди других; нобили важно составились в большие группы, в которых не было ни малейшей примеси соперничающей крови, и последовали за толпой вниз. Шум, спор и проклятия враждебных партий скоро опять возникли. Тогда с большими усилиями чиновники наместника навели среди них самый необходимый порядок.

Монреаль сказал Адриану правду. Чернь уже почти забыла благородное воззвание молодого патриция, и была занята единственно истолкованиями неловкого молчания его собратьев. Да и что им было за дело до крестового похода против дорожных разбойников? Они порицали доброго епископа за то, что он не сказал нобилиям смело: вы – первые разбойники, против которых мы должны идти! Народное недовольство зашло так далеко, что паллиативные средства для него были недостаточны; оно достигло той точки, когда народ жаждет совершенного переворота, а не реформы. Бывают эпохи, когда революция не может быть предотвращена; она должна произойти, будет ли это посредством противодействия или посредством уступок. Горе тому народу, которому революция не приносит плодов, в котором удар грома поражает вершину, но не очищает воздуха. Напрасное страдание часто бывает уделом благороднейших личностей; но если страдает народ, то пусть он пеняет на себя.

IV

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ГРАЖДАНИН И ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ВОИН

Епископ Орвиетский остался на некоторое время, чтобы поговорить с Риенцо, который ожидал его в закоулках Латерана. Раймонд был довольно проникновенен и не мог думать, что последняя сцена в состоянии произвести какую-нибудь реформу среди нобилей, усмирить их распри или действительно вооружить их против разбойников Кампаньи. Но, рассказывая Риенцо подробности того, что случилось после ухода этого героя со сцены, он заключил:

– Вы видите, что этим достигается один хороший результат: первая вооруженная ссора – первая драка между нобилиями, и она будет иметь вид нарушения обещания. И для народа, и для папы она послужит разумным извинением для того, чтобы, отчаявшись в исправлении баронов, оправдать усилие первого и одобрение последнего.

– Нам недолго придется ждать подобной драки, – отвечал Риенцо.

– Верю вашему пророчеству, – сказал Раймонд, улыбаясь. – Теперь все хорошо. Идете вы с нами домой?

– Нет, я думаю лучше подождать здесь, пока толпа совершенно разойдется, потому что если она меня увидит в своем теперешнем возбужденном состоянии, то, может быть, начнет требовать какого-нибудь опрометчивого и поспешного предприятия. Кроме того, монсиньор, – прибавил Риенцо, – с невежественным народом, как бы он ни был честен и восторжен, нужно строго соблюдать правило: не слишком часто являться ему на глаза. Люди, подобно мне не имеющие внешней знатности, никогда не должны оказываться среди толпы, кроме тех случаев, когда ум сам по себе составляет знатность.

– Это справедливо, у вас нет свиты, – отвечал Раймонд, – мы скоро встретимся.

– Да, у Филиппи, монсиньор. Почтенный отец, ваше благословение!

Несколько минут спустя после этого разговора Риенцо оставил священное здание. Он стоял на ступенях церкви, теперь безмолвной и опустевшей. Это был час, предшествующий коротким южным сумеркам и представлявший волшебное зрелище. Далеко простирались арки огромного водопровода, за которыми видны были холмы, залитые пурпуром. Впереди направо возвышались ворота, получавшие свое громкое имя от Целийской горы, на склоне которой они стоят еще до сих пор. Далее с высоты ступеней он видел рассеянные по Кампанье деревни, белеющие в лучах заходящего солнца, а в самом дальнем расстоянии горные тени начали сгущаться над кровлями древнего Тускулума и второго альбанского города[14], который еще возвышается в печальном запустении над исчезнувшими дворцами Помпеи и Домициана.

Римлянин стоял неподвижно и задумчиво несколько минут, смотря на эту сцену и вдыхая в себя мягкий бальзамический воздух. Это было нежное весеннее время цветов, зеленых листьев и шепчущего ветра, пастушеский май итальянских поэтов. Но уже не слышно было песен на берегу Тибра, тростник не издавал уже более музыкальных звуков. Со священной горы, на которой обитал Сатурн, дриады, нимфы и итальянский уроженец сивиллы удалились навсегда. Оригинальная натура Риенцо, его энтузиазм, его благоволение к прошедшему, его любовь к прекрасному и великому, даже самая привязанность к гармонии и пышности, которые дают такой радужный оттенок суровой действительности жизни, и которые потом слишком роскошно развились вследствие власти, избыток мыслей и фантазии,

изливавшихся с его уст таким блестящим и неистощимым потоком, – все показывало в нем те склонности ума и воображения, которые в более спокойные времена могли бы возвысить его в литературе до более бесспорного превосходства, нежели до какого может довести деятельность практическая. Нечто подобное этим мыслям в настоящую минуту мелькнуло в его голове.

«Я был бы счастливее, – думал он, – если бы из области моего сердца никогда не выглядывал на мир. Я имел внутри себя все, что составляет довольство настоящим, потому что у меня было то, что заставляет забывать настоящее. Я имел власть поселять и создавать: легенды и грезы о старине, божественная способность стихотворства, в котором может изливаться прекрасный избыток сердца, были тогда в моей власти! Петрарка сделал для себя благоразумный выбор! Обращаться к свету, но извне его, убеждать, возбуждать, повелевать (потому что в этом состоит цель и слава честолюбия), но вместе с тем избегать его шума и забот. Его достояние – спокойная келья, которую он наполняет прекрасными образами, уединение, откуда он может изгнать бедствия, в которые мы впали, но где вместе с тем он может мечтать о великих людях и славных эпохах прошедшего. А я! Какие принял на себя заботы! Какими трудами связал себя! Какие орудия должен употреблять! Как я должен притворяться! Я должен унижать свою гордость до уловок и хитростей. Мои враги низки, друзья ненадежны, и в этой борьбе со слепыми и ничтожными людьми сама душа делается кривой и мелкой. Терпеливо и впотьмах нужно пробираться через подземные ходы и грязные болота, чтобы достигнуть наконец света, который служит целью».

В этих размышлениях была истина всей горечи, которой он еще не испытал. Как бы ни был высок предмет, к которому мы стремимся, каждая недостойная тропинка, по которой мы идем, чтобы овладеть им, портит умственный взор нашего честолюбия, и средства мало-помалу понижают цель до своего уровня. Для человека, возвышающегося над веком, истинное несчастье состоит в том, что средства, которые он должен употреблять, пятнают его; наполовину он реформирует современность, и наполовину современность портит самого реформатора. Его хитрость вредит его безопасности; народ, которого он сам приучил к ложному возбуждению, беспрестанно требует этого возбуждения. И когда его правитель перестает соблазнять его воображение, то падает жертвой реформы, которую он делает этими средствами ничтожной и эфемерной. Она исчезает вместе с ним. Это была шутка, зрелище, исчезнувшие чары заклинателя. Занавес падает, волшебство исчезает и орудия фокусника отбрасываются в сторону. В просвещении гораздо лучше медленный ход, при котором оно, будучи

произведено умом целого народа, не может попятиться назад, – лучше этих внезапных вспышек в глубине всеобщей ночи, вновь поглощаемых тьмой, которая делается еще мрачнее от контраста.

Когда Риенцо медленно и задумчиво удалялся от этого места, он почувствовал, что кто-то слегка тронул его за плечо.

– Добрый вечер, господин ученый, – сказал кто-то твердым голосом.

– И вам также, – отвечал Риенцо, глядя на подошедшего к нему человека, в котором по белому кресту и воинственной осанке читатель узнает рыцаря Св. Иоанна.

– Вы, конечно, меня не знаете, – сказал Монреаль, – но это неважно, мы можем очень удобно начать наше знакомство теперь. Впрочем, что касается меня, я имею счастье уже быть знакомым с вами.

– Может быть, мы встречались где-нибудь в доме одного из тех нобилей, к званию которых вы, по-видимому, принадлежите?

– Принадлежу! Нет, не совсем, – отвечал Монреаль гордо. – Сколь ни считают меня знатным и высокородным ваши магнаты, но до тех пор, пока в горах есть свободное место для меня, я не поменяюсь с ними положением. Для храброго существует только один сорт плебеев – трусы; ни вас, мудрый Риенцо, – продолжал рыцарь более веселым тоном, – я видел среди более возбудительных сцен, нежели какие может представить зала римского барона.

Риенцо пронизательно взглянул на Монреалья, который смело встретил этот взгляд.

– Да, – продолжал рыцарь, – пойдём дальше, позвольте мне на несколько минут быть вашим спутником. Да, я слушал вас однажды вечером, когда вы говорили народу, и сегодня, когда вы упрекали нобилей, а также в полночь недавно, когда (наклоните ваше ухо пониже – это секрет) в полночь, когда вы принимали присягу в братстве смелых заговорщиков в развалинах Авентина.

Произнеся эти слова, рыцарь отодвинулся несколько в сторону, для того, чтобы наблюдать по лицу Риенцо действие своих слов.

Легкая дрожь пробежала по телу заговорщика, потому что Риенцо будет назван именно так, если заговор не удастся. Он обернулся вдруг лицом к рыцарю и невольно опустил руку на меч, но тотчас же отдернул ее назад.

– А, – сказал он медленно, – если это правда, то погибай, Рим, измена гнездится даже между свободными.

– Никакой измены здесь нет, – отвечал Монреаль, – я знаю твой секрет, но никто мне его не выдал.

– И ты узнал его как друг или как враг?

– Как бы то ни было, – отвечал Монреаль небрежно. – А теперь довольно того, что я мог бы отправить тебя на виселицу, если бы сказал хоть одно слово, значит, я могу быть твоим врагом; но я не стал им – значит, расположен быть твоим другом.

– Ты ошибаешься! Погибнет тот, кто прольет мою кровь на римских улицах! На виселицу! Мало же ты имеешь понятия о силе, окружающей Риенцо!

Эти слова были сказаны с некоторым презрением и горечью; но после минутной, паузы Риенцо продолжал более спокойным тоном:

– Судя по кресту на твоём плаще, ты принадлежишь к одному из самых гордых орденов рыцарства: ты иностранец и кавалер. Какие великодушные симпатии могут превратить тебя в друга римского народа?

– Кола ди Риенцо. – отвечал Монреаль, – нас соединяют симпатии, соединяющие всех людей, которые собственными усилиями возвышаются над толпой. Правда, я родился нобилем, но я был слаб и беден: теперь по одному моему мановению двигаются от одного города к другому вооруженные люди – орудия моей власти. Мое слово служит законом для тысяч. Я не наследовал этой власти; я приобрел ее холодным разумом и бесстрашной рукой. Я – Вальтер Монреаль: не говорит ли это имя, что моя душа сродни твоей собственной? Честолюбие – не общее ли обоим нам чувство? Не для одной прибыли я предводительствую солдатами, хотя меня и называют жадным; я не убиваю крестьян из жажды крови, хотя меня называют жестоким. Оружие и богатство – пружины власти, которой я добиваюсь, а ты – разве ты не того же ищешь, смелый Риенцо? Неужели для тебя довольно нечистого дыхания пропитанной чесноком черни, завистливого шепота ученых или криков мальчишек, которые называют тебя патриотом и свободным человеком – слова, годные только на то, чтобы обманывать слух? Все это служит твоим орудием власти. Правду ли я говорю?

Как ни была эта речь неприятна Риенцо, он сумел скрыть свои чувства.

– Конечно, – сказал он, – было бы напрасно, знаменитый вождь, отрицать, что я ищу власти, о которой ты говоришь. Но какая связь может существовать между честолюбием римского гражданина и вождем наемных войск, который пристает к тому или другому делу, единственно сообразуясь со своей наемной платой; который сегодня сражается за свободу Флоренции, а завтра за тиранию в Болонье? Извини меня за откровенность, но в нашем веке то, что я говорю о твоём войске, не считается бесчестьем. Храбрость и командование считаются достаточными для того, чтобы освятить дело, в

защиту которого они вызваны, а тот, кто господствует над государями, конечно, может быть принимаем ими за равного.

– Мы входим в более населенную часть города, – сказал кавалер; – нет ли здесь какого-нибудь уединенного места вроде Авентина, где мы могли бы разговаривать?

– Тс! – отвечал Риенци, осторожно оглядываясь кругом. – Благодарю тебя, благородный Монреаль, за твой намек; притом нехорошо, если нас увидят вместе. Не угодно ли тебе прийти ко мне в дом у Палатинского моста? Там мы можем говорить безопасно и без помехи.

– Хорошо, – сказал Монреаль, отступая.

Скорыми и поспешными шагами Риенци пошел через город, где узнававшие его граждане кланялись ему с особенным уважением. Пробравшись через лабиринт темных переулков, как бы для избежания более людных проходов, он, наконец, достиг широкой площади около реки. Первые ночные звезды сияли над древним храмом Fortuna Virilis, который теперь был обращен в церковь св. Марии египетской; против этого здания стоял дом Риенци.

– Это хорошее предзнаменование, что мой дом стоит против древнего храма Фортуны, – сказал Риенци, улыбаясь, когда Монреаль вошел за ним в комнату, которую я уже описывал.

– Но храбрость никогда не должна молиться фортуне, – сказал рыцарь, – первая повелевает последней.

Продолжителен был разговор между этими самыми предприимчивыми людьми своего времени. Теперь познакомлю читателя с характером и намерениями Монреала несколько ближе, быстрое течение событий не позволяло мне это сделать прежде.

Вальтер де Монреаль, известный в хрониках Италии под именем Фра Мореале, пришел в эту страну в качестве смелого авантюриста, достойного наследника тех бродячих норманнов (от одного из знаменитейших из них Монреаль, по материнской линии, и вел свое происхождение), которые некогда играли такую роль в рыцарских странствованиях по Европе, осуществляя басни об Амадисе и Пальмерине (каждый рыцарь сам по себе есть войско), завоеывая земли и ниспровергая троны; не признавая никаких законов, кроме законов рыцарства; не смешиваясь с народом, где они поселялись; неспособные сделаться гражданами и едва ли ограничивались желанием сделаться королями. Тогда Италия была то же, что теперь Индия для всех благородных, но бедных искателей приключений в Англии; подобно Монреалю, эти рыцари воспламенили свое воображение балладами и легендами о Робертах и Годфридах старых времен; от юных лет приучались

они управлять конем и выносить во время летней жары тяжесть оружия; для приобретения богатства в этой изнеженной и разъединенной стране им нужна была только храбрость. Для некоторых могущественных вождей не считалось нисколько предосудительным собрать шайку из этих смелых чужеземцев, жить в городах добычей и грабежом, воевать против тирана или против республики, исходя исключительно из собственных выгод, и продавать мир за огромные деньги. Иногда они нанимались у одного государства для защиты его против другого, а в следующий год сражались против прежних своих наемщиков. Таким образом эти шайки северных авантюристов приобрели не только военную, но и гражданскую важность; они были необходимы для безопасности одного государства столько же, сколько губельны для безопасности всех других. Не более как за пять лет до описываемых событий, флорентийская республика наняла услуги знаменитого предводителя этих чужеземных солдат Гвальтьера, дюка афинского. Призвав его, народ сам избрал этого воина князем или тираном своего государства; не прошло года, и граждане восстали против его жестокостей, или лучше против его корыстолюбия, потому что, несмотря на все похвалы их историков, для них чувствительнее было нападение на их кошельки, нежели на их свободу. Они изгнали его из своего города и опять объявили себя республикой. Самым храбрым и наиболее покровительствуемым из солдат дюка афинского был Вальтер де Монреаль; он разделял и возвышение, и падение своего вождя. Среди народных волнений глубокий, наблюдательный ум рыцаря св. Иоанна приобрел немалую гражданскую опытность; он научился исследовать народ, узнавать как далеко может простираться его терпение, истолковывать признаки революции, понимать дух времени. После падения дюка афинского он в шайке свирепого Вернера увеличил свое богатство и свою славу. Но теперь он не имел занятия, которое было бы достойно его предприимчивой, склонной к интригам души, и расстроенное, анархическое состояние Рима привело его туда. Предлагая Колонне лигу и подстрекая честолюбие этого синьора, он имел в виду сделать свои услуги необходимыми, стать во главе войска, без которого честолюбие Колонны не могло обойтись при исполнении предложенных планов. В глубине своего предприимчивого ума он, вероятно, предвидел, что командование подобной силой будет в сущности господством над Римом; что контрреволюция легко может низвергнуть Колонну и выбрать князем его, Монреалья. В Риме и в других итальянских государствах существовал иногда обычай делать начальником гражданского управления не своего, а какого-нибудь иностранца, предоставляя ему титул подесты (Podesta). И Монреаль надеялся сделаться

для Рима тем же, чем дюк афинский был для Флоренции; честолюбие, которое, как он хорошо понимал, было выше чем у провансальского дворянина, но не выше, чем у предводителя войска. Но при своей проницательности он, из разговора со Стефаном Колонной тотчас же понял невозможность побудить этого старого патриция к отважным и опасным мерам, которые были необходимы для достижения верховной власти. Довольный своим настоящим положением и наученный и летами, и испытанными им превратностями судьбы умеренности, Стефан Колонна был не такой человек, чтобы рисковать головой из-за надежды приобрести трон. Презрение старого патриция к народу и его идолу показало также умному Монреалью, что если в Колонне недостает честолюбия, то он вместе с тем не обладает и политикой, необходимой для власти. Рыцарь, увидев, что его предостережение против Риенцо было напрасно, обратился к самому Риенцо. Ему мало было нужды до того, кто одержит верх, народ или патриции, лишь бы его собственная цель была достигнута. Он изучал нравы народа не для того, чтобы служить ему, а чтобы управлять им, и думая, что все люди руководятся подобным же честолюбием, воображал, что народу всегда одинаково суждено быть жертвой, кто бы ни был его правителем: патриций или плебей; что крик «порядок» с одной стороны, и «свобода» с другой, не более как предлог, которым один человек старается оправдать свое честолюбие, стремящееся к власти над остальными. Считая себя одним из самых честных умов своего века, он не верил ни в какую честь, которой сам неспособен был обладать, и не веря в добродетель, он поэтому глубоко верил в порок.

Но отважность его натуры, может быть, влекла его более к предприимчивому Риенцо, чем к самодовольному Колонне, и Монреаль думал, что для безопасности первого он и его вооруженные люди могут понадобиться более, нежели для безопасности последнего. В настоящую минуту главной целью его было узнать от Риенцо в точности, какой он обладает силой и в какой степени он действительно подготовлен к восстанию.

Проницательный римлянин позаботился о том, чтобы с одной стороны не открывать рыцарю более, нежели уже было ему известно, а с другой – не раздражать его явной скрытностью. Как ни был хитер Монреаль, он не обладал тем удивительным искусством управлять другими, которым в такой высокой степени был одарен красноречивый и серьезный Риенцо. Различие между объемом ума того и другого обнаружилось при их настоящем совещании.

– Я вижу, – сказал Риенцо, – что из всех событий, которые в последнее время улыбаются моему честолюбию, ни одно не может назваться столь благоприятным, как то, которое доставляет мне вашу помощь и дружбу. В самом деле, я имею нужду в каком-нибудь вооруженном союзнике. Поверите ли? Мои друзья, столь смелые на частных сходках, отступают перед открытым восстанием. Они боятся не патрициев, а солдат их; в храбрости итальянцев замечательна черта, что они не боятся друг друга, но перед каской и мечом чужеземного наемника трепещут, как олени.

– В таком случае они радостно примут известие, что эти наемники будут служить им, а не против них. Вы получите этих солдат столько, сколько вам понадобится для революции.

– Но плата и условия? – спросил Риенцо со своей сухой, саркастической улыбкой. – Как мы уладим насчет первой и в чем будут состоять последние?

– Это дело легко устроить, – ответил Монреаль. – Что касается меня, то, скажу откровенно, мне довольно уже одной славы и волнений этой великой революции. Я люблю чувствовать себя необходимым для исполнения важных предприятий. Но люди мои – не таковы. Вашим первым делом будет захватить в свои руки доходы государства. До какой бы суммы они ни простирались, доход первого года, большой или малый, должен быть разделен между нами. Вы берете одну половину, а я с моими людьми – другую.

– Этого много, – сказал Риенцо, как будто подсчитывая, – но для свободы Рима никакая цена не может быть слишком дорогой. Пусть будет так.

– Аминь! Теперь, каковы у вас силы? Потому что этих восьмидесяти или сотни авентинских господ, хотя, без сомнения, они достойные люди, едва ли достаточно для восстания!

Окинув комнату осторожным взглядом, римлянин положил свою ладонь на плечо Монреалья.

– Нам потребуется какое-то время, чтобы все это устроить. Мы не в состоянии подняться ранее, чем через пять недель. Я слишком опрометчиво уже поспешил. Правда, хлеб пожат, но теперь я должен, посредством особых внушений и заклинаний, связать вместе рассеянные снопы.

– Пять недель, – повторил Монреаль, – это гораздо дольше, чем я предполагал.

– Я хотел бы, – продолжал Риенцо, устремив испытующий взгляд на Монреалья, – чтобы в течение этого времени между нами соблюдалось совершенное спокойствие, мы должны устранить всякое подозрение. Я погружусь в свои занятия и не буду более собирать сходки.

– Ну...

– А вас, благородный рыцарь, если позволите, я буду просить посещать нобилей, проповедовать глубочайшее презрение ко мне и к народу и таким образом убаюкивать их опасения. Между тем вы, так же как многие из наемников, на которых вы имеете влияние, можете спокойно удалиться из Рима и оставить нобилей без этих единственных их защитников. Собрав этих смелых воинов в горах на расстоянии дневного пути отсюда, мы можем призвать их в случае нужды, и они появятся у городских ворот во время нашего восстания. Нобили обрадуются им, как избавителям, но на самом деле они будут союзниками народа. Поняв свою ошибку, наши враги в расстройстве и отчаянии оставят город.

– А его доходы и власть сделаются собственностью смелого солдата и интригующего демагога! – вскричал Монреаль со смехом.

– Господин рыцарь, раздел должен быть равный.

– Решено!

– А теперь, благородный Монреаль, фляжку нашего лучшего виноградного сока! – сказал Риенцо, меняя тон.

– Вы знаете провансальцев, – отвечал Монреаль весело.

Вино было подано; разговор сделался свободным и непринужденным, и Монреаль, у которого хитрость была качеством приобретенным, а откровенность – врожденным, бессознательно открыл Риенцо свои тайные планы гораздо в большей степени, нежели сколько был намерен открыть. Они расстались, по-видимому, в самых дружеских отношениях.

– Кстати, – сказал Риенцо за последним стаканом вина, – Стефан Колонна 19 числа едет в Корнето с хлебным обозом. Не ехать ли вам с ними? Вы можете воспользоваться этим благоприятным случаем, чтобы потихоньку возбудить неудовольствие в наемных солдатах, которые будут с ним, и привлечь их на нашу сторону.

– Я думал уже об этом прежде, – отвечал Монреаль, – это будет сделано. А теперь прощайте!

У Орланда только три
Есть сокровища бесценные:
Конь его, булатный меч,
Дама сердца несравненная...

И напевая эту незатейливую песенку, он махнул Риенцо рукой и вышел. Риенцо смотрел на удаляющуюся фигуру своего гостя с выражением ненависти и страха.

– Дай этому человеку власть, – прошептал он, – и он сделается вторым Тотилой[15]. В его жадной и зверской натуре, несмотря на лоск его веселости и рыцарской грации, я вижу олицетворение наших готских врагов. Я уверен, что я убаюкал его! Да, как два солнца не могут светить в одном полушарии, так Вальтер де Монреаль и Кола ди Риенцо не могут жить в одном и том же городе. Астрологи говорят, что мы чувствуем тайную и непреодолимую антипатию к тем, кто влиянием звезд назначен приносить нам зло: такую антипатию я чувствую к этому красивому убийце. Не переходи мне дороги, Монреаль! Не переходи мне дороги!

С этим монологом Риенцо вошел в свою комнату и уже не показывался в эту ночь.

V

ПРОЦЕССИЯ БАРОНОВ. НАЧАЛО КОНЦА

Наступило утро 19 мая; воздух был чист и ясен, только что взошедшее солнце весело сияло на блестящих касках и копьях воинственной процессии вооруженных людей, устремившейся по длинной главной улице Рима. Ржанье коней, топот копыт, блеск доспехов и колыхание знамен, украшенных знаками Колонны, представляли одно из тех веселых и блистательных зрелищ, которыми отличались средние века.

Во главе отряда на статном коне ехал Стефан Колонна. Справа от него ехал провансальский рыцарь, свободно управляя легким, но горячим конем арабской породы; за ним следовали два оруженосца, из которых один вел его боевого коня, а другой держал его копье и шлем. Слева от Колонны ехал Адриан, важный и молчаливый, отвечавший односложными словами на всякую болтовню Монреалья. Значительное число людей, принадлежавших к цвету римских нобилей, следовало за старым бароном. Свита оканчивалась сомкнутым отрядом иностранных всадников в полном вооружении.

На улице не было толпы; граждане, по-видимому, равнодушно смотрели на процессию из своих полузатворенных лавок.

– Разве эти римляне не имеют страсти к зрелищам? – спросил Монреаль. – Если бы их было легче забавлять, то и управлять ими было бы легче.

– О! Риенцо и тому подобные плуты забавляют их. Мы делаем лучше, мы устрашаем! – отвечал Стефан.

– А что поет трубадур, синьор Адриан? – спросил Монреаль.

Ложные улыбки школу довершают
Тех, что лезут в гору, тех, что управляют:
Красоту сбивает с толку их коварство.
Королей морочат, разрушают царства – Ложные улыбки!

Сдвинутые брови беды накликают,
Возмущают храбрых, красоту пугают.
Нанося удары щекотливой чести,
Точат сталь к отпору и кровавой мести – Сдвинутые брови.

– Песня эта французская, синьор, но, мне кажется, ее нравоучение заимствовано из Италии; потому что ложная улыбка – отличительная черта ваших соотечественников, а сдвинутые брови не присущи им.

– Мне кажется, господин рыцарь, – возразил Адриан резко, задетый за живое этой насмешкой, – вы научили нас хмуриться, это иногда бывает добродетелью.

– Но не мудростью, если рука не в состоянии подтвердить то, чем угрожают брови, – отвечал Монреаль надменно. В нем было много французской живости, которая часто брала у него верх над благоразумием; притом он чувствовал тайную досаду на Адриана со времени их последнего свидания во дворце Стефана Колонны.

– Господин рыцарь, – возразил Адриан, покраснев, – наш разговор может довести нас до более горячих слов, нежели какие я желал бы говорить человеку, оказавшему мне такую благородную услугу.

– Ну, так перестанем и обратимся опять к трубадурам, – сказал Монреаль равнодушно. – Извините меня, если я и не высокого мнения об итальянской храбрости. Вашу храбрость я знаю, потому что был свидетелем ее, а храбрость и честь неразлучны; этого, кажется, довольно!

Адриан хотел было ответить, но тут взор его упал на дюжую фигуру Чекко дель Веккио, который, опершись своими смуглыми голыми руками на наковальню, смотрел с улыбкой на шествие. В этой улыбке было нечто такое, что дало мыслям Адриана другое направление; и он не мог на нее смотреть без какого-то безотчетного предчувствия.

– Здоровенный негодяй, – сказал Монреаль, также смотря на кузнеца. – Я хотел бы завербовать его. Любезный! – вскричал он громко, – твоя рука может так же хорошо владеть мечом, как и ковать его. Оставь свою наковальню и иди за Фра Мореале!

Кузнец отрицательно покачал головой.

– Синьор кавалер, – сказал он с важностью, – мы, бедные люди, не имеем страсти к войне; нам нет надобности убивать других, мы хотим только жить сами, если вы нам позволите!

– Собака ворчлива! – сказал старый Колонна.

И когда шествие двинулось вперед, каждый из иностранцев, поощряемый примером своих предводителей, с варварским покушением на южный patois, обратился с какой-нибудь насмешкой или шуткой к ленивому великану, который снова появился в дверях кузницы. Он опять оперся на наковальню и не проявил никаких знаков внимания к обидчикам. Только краска выступила на его смуглом лице. Блестящая процессия таким образом проехала через улицы и оставила «вечный город» за собой.

Последовал долгий промежуток глубокого безмолвия, общего спокойствия во всем Риме: лавки еще не совсем были открыты, никто еще не принимался за свою работу; это было похоже на начало какого-нибудь праздника, когда бездействие предшествует веселью.

Около полудня на улице показалось несколько небольших групп людей, которые перешептывались друг с другом и тотчас расходились. По временам какой-нибудь одинокий прохожий, большей частью в длинной одежде ученого или в темном одеянии монаха, быстрыми шагами шел к церкви св. Марии египетской. Затем улица опять становилась пустой и уединенной. Вдруг послышался звук одинокой трубы. Он становился все громче и громче. Чекко дель Веккио поднял глаза от своей наковальни: одинокий всадник медленно проезжал мимо кузницы, это его труба издавала призывные звуки. И на трубный глас вдруг, как будто по мановению волшебного жезла, появилась толпа: люди выходили из каждого закоулка; улица наполнилась множеством народа, но молчание нарушалось только шумом шагов и тихим говором. Всадник опять затрубил, давая тем знак к молчанию, и потом громко прокричал: «Друзья и римляне! Завтра на рассвете пусть каждый явится, без оружия, к церкви Сант-Анжело. Кола ди Риенцо созывает римлян, чтобы позаботиться о благе доброго римского государства». После окончания этого призыва прогремел клич, который, казалось, поколебал основы семи холмов Рима. Всадник медленно поехал дальше; толпа последовала за ним. Это было начало революции.

VI

ЗАГОВОРЩИК ДЕЛАЕТСЯ САНОВНИКОМ

В полночь, когда другие части города, казалось, замолкли в покое, в окнах церкви Сант-Анжело был виден свет. Долгие, торжественные звуки церковной музыки вырывались оттуда на воздух. Риенцо молился внутри церкви; тридцать месс было отслужено от наступления ночи до утра, и религия со всеми ее обрядами призвана была для освящения дела свободы. Солнце уже давно встало и толпа давно уже собралась перед дверью церкви вдоль всех улиц, ведущих к ней, когда послышался звон церковного колокола. Он умолк, и хор внутри церкви запел гимн, в котором поразительно, хотя и дико, смешивался дух классического патриотизма с горячностью, религиозного усердия.

По окончании гимна дверь отворилась, толпа раздалась на обе стороны и из церкви вышел Риенцо в полном вооружении, за исключением шлема. Перед ним шли трое молодых нобилей низшего разряда, неся знамена с аллегорическими знаками, изображающими торжество свободы, справедливости и согласия. Лицо Риенцо было бледно от бессонницы и напряженного волнения, но серьезно, важно и торжественно. Выражение его не допускало никаких громких и пошлых взрывов чувства, так что у тех, которые его увидели, восклицания замерли на губах, и единодушным криком упрека они оборвали приветствия толпы, стоявшей позади. Рядом с Риенцо шел Раймонд, епископ Орвиетский; за ними по два в ряд следовали сто воинов. Процессия начала свой путь в совершенном молчании; но близ Капитолия благоговение толпы постепенно исчезло; тысячи голосов потрясли воздух криками и восторга, и радости.

Дойдя до ступеней большой лестницы, служившей тогда главным входом на площадь Капитолия, процессия остановилась, и когда толпа наполнила это обширное пространство с фронтона, украшенного многими величественнейшими колоннами древних храмов, Риенцо обратился к черни, которую он вдруг возвысил в степень народа.

Он с силой изобразил бедствие этого народа, совершенное отсутствие закона, недостаток даже обыкновенной безопасности жизни и собственности. Он объявил, что, не боясь опасности, которой подвергается, он посвятил свою жизнь возрождению их общей родины, и торжественно взывал к народу, прося помогать ему в этом предприятии и утвердить и упрочить переворот определенным кодексом законов и конституционным собранием. Потом он приказал герольду прочесть толпе грамоту и очерк предполагаемой конституции. Этот проект заключил в себе образование, или, лучше, восстановление представительного собрания советников. Он объявлял первым законом то, что в наши, более счастливые времена кажется довольно простым, но до тех пор еще никогда не бывало в Риме, именно: всякий

умышленный убийца, к какому бы званию он ни принадлежал, наказывался смертью. Им постановлялось, что никакой отдельный патриций или гражданин не вправе иметь укрепления и гарнизоны в городе или вне его, что ворота и мосты государства будут под надзором того, кто будет выбран главным сановником. Он запрещал давать какое бы то ни было убежище разбойникам, наемным солдатам и грабителям под угрозой взыскания тысячи серебряных марок; и возлагал на баронов, владеющих соседними землями, ответственность за безопасность дорог и транспортов с товарами; устраивалось общественное призрение вдов и сирот; учреждалась в каждом квартале города вооруженная милиция, которая всякий час должна быть готова собраться для защиты государства по звуку колокола в Капитолии. Он повелевал, чтобы в каждой гавани морского берега стояло судно для безопасности торговли. Он определял сумму в сто флоринов наследникам каждого, кто умер, защищая Рим. Он назначал общественные доходы на удовлетворение нужды и на защиту государства.

Таков был проект новой конституции, и читатель может быть призадумается над тем, каковы были беспорядки в городе, если обыкновенные элементарные условия цивилизации и безопасности составляли главный характер предлагаемого кодекса.

Самые восторженные крики последовали за изложением этого очерка нового государственного устройства, и среди всеобщего шума возвышалась огромная фигура Чекко дель Веккио. Несмотря на свое звание, он среди настоящего кризиса был важным лицом; его усердие и мужество, и, может быть, еще более – его грубая пылкость и упорство убеждений принесли ему популярность. Низший класс ремесленников смотрел на него как на свою главу и представителя; он заговорил громко, смело и хорошо, потому что его ум был полон того, что он хотел сказать.

– Земляки и граждане! Новая конституция встречена вашим одобрением – так и следовало. Но что значат хорошие законы, если мы не имеем хороших исполнителей их? Кто может исполнять закон так хорошо, как тот, кто написал его? Если бы вы спросили у меня объяснения как сделать хороший щит и мое объяснение вам бы понравилось, то кого бы вы попросили сделать щит: меня или другого кузнеца? Если вы попросите другого, то он может сделать хороший щит, но этот щит не будет совершенно такой, какой бы сделал я и описание которого вам понравилось. Кола ди Риенцо предложил кодекс законов, который будет нашим щитом. Кто будет наблюдать, чтобы щит был тем, чем ему назначено быть, если не Кола ди Риенцо? Римляне! По моему мнению, народ должен предоставить Коле ди Риенцо, под каким бы то ни было названием, по его усмотрению, власть привести новую конституцию

в действие; и какие бы средства он для этого ни употреблял, мы, народ, подчинимся им беспрекословно.

– Многие лета Риенцо! Многие лета Чекко дель Веккио! Он говорит правду! Никто, кроме законодателя, не будет правителем!

Таковы были восклицания, которые радовали честолюбивое сердце ученого. Голос народа облакал его верховной властью. Он создал республику, чтобы сделаться, если пожелает, деспотом!

VI

ОТЫСКИВАНИЕ НЕДОУЗДКА, КОГДА КОБЫЛА УКРАДЕНА

Между тем как в Риме происходили эти события, один из слуг Стефана Колонны был уже на пути к Корнето. Легко можно вообразить удивление, с которым старый барон принял сообщенную ему весть. Не теряя ни минуты, созвал он свой отряд и среди суматохи отъезда к нему вдруг вошел рыцарь св. Иоанна. Лицо его потеряло свой обычный приветливый вид.

– Каково? – сказал он торопливо. – Бунт? Риенцо – властитель Рима? Можно ли верить этой новости?

– Это слишком достоверно! – сказал Колонна с горькой улыбкой. – Где мы повесим его, когда вернемся в Рим?

– Не говорите пустяков, синьор барон, – сказал Монреаль резко, – Риенцо сильнее, чем вы думаете. Я знаю людей, тогда как вы знаете только нобилей! Где ваш племянник?

– Он здесь, благородный Монреаль, – отвечал Стефан, пожимая плечами и полупрезрительно улыбаясь его выговору, стерпеть который он нашел более благоразумным, – он здесь! Вон он идет.

– Слыхали вы новости? – вскричал Монреаль.

– Слышал.

– И презираете революцию?

– Я боюсь ее.

– Значит, в вас есть здравый смысл. Но это несколько меня не касается: я не буду мешать вашим совещаниям. Прощайте на этот раз!

И прежде нежели Стефан мог удержать его, рыцарь вышел из комнаты.

– Что замышляет этот демагог? – ворчал Монреаль про себя. – Не хочет ли он провести меня? Не для того ли он избавился от моего присутствия, чтобы одному воспользоваться всеми выгодами предприятия? Боюсь, что так! О, хитрый римлянин! Мы, северные воины, не можем состязаться с их умом,

только их трусость нам под силу. Но что теперь делать? Я уже просил Родольфа поговорить с разбойниками, и они почти готовы оставить своего теперешнего господина. Хорошо, пусть будет так! Лучше мне сперва уничтожить силу баронов и тогда предложить свои условия с мечом в руке плебею. А если мне это не удастся, – милая Аделина! Я опять увижу тебя! Это – некоторое утешение! А Людовик венгерский будет сильно нуждаться в руке и голове Вальтера де Монреаль. Эй! Родольф! – вскричал он громко, увидав дюжую фигуру кавалериста, полувооруженного и полупьяного, который шел, шатаясь, по двору. – Бездельник! Ты уже пьян?

– Пьян или трезв, – отвечал Родольф, низко поклонясь, – я готов исполнять твои приказания.

– Хорошо сказано! Твои друзья готовы сесть на лошадей?

– Восемьдесят из них, которым уже надоели бездействие и душный римский воздух, готовы лететь, куда прикажет синьор Вальтер де Монреаль.

– Так поторопись, вели им садиться на лошадей, мы едем отсюда не с Колоннами, а пока они еще разговаривают. Пусть щитоносцы следуют за мной!

Стефан Колонна, уже садясь на коня, узнал, что провансальский рыцарь, кавалерист Родольф и восемьдесят наемников уехали, куда – неизвестно.

– Чтобы прежде нас быть в Риме! Благородный варвар! – сказал Колонна.
– Господа, едем!

VIII

НАПАДЕНИЕ, ОТСТУПЛЕНИЕ. ВЫБОРЫ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ АДРИАНА

Подъехав к Риму, компания Колонны нашла ворота запертыми; на стенах сидели люди. Стефан приказал подъехать трубачам с одним из его капитанов и повелительно требовать пропуска.

– Мы имеем приказание, – отвечал начальник городской стражи, – не пропускать никого, кто имеет при себе оружие, знамена или трубы. Пусть синьоры Колонны отпустят свою свиту, и тогда добро пожаловать.

– Кто дал эти дерзкие приказания? – спросил капитан.

– Монсиньор епископ Орвиетский и Кола ди Риенцо, покровители *Вуопо Стато* (доброе государство).

Капитан Колонны возвратился с этим ответом к своему вождю. Бешенство Стефана было неопишимо. «Поезжай назад, – вскричал он, – и скажи, что

если ворота сейчас же не будут отворены для меня и для моей свиты, то кровь плебеев падет на их собственную голову. Что касается Раймонда, то папские викарии имеют большую духовную власть, но никакой светской. Пусть он предпишет пост и ему будет оказано повиновение. Относительно этого сумасброда Риенцо скажи, что Стефан Колонна придет завтра к нему в Капитолий, чтобы выбросить его оттуда из самого высокого окна».

Эти поручения капитан не преминул исполнить.

Капитан римлян дал не менее строгий ответ.

– Объявите своему господину, – сказал он, – что Рим считает его и его свиту изменниками и бунтовщиками, и что как только вы доедете до своего отряда, наши стрелки получают приказание натянуть свои луки во имя папы, города и его освободителя.

Эта угроза была буквально исполнена; и прежде чем Стефан успел выстроить своих людей в боевой порядок, ворота растворились и оттуда двинулась хорошо вооруженная, хотя и недисциплинированная толпа с дикими криками, гремя оружием и неся голубые знамена римского государства. Их нападение было так стремительно, а число так велико, что бароны после короткой и беспорядочной стычки были оттеснены и прогнаны своими преследователями более чем на милю расстояния от стен города.

Как только бароны оправились от беспорядка и ужаса, то они наскоро собрали совет, на котором были громко высказаны различные мнения, противоречащие одно другому. Одни предлагали тотчас же отправиться в Палестрину, которая принадлежала Колонне и обладала почти неприступной крепостью. По мнению других, следовало разделиться и мирно войти в город отдельными группами через другие ворота. Стефан Колонна, лишась обычного самообладания вследствие расстройств и раздражения, был неспособен сохранить свою власть. Лука ди Савелли, человек боязливый, хотя коварный и хитрый, уже повернул свою лошадь и звал своих людей за собой в свой замок, находившийся в Романье, но старый Колонна постарался удержать своих от разъединения, которое, как говорил ему здравый смысл, могло быть губительно для общего дела. Он предложил тотчас же отправиться в Палестрину и укрепиться там, а между тем выбрать одного из вождей, который один отправится в Рим и, притворяясь покорным, разведает о силах Риенцо. Посланному предоставить право действовать по усмотрению, т. е. или действовать против нового порядка, если это возможно, или же заключить наилучшие условия относительно пропуска остальных в город.

– А кто, – спросил Савелли, оскалив зубы, – решится принять на себя это опасное дело? Кто один и без оружия станет подвергать себя ярости самой зверской черни Италии и капризу демагога в первом пылу его власти?

Барон и капитаны молча смотрели друг на друга. Савелли захохотал.

До сих пор Адриан вовсе не принимал участия в совещании и очень мало в предыдущей схватке. Теперь он явился на помощь к своему родственнику.

– Синьоры! – сказал он. – Я принимаю это посольство, но только сам по себе, независимо от вас. Я сохраняю себе свободу действовать, как найду лучшим для достоинства римского нобиля и для интересов римского гражданина; свободу поднять собственное знамя на своей башне или присягнуть в верности новому порядку вещей.

– Хорошо сказано! – вскричал старый Колонна поспешно. – Боже избави, чтобы мы вошли в Рим как враги! Позволят ли еще нам войти туда в качестве друзей! Что вы скажете, господа?

– Никто лучше синьора Адриана не выполнит этого поручения, – сказал Савелли, – но я не думал, чтобы Колонна надеялся на возможность выбора между сопротивлением и присягой новоиспеченной революции.

– Об этом, синьор, я буду судить самостоятельно. Если вам нужен агент для вас самих, то выбирайте кого-нибудь другого. Объявляю вам откровенно: я видел довольно много государств и потому понимаю, что состояние Рима требовало некоторых улучшений. А достойны ли Риенцо и Раймонд дела, которое они на себя взяли, не знаю.

Савелли молчал. Старый Колонна заговорил опять.

– Так в Палестрину! Все ли согласны на это? Худо или хорошо – по крайней мере мы не будем разъединены. Только с этим условием я рискую безопасностью моего родственника.

Бароны долго перешептывались между собой, но благоразумие предложения Стефана было очевидно, и они наконец согласились.

Адриан дождался их отъезда и тогда, в сопровождении только одного оруженосца, медленно поехал к более отдаленным воротам города. Там спросили его имя и свободно пропустили.

– Въезжайте, синьор, – сказал караульный. – Нам велено впускать только тех, которые не имеют при себе оружия и свиты; но для одного синьора Адриана ди Кастелло мы имеем особый приказ отдавать ему все почести, приличные гражданину и другу.

Адриан, несколько тронутый этим напоминанием о дружбе, поехал через длинный строй вооруженных граждан, которые почтительно ему кланялись. Он вежливо отвечал на поклоны при громком одобрительном крике, который его сопровождал.

Таким образом, молодой патриций, в сопровождении только одного слуги, спокойно и свободно ехал по длинным улицам. Они были пусты, потому что около половины жителей собрано было на стенах и около половины их

занято было более мирными делами. Наконец Адриан приехал во внутренность города к обширной и возвышенной площади Капитолия. Солнце медленно садилось над огромной толпой, покрывавшей это место; и высоко над помостом, поставленным в центре, сияло в лучах заката большое римское знамя, усеянное серебряными звездами.

Адриан остановил коня. «Теперь, – думал он, – едва ли удобно говорить с Риенцо так публично; но мне бы очень хотелось, замешавшись в толпу, наблюдать, как тверда его власть и как он ею пользуется». Подумав немного, он удалился в одну из более темных улиц, совершенно пустых; отдал свою лошадь щитоносцу и, заняв у него шишак и длинный плащ, пошел к одному из боковых входов в Капитолий. Там, завернувшись в плащ, он стоял в толпе, внимательно наблюдая за тем, что происходило.

– Что, – спросил он у одного скромно одетого гражданина, – было причиной этого собрания?

– Разве вы не слышали прокламаций? – отвечал тот с некоторым удивлением. – Разве вы не знаете, что городской совет и цехи ремесленников подали голос предложить Риенцо титул римского короля?

Рыцарь императора со страхом отступил назад.

– И, – продолжал гражданин, – это собрание из всех мелких баронов, советников и ремесленников созвано, чтобы выслушать ответ.

– Конечно, он будет состоять в объявлении согласия?

– Не знаю, ходят странные слухи; но до сих пор освободитель скрывал свои намерения.

В эту минуту гром военной музыки возвестил приближение Риенцо. Толпа поспешно разделилась и вслед за тем от Капитолийского дворца к помосту пошел Риенцо в полном вооружении, исключая шлем, и с ним во всем великолепии епископской одежды Раймонд Орвиетский.

Никакими словами нельзя изобразить энтузиазм сцены, когда Риенци взошел на платформу и таким образом представился глазам всего соборища. Это были крики, жесты, слезы, рыдания, дикий смех, в которых высказалась симпатия живых и восприимчивых детей юга. Окна и балконы дворца были наполнены женами и детьми меньших патрициев и наиболее богатых граждан. Адриан слегка вздрогнул, увидав между ними бледное, взволнованное, плачущее милое лицо Ирены, которое и теперь затмило бы все остальные, за исключением одного, бывшего с ней рядом, которому волнения настоящей минуты придали еще более красоты. Темные, большие и сверкающие глаза Нины ди Разелли, только что орошенные слезами, гордо были устремлены на героя ее выбора: гордость, даже более чем радость, дала

великолепный румянец щекам и царственный вид ее благородной и округленной фигуре. Заходящее солнце обдавало полным своим блеском всю картину: эти обнаженные головы, одушевленные лица толпы, серую огромную массу Капитолия, а недалеко от Риенцо оно как-то странно и поразительно сияло на изваянии колоссального Базальтового льва[16], который дал свое имя лестнице, ведущей к Капитолию. Это был старый египетский памятник, огромный, потертый и угрюмый, – какой-нибудь символ исчезнувшей религии, лицу которого скульптор сообщил нечто человеческое. Такая фантазия художника, производя желаемое, вероятно, действие, давала во все времена мистическое, сверхъестественное и страшное выражение строгим чертам и тому торжественному и безмолвному покою, который составляет особенную тайну египетской скульптуры. Благоговейный ужас, на который рассчитывал художник в этом колоссальном и суровом изображении; еще глубже чувствовался чернью, потому что «Лестница льва» была обычным местом торжественных казней, так же как и торжественных церемоний. И редко даже самый смелый гражданин забывал перекреститься, редко не чувствовал какого-то страха, когда, проходя мимо этого места, он внезапно встречал глазами устремленный на него каменный взор и зловещую усмешку этого древнего чудовища с берегов Нила.

Прошло несколько минут, прежде чем чувства собрания позволили Риенцо говорить. Но когда наконец весь этот шум заключился единодушным криком «многие лета Риенцо, освободителю и королю Рима!», он нетерпеливо поднял руку, и любопытная толпа вдруг замолчала.

– Освободитель Рима, сограждане! – сказал он. – Да! Не изменяйте этого титула – я слишком честолюбив для того, чтобы быть королем! Сохраните повиновение вашему первосвященнику, подданство императору, но будьте верны вашей собственной свободе! Вы имеете право на ваше древнее государственное устройство, но это устройство не имеет нужды в короле. Добиваясь имени Брута, я выше титулов Тарквиния! Римляне, проснитесь! Проснитесь! Пусть вдохновит вас более благородная любовь к свободе, чем та, которая ниспровергала сегодняшнего тирана, безумно рискуя подвергнуться тирании завтра! Рим имеет нужду в избавителе, но никогда в узурпаторе! Оставьте эти пустые мысли!

Последовала пауза; толпа была глубоко тронута – и, безмолвная, она с беспокойством ждала ответа своих советников или народных предводителей.

– Синьор, – сказал Пандульфо ди Гвидо, который принадлежал к числу капорионов, – ваш ответ достоин вашей славы. Но чтобы дать силу закону,

Рим должен облечь вас законным титулом. Если вы не желаете титула короля, до удостоите принять звание диктатора или консула.

– Многие лета консулу Риенцо! – вскричало множество голосов.

Риенцо махнул рукой, чтоб замолчали.

– Пандульфо ди Гвидо и вы, почтенные советники Рима! Этот титул и слишком высок для моих заслуг, и слишком неприложим к моим обязанностям. Я принадлежу к народу; о народе я должен заботиться; нобили могут защищать сами себя. Диктатор и консул – это звания патрициев. Нет, – продолжал он после короткой паузы, – если вы, для сохранения порядка, считаете необходимым облечь вашего согражданина формальным титулом и признанной властью, – я согласен. Но пусть этот титул будет таков, чтобы он показывал свойство наших новых учреждений, мудрость народа и умеренность его вождей. Некогда, сограждане, народ выбирал защитниками своих прав и хранителями своей свободы особых должностных лиц, ответственных перед народом, избирал из народа и для народа. Их власть была велика; но это была власть уполномоченного, это был сан и вместе доверенность. Они назывались трибунами. Этот титул давался полным народным собранием, и трибун управлял вместе с собранием. Такой титул я приму с благодарностью[17].

Речь Риенцо произвела еще большее впечатление тоном задушевной и глубокой искренности, и некоторые из римлян, несмотря на свою испорченность, почувствовали минутный восторг от умеренности своего вождя. «Многие лета трибуну Рима!» – послышалось в толпе, но этот крик не был так громок, как крик «Да здравствует король!», и чернь почти чувствовала революцию неполной, потому что самое высокое звание в государстве не было принято. Для народа павшего и огрубелого свобода представляется слишком простой вещью, если она не украшена пышностью того самого деспотизма, который эти люди хотели низвергнуть. Они желают более мести, чем освобождения, и чем выше новая власть, которую они создают, тем сильнее, по мнению их, мщение против старой. Однако же все наиболее уважаемые, умные и влиятельные лица в собрании были восхищены умеренностью, которая должна была освободить Рим от тысячи опасностей со стороны императора и первосвященника. Радость их еще увеличилась, когда Риенцо по восстановлению тишины добавил: «Так как мы одинаково трудились для одного и того же дела, то все почести, присуждаемые мне, должны быть распространены и на папского викария, епископа орвиетского. Помните, что власть церковная и власть

государственная могут венчаться достойными правителями народа только потому, что они его благодетели. Многие лета первому викарию папы, который был также освободителем государства!»

Одним ли патриотизмом руководился Риенцо в своей умеренности, или нет, но верно то, что его прозорливость по крайней мере равнялась его добродетели. Может быть, ничто не могло скрепить революцию более прочной связью, как назначение в товарищи Риенцо наместника и представителя папы. Через эту умеренность, которая устраняла монополию власти, приобреталось утверждение самого первосвященника, который таким образом принимал участие в ответственности за революцию.

Между тем как толпа приветствовала предложение Риенцо; между тем как ее крики наполняли воздух; между тем как Раймонд, захваченный несколько врасплох, старался знаками и жестами выразить благодарность и смирение, избранный трибун, бросив взгляд кругом, заметил многих людей, которые были привлечены любопытством и которых, по их знатности и влиянию, желательно было бы привлечь на свою сторону в первом пылу народного энтузиазма. Поэтому, едва Раймонд кончил свою короткую и кудреватую речь, в которой пылкое принятие предложенной ему чести находилось в смешном контрасте с чувством своего неловкого положения и желанием не вовлекать себя или папу в какие-либо неприятные последствия, Риенцо дал знак двум герольдам, стоявшим сзади на платформе, и один из них, подойдя, провозгласил: «Так как желательно, чтобы все бывшие до сих пор нейтральными объявили себя друзьями или врагами, то они приглашаются принять присягу в повиновении законам и записаться в число граждан доброго государства».

Народная горячность была так велика, а речи Риенцо дали ей такой изящный и глубокий тон, что далее самые равнодушные воспламенились и никому не хотелось отставать от других. Таким образом, наиболее нейтральные, зная, что они заметнее всех, скорее всех прочих были вовлечены в подданство новому государству. Первый подошел к платформе и принял присягу синьор ди Разелли, отец Нины. Другие, менее значительные, последовали его примеру.

Присутствие папского викария убеждало аристократов, страх народа побеждал себялюбивых; одобрительные крики и поздравления подстрекали тщеславных. Пространство между Адрианом и Риенцо очистилось. Молодой патриций вдруг почувствовал, что на него устремлены глаза трибуна, что они узнали его и зовут его; он покраснел – у него захватило дух. Благородная умеренность Риенцо тронула его до глубины души, одобрительные крики, великолепие, энтузиазм сцены упоили и смутили его. Он поднял глаза и

увидел сестру трибуна, предмет его любви! Его нерешимость и медлительность еще продолжались, когда Раймонд, заметив его и повинувшись шепоту Риенцо, громко вскричал: «Место для синьора Адриана ди Кастелло! Колонна! Колонна!» Отступление было отрезано. Машинально, как будто во сне, Адриан взошел на платформу и для довершения торжества трибуна, при последних лучах солнца, цвет дома Колоннов, лучший и храбрейший из баронов Рима, признал его власть и подписался под его законами.

Книга III СВОБОДА БЕЗ ЗАКОНА

I

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАЛЬТЕРА ДЕ МОНРЕАЛЯ В СВОЮ КРЕПОСТЬ

Оставив Корнето, Вальтер де Монреаль и его воины поспешили в Рим. Прибыв туда задолго до баронов, они встретили такой же прием, как и те, но Монреаль благоразумно запретил всякие нападения и угрозы и довольствовался тем, что послал верного Родольфа в город к Риенцо просить позволения войти туда с войском. Родольф возвратился раньше, нежели Монреаль ожидал.

– Ну, – сказал он нетерпеливо, – ты добился пропуска, конечно. Мы должны приказать им отворить нам ворота?

– Прикажете им открыть нам могилы, – возразил саксонец грубо. – Я надеюсь, что следующее посольство мое будет к более дружественному двору.

– Как! Что это значит?

– Вот что: я нашел нового губернатора или – ну, да все равно, какой бы ни имел он титул – во дворце Капитолия. Он был окружен телохранителями и советниками. На нем были прекраснейшие латы, какие когда-либо я видел, разве в Милане.

– К черту его латы! Говори мне его ответ.

– Вот он, если вам угодно знать: скажи Вальтеру Монреально, что Рим перестал быть вертепом разбойников; скажи ему, что если он войдет, то должен подвергнуться суду.

– Суду! – вскричал Монреаль, заскрежетав зубами.

– За участие в злодеяниях Вернера и его разбойников!

– Га!

– Скажи ему еще, что Рим объявляет войну всем разбойникам в лагерях и в замках и что мы приказываем ему в течение сорока восьми часов оставить церковные земли!

– Так он вздумал не только обмануть меня, но и грозить! Ну, продолжай.

– Таков был ответ его вам; а мне он сделал еще более категоричное предостережение! Слушай, друг мой! – сказал он. – Для всякого немецкого бандита, который будет найден в Риме послезавтра, привет наш будет – веревка и виселица! Ступай!

– Довольно, довольно! – вскричал Монреаль, покраснев от бешенства и стыда. – Родольф, твой глаз верен в этих вещах; скажи, сколько потребуются норманнов, чтобы вздернуть на виселицу самого выскочку?

Родольф почесал свою огромную голову и, казалось, на некоторое время углубился в вычисления; наконец он отвечал:

– Вам лучше всего можно это сообразить, если я скажу, что вся их сила состоит по меньшей мере из двадцати тысяч римлян; это я слышал мимоходом, а нынешним вечером он должен принять корону, вместо императора.

– Ха, ха, ха! – захохотал Монреаль. – Он с ума сошел? Ну, тогда ему нет нужды в нашей помощи, чтобы быть повешенным. Друзья мои, подождем результата. Теперь ни бароны, ни народ, кажется, не наполнят нашей казны. Проедем в Террачину. Благодарение святым! – и Монреаль (который был не лишен какой-то странной, особого рода набожности) благоговейно перекрестился. – И благодарение святым – подобные нам люди никогда не бывают долго без квартир.

– Ура рыцарю св. Иоанна! – вскричали наемники.

– Ура прекрасной Франции и смелой Германии! – прибавил рыцарь, подымая руку вверх и вонзая шпоры в бока уже утомленной лошади.

И запев свою любимую песню:

У Орланда только три
Есть сокровища бесценные:
Конь его, булатный меч,
Дама сердца несравненная!

Монреаль со своей ватагой красиво помчался через пустынную Кампанью.

Однако же рыцарь скоро впал в глубокую и пасмурную задумчивость. Его приверженцы поддержали молчание своего вождя, и через несколько минут стук их оружия и звон шпор были единственными звуками, нарушавшими тишину обширных и печальных равнин, через которые они ехали к Террачине.

При наступлении ночи всадники остановились у Понтинских болот. Они овладели без всякой совестливости несколькими хижинами и сараями, из которых выгнали бедных хозяев, и с такой же бесцеремонностью закололи свиней, скотину и кур соседней фермы. Скоро после восхода солнца они стали переправляться через ужасные болота, которые частью уже были высушены Бонифацием VIII. Монреаль, освеженный сном, смирившись со своей последней неудачной надеждой на выгоды в предстоящей войне с Неаполем и радуясь близости дома, где жила та, которая одна разделяла сердце его с честолюбием, опять оживился всей веселостью, которой он был обязан своему галльскому происхождению и беспечности своего характера. И на этой мертвой, но освященной историческими воспоминаниями дороге, где еще можно видеть труды Августа, устроившего канал, бывший свидетелем путешествия, так юмористически описанного Горацием, раздавались громкий смех и отрывки дикой песни, которыми северные разбойники развлекались в своем быстром путешествии.

Слева подымались крутые и высокие утесы, покрытые роскошной зеленью и бесчисленным множеством цветов, между тем как справа море, тихое как озеро, и голубое, как небо, мелодично шумело у ног их. Монреаль, в обширной степени обладавший поэтическими наклонностями своей страны, которые так связаны с любовью к природе, в другое время радовался бы красоте этой сцены, но в настоящую минуту внешние предметы занимали его гораздо менее, нежели картины домашней жизни.

Взбираясь на крутой подъем, где извивающаяся тропинка представляла трудную и неудобную дорогу для лошадей, шайка доехала до укрепленной крепости из серого камня, башни которой скрывались за высокими деревьями, пока наконец не глянули угрюмо и внезапно из-за веселой зелени. Звук рога, знак рыцаря и пароль вызвали громкие крики приветствия со стороны двадцати или более солдат на стенах. Решетка была поднята, и Монреаль, соскочив со своего измученного коня, перепрыгнул через порог выдающегося портика и пошел по огромной зале, где молодая и прекрасная женщина, богато одетая, также быстро побежала к нему навстречу и, задыхаясь от радости, бросилась в его объятия.

– Мой Вальтер! Мой милый, дорогой Вальтер! Привет тебе, десять тысяч приветов!

– Аделина, моя красавица, мое божество, я опять тебя вижу!

Таковы были взаимные приветствия, когда Монреаль прижимал эту женщину к своему сердцу, снимая слезы ее поцелуями, поворачивая ее лицо к своему и глядя на его нежную красоту со всем внимательным беспокойством любви после продолжительного отсутствия.

– Прекраснейшая, – сказал он нежно, – ты изныла, ты похудела и побледнела с тех пор, как мы расстались. Ты слишком нежна или слишком безумна для того, чтобы любить солдата.

– Ах, Вальтер! – отвечала Аделина, припадая к нему. – Ты теперь вернулся, и я поправлюсь. Ты долго-долго не оставишь меня?

– Да, m'anie. – Он охватил ее талию рукой, и любовники – увы! они не были обвенчаны! – удалились в более уединенные комнаты замка.

II

ЖИЗНЬ ЛЮБВИ И ВОЙНЫ. ПОСЛАННИК МИРА. ТУРНИР

Будучи в совершенной безопасности в своем феодальном укреплении, очарованный красотой земли, неба и моря вокруг и страстно любя Аделину, Монреаль на некоторое время забыл все свои беспокойные планы и суровые занятия. Его натура была способна к сильной нежности, как же как и к сильной жестокости, и сердце его обливалось кровью, когда он смотрел на прекрасное лицо своей милой и видел, что даже его присутствие; не могло вернуть ему прежнюю улыбку и свежесть. Часто он проклинал роковой обет своего рыцарского ордена, запрещавший ему жениться даже на женщине, равной ему по происхождению; и угрызения совести отравляли его счастливейшие минуты.

Однажды, когда Монреаль с небольшой свитой проезжал мимо стен Террачины, ворота вдруг отворились и оттуда вышла многочисленная толпа. Впереди шла странная фигура, за которой народ следовал с обнаженными головами и громкими благословениями. Процессия оканчивалась толпой монахов; они пели гимн в честь незнакомца, называя его посланником мира. Этот незнакомец был молодой безбородый человек, одетый в белую одежду, вышитую серебром; он был безоружен и бос и держал в руке высокий серебряный жезл. Монреаль и его свита в удивлении остановились. Затем рыцарь, пришпорив коня. Подъехал к незнакомцу.

– Что это, друг, – сказал провансалец, – ты принадлежишь к какому-нибудь новому ордену пилигримов или же какой-нибудь особенной святостью приобрел эти почести?

– Назад, назад! – вскричали некоторые более смелые из толпы. – Разбойники не должны останавливать посланника мира.

Монреаль презрительно махнул рукой.

– Я не с вами говорю, добрые люди, а достойные иноки в своем уединении знают очень хорошо, что я никогда не обижал вестников и паломников.

Монахи, перестав петь гимн, поспешно подошли к нему. Набожность Монреалья побуждала его искать расположение всех монастырей в соседстве с его переменчивым жилищем.

– Мой сын, – сказал старший из монахов, – это странное и священное зрелище; и когда ты узнаешь все, то дашь этому посланнику грамоту для ограждения его от безрассудной храбрости твоих друзей вместо того, чтобы преграждать ему дорогу мира.

– Вы еще более запутываете мой Наивный ум, – сказал Монреаль с нетерпением, – пусть молодой человек говорит сам за себя. Я вижу на его плаще римский герб, соединенный с другими гербами, которые для меня составляют тайну, хотя я достаточно знаком с геральдикой, как прилично благородному человеку и рыцарю.

– Синьор, – сказал молодой человек с важностью, – я – посланник Колы ди Риенцо, римского трибуна. Мне поручено доставить письма многим баронам и владетелям на пути между Римом и Неаполем. Гербы на моем плаще – герб папы, герб города и герб трибуна.

– Гм... у тебя, должно быть, смелые нервы, если ты путешествуешь через Кампанью без всякого оружия, кроме этой серебряной палки.

– Ты ошибаешься, господин рыцарь, – отвечал юноша смело, – ты судишь о настоящем по прошлому. Знай, что в Кампанье нет ни одного разбойника, что оружие трибуна сделало все дороги вокруг города столько же безопасными, как самые большие улицы внутри его.

– Ты рассказываешь мне чудеса.

– Через леса, через крепости, через самые дикие пустыни и населеннейшие города мои товарищи невредимо пронесли этот серебряный жезл; всюду, где мы проходим, тысячи приветствуют нас и со слезами радости благословляют посланных того, кто изгнал разбойника из его вертепа, тирана из его замка и дал безопасность купцу и крестьянину.

– Pardieu, – сказал Монреаль с суровой улыбкой, – я должен быть благодарным за предпочтение, оказанное мне: я еще не получал приказаний и

не испытал мщения трибуна, хотя, кажется, мой скромный замок находится в самой середине наследия св. Петра.

– Извините меня, синьор кавалер, – отвечал юноша, – но не вы ли знаменитый рыцарь св. Иоанна, воин креста и предводитель бандитов?

– Мальчик, ты смел; я Вальтер де Монреаль.

– Значит, господин рыцарь, я послан в ваш замок.

– Подумай сперва о том, как войти туда, иначе тебе придется слишком скоро оттуда выбраться. Как, друзья? – прибавил он, видя, что при этих словах толпа теснее сжалась вокруг вестника. – Неужели вы думаете, что имеющий товарищей между королями, буду искать жертвы в безоружном мальчике? Фи! Дайте дорогу, дайте дорогу. Молодой человек, идите за мной в мой замок; там вы в такой же безопасности, как в объятиях матери.

Говоря это, Монреаль с большим достоинством и важностью медленно поехал к замку. Солдаты в удивлении ехали несколько поодаль, а вестник шел с толпой, которая не хотела вернуться назад. Энтузиазм этих людей был так велик, что они дошли до самых ворот страшного замка и решились ждать до тех пор, пока возвращение молодого человека не подтвердит их безопасность.

Монреаль, который, при всей своей незаконности в других местах, строго соблюдал права самого последнего крестьянина в своем ближайшем соседстве, или скорее притворялся расположенным к бедным, пригласил толпу войти на двор, велел слугам дать ей выпить и закусить, угостил монахов в большой зале и отправился в небольшую комнату, где и принял посланника.

– Вот это лучше всего объяснит, в чем состоит мое поручение, – сказал молодой человек, подавая Монреалу письмо.

Рыцарь перерезал кинжалом шелк и прочел послание с большим спокойствием.

– Ваш трибун, – сказал он, окончив чтение, – очень скоро выучился лаконическому стилю власти. Он приказывает мне сдать замок и оставить папскую территорию в течение десяти дней. Он категоричен, а мне нужно время подумать о предложении. Садитесь, прошу вас, молодой человек. Извините меня, но я воображал, что у вашего господина и без того довольно дел с его римскими баронами и что он мог бы быть немного снисходительнее к его иностранным гостям. Что Стефан Колонна?

– Возвратился в Рим и принял присягу подданства; Савелли, Орсини и Франджипани все подписались в своей покорности «доброму государству».

– Как! – вскричал Монреаль с изумлением.

– Они не только вернулись в Рим, но и согласились распустить всех своих наемных солдат и скрыть все свои укрепления. Железо дворца Орсини употреблено на укрепление Капитолия, а каменные сооружения Колоннов и Савелли прибавили новые бойницы к воротам церковей Латеранской и св. Лаврентия.

– Необыкновенный человек! – сказал Монреаль, нехотя поддаваясь чувству почтительного удивления. – Какими средствами он сделал все это?

– Строгими приказаниями и твердой силой, на которую он опирается. По первому звуку большого колокола собирается двадцать тысяч вооруженных римлян. Что значат против этой армии разбойники какого-нибудь Орсини или Колонны? Господин рыцарь, ваша храбрость и ваша слава заставляют даже Рим удивляться вам, и я, римлянин, прошу вас остерегаться.

– Благодарю. Твои новости, друг мой, захватывают у меня дыхание. Так бароны покорились?

– Да; в первый же день один из Колоннов, синьор Адриан, принял присягу; через неделю Стефан, которого уверили в безопасности, оставил Палестрину вместе с Савелли; затем явились Орсини – даже Мартино ди Порто безмолвно покорился.

– Трибун – так его называют? Но, кажется, его хотели сделать королем?

– Ему предлагали это, но он отказался. Его настоящий титул, в котором нет притязаний на патрицейские почести, много способствовал к тому, чтобы примирить нобилей с новым порядком вещей.

– Благоразумный плут! Виноват – мудрый властитель! Значит, трибун один господствует над великими именами Рима?

– Извините, правосудие его беспристрастно, оно равно для всех, для крестьянина и для патриция; но трибун сохраняет для нобилей все их справедливые привилегии и законный ранг.

– А! И эти тщеславные куклы, сохраняя вид, почти забывают о сущности; понимаю. Но это говорит об уме трибуна. Он неженат, кажется? Не ищет ли он жены между Колоннами?

– Трибун женился – через три дня после того как достигнул власти – на дочери барона ди Разелли.

– Разелли! Не знатное имя; он мог бы сделать лучший выбор.

– Но говорят, – продолжал молодой человек, улыбаясь, – что трибун скоро вступит в родственные связи с Колонной посредством своей прекрасной сестры, синьоры Ирены. К ней сватается барон ди Кастелло.

– Как, Адриан Колонна! Довольно! Вы убедили меня в том, что человек, который удовлетворяет желания народа и вместе внушает страх нобилям или примиряет их – рожден для власти. Ответ на это письмо я пошлю сам. За

ваши вести, господин посол, примите вот этот камень. – И рыцарь снял со своего пальца довольно дорогой перстень. – Полно, не бойтесь, это мне дали в подарок, как я даю вам!

Посол был приятно изумлен обращением знаменитого разбойника, который тоже немало удивился непринужденности и фамильярности, с какой молодой человек рассказывал ему, Фра Монреалью, в собственной его крепости, римские новости. Юноша низко поклонился и принял подарок.

Хитрый провансалец, заметивший произведенное им впечатление, видел также, что полезно было бы отложить на время меры, которые он счел было нужным принять.

– Если ты возвратишься в Рим прежде, чем дойдет туда мое письмо, – сказал он, отпуская посла, – то уверь трибуна, что я удивляюсь его гению, приветствую его власть и подумаю о его требовании, по возможности, с благоприятной стороны.

– Пусть нашим врагом будут лучше десять тиранов, нежели один Монреаль, – с жаром отвечал посол.

– Врагом! Поверьте мне, синьор, я не желаю вражды с властителями, которые умеют управлять, и с народом, который имеет мудрость и править, и повиноваться в одно и то же время.

Однако же весь этот день Монреаль был задумчив и не в духе: он отправил верных послов к губернатору Аквилы (который тогда вел переписку с Людовиком венгерским) в Неаполь и в Рим. Последнего он снабдил письмом к трибуну. В этом письме он, не компрометируя себя окончательно, притворился согласным исполнить требование, и просил только большей отсрочки, чтобы приготовиться к отправлению. Но в то же самое время Монреаль прибавил к своему замку новые укрепления и снабдил его множеством припасов. Ночь и день его шпионы и лазутчики наблюдали за проходом к замку и за тем, что делается в городе Террачине. Монреаль был именно из тех вождей, которые более всего готовят к войне тогда, когда, по-видимому, имеют самые мирные намерения.

В одно утро, именно через четыре дня после появления римского посла, Монреаль, тщательно осмотрев наружные укрепления и запасы и довольный тем, что может выдержать по крайней мере месячную осаду, явился в комнату Аделины с более веселым лицом, чем обычно.

Аделина сидела у окна башни, откуда виден был великолепный ландшафт лесов, долин и померанцевых рощ – странный сад для подобного замка! В изгибе ее шеи, когда она склонила лицо на руку и слегка повернула свой профиль к Монреалью, было что-то невыразимо грациозное. Головка ее ясно обнаруживала благородное происхождение, кудри ее были разделены

пробором на лбу, – простая прическа, удачно возобновленная в наше время. Но выражение лица, наполовину отвернувшегося в сторону, рассеянная напряженность взгляда и глубокая неподвижность позы были так грустны и печальны, что веселое и ласковое приветствие Монреалья замерло у него на губах. Он молча подошел и положил руку на ее плечо.

Аделина обернулась, прижала эту руку к своему сердцу, и вся ее грусть исчезла в улыбке.

– Дорогая моя, – сказал Монреаль, – если бы ты знала, как тень печали на твоём светлом лице омрачает мое сердце, то ты никогда не грустила бы. Но в этих грубых стенах, где возле тебя нет ни одной женщины, равной тебе по званию, где всякое веселье, какое только может дать Монреаль этим залам, неприятно для твоего слуха, – неудивительно, что ты раскаиваешься в своём выборе.

– Ах, нет-нет, Вальтер, я никогда не раскаиваюсь. Когда ты вошел, я думала о нашем ребенке. Увы! Это было наше единственное дитя! Как он был хорош, как походил на тебя!

– Нет, у него были твои глаза и лоб, – отвечал кавалер прерывающимся голосом, отвернувшись.

– Вальтер, – сказала Аделина, вздыхая, – ты помнишь? Сегодня день его рождения. Сегодня ему десять лет. Одиннадцать лет мы любим друг друга, и тебе еще не наскучила твоя бедная Аделина.

– Я твой до гроба, – отвечал Монреаль со страстной нежностью, которая совершенно изменила характер его воинственной наружности, дав ей кроткое выражение.

– Если бы я могла быть в этом уверена, то я была бы вполне счастлива! – сказала Аделина. – Но пройдет еще несколько времени, и небольшой остаток моей красоты поблекнет; а какие другие права я имею на тебя?

– Всевозможные; воспоминание о первом твоём румянце, о твоём первом поцелуе, о твоих бескорыстных жертвах, о твоих терпеливых странствованиях, о твоей безропотной любви! Ах, Аделина, мы провансальцы, а не итальянцы: а когда провансальский рыцарь избегал врага или оставлял свою возлюбленную? Но довольно, дорогая моя, сегодня не будем сидеть дома, не будем грустить. Я пришел звать тебя прогуляться. Я послал слуг разбить нашу палатку возле моря. Будем наслаждаться померанцевыми цветами, пока можем. Прежде, чем пройдет другая неделя, у нас могут случиться занятия посерьезнее и место для наших прогулок будет потеснее.

– Как, дорогой Вальтер, ты предвидишь опасность?

– Ты говоришь так, госпожа-птичка, – сказал Монреаль, смеясь, – как будто бы опасность для нас – какая-то новость; кажется, пора бы узнать, что это воздух, которым мы дышим.

– Ах, Вальтер, неужели это вечно будет продолжаться? Ты теперь богат и знаменит, неужели ты не можешь оставить свое беспокойной поприще.

– Ах, Аделина! Что такое богатство и знаменитость, если не средства к достижению власти? Что касается войны, то щит был моей колыбелью – молю святых, чтобы он был мне погребальным катафалком! Эти дикие и волшебные, крайности жизни, – переходы от беседки милой к палатке, от нищеты к дворцу, – переходы, делающие сегодня блуждающим изгнанником, завтра – равным королю, составляют настоящую стихию рыцарства моих нормандских предков. Нормандия научила меня войне, нежный Прованс – любви. Поцелуй меня, дорогая Аделина; теперь пусть служанки оденут тебя. Не забудь своей лютни, моя милая. Мы разбудим эхо провансальскими песнями.

Гибкий характер Аделины легко поддался веселости ее возлюбленного, и скоро компания выехала из замка к месту, которое Монреаль избрал местом отдыха во время дневной жары. Но уже приготовленный ко всякому отчаянному нападению замок был строго охраняем и, кроме домашних слуг, любовников сопровождал отряд из десяти солдат, в полном вооружении. Сам Монреаль был в латах, а его оруженосцы следовали за ним с копьём и шлемом.

Они вошли в палатку; из слуг, оставшихся вне ее, одни праздно бродили по морскому берегу, другие готовили к вечеру лодку для катания, некоторые в простой палатке, скрытой в лесу, приготавливали полдневный завтрак. Между тем струны лютни, на которой играл Монреаль с небрежной ловкостью, нарушали своей музыкой задумчивое безмолвие полудня.

Вдруг один из лазутчиков Монреалья прибежал, задыхаясь, к палатке.

– Капитан, – сказал он, – отряд из тридцати человек в полном вооружении, с большой свитой оруженосцев и пажей только что оставил Террачину. На знаменах их – двойной горб: Рима и Колоннов.

– Хорошо, – сказал Монреаль весело, – такое войско приятная прибавка к нашей компании. Пошли сюда нашего оруженосца.

Оруженосец явился.

– Садись скорей на лошадь и поезжай к отряду, который ты встретишь в ущелье (полно, моя дорогая, не мешай), найди начальника и скажи, что добрый рыцарь Вальтер де Монреаль посылает ему привет и просит его при проезде через нашу землю остаться на некоторое время с нами в качестве приятного гостя; и, постой, прибавь, что если ему угодно провести час или

около того, в приятной забаве, то Вальтер Монреаль будет рад переломить копьё, с ним или с каким-нибудь рыцарем его свиты, в честь наших дам. Поторопись живо!

– Вальтер, Вальтер! – сказала Аделина; она при своей нежной совестливости болезненно чувствовала щекотливость своего положения, о которой беззаботный Вальтер часто забывал. – Милый Вальтер, неужели ты считаешь честью...

– Молчи, моя нежная fleur de lys! Ты много дней не видала никаких забав; я хочу убедить тебя, что я все еще прекраснейшая дама Италии и всего христианского мира. Но эти итальянцы – трусливые рыцари, и тебе нечего бояться, что мое предложение будет принято. Я по более важным причинам радуюсь тому, что случай посылает ко мне римского нобиля, может быть Колонну, женщины не понимают этих вещей; однако же нечто, относящееся к Риму, касается в эту минуту и нас.

С этими словами Монреаль нахмурился, как обыкновенно дети, когда погружался в думу; Аделина не осмелилась больше говорить, и удалилась во внутреннее отделение палатки.

Между тем, оруженосец приближался к процессии, которая теперь достигла середины ущелья. Это была красивая и блестящая компания. Полное вооружение солдат, казалось, свидетельствовало о воинственных намерениях, но с другой стороны этому противоречила многочисленная свита невооруженных щитоносцев и пажей, пышно одетых, и великолепный блазон двух герольдов, которые предшествовали знаменосцам, показывал, что цель этих людей была мирная. Одного взгляда на компанию было достаточно для того, чтобы сказать, кто предводитель ее. Впереди ехал молодой всадник, отличавшийся от своих ближайших товарищей своей грациозной наружностью и великолепной одеждой. На нем был надет стальной нагрудник, изобильно украшенный золотыми арабесками, поверх которого наброшен был плащ из темно-зеленого бархата, обшитый жемчугом; над его черными длинными кудрями волновалось черное страусовое перо в македонской шапочке, вроде той, какую имеет теперь великий магистр ордена св. Константина.

Щитоносец почтительно подъехал к нему, слез с лошади и передал свое поручение.

Молодой кавалер улыбнулся и отвечал:

– Перелей синьору Вальтеру де Монреалю приветствие Адриана Колонны, барона ди Кастелло, и скажи, что важная цель моего настоящего путешествия едва ли позволит мне встретить страшное копьё столь знаменитого рыцаря; и я сожалею об этом тем более, что я не могу уступить никакой женщине

первенство в красоте перед моей дамой. Я должен жить надеждой на более счастливый случай. Но я с удовольствием побуду несколько часов гостем у такого вежливого хозяина.

Щитоносец поклонился.

– Мой господин, – сказал он, запинаясь, – будет очень сожалеть о потере такого благородного противника. Но его предложение относится ко всей рыцарской и храброй свите; и если синьор Адриан думает, что предмет его настоящего путешествия делает этот турнир невозможным для него, то, конечно, один из его товарищей заменит его в борьбе с моим господином.

На эти слова оруженосца поспешил ответить ехавший рядом с Адрианом молодой патриций Риккардо Аннибальди, который впоследствии оказал большую услугу трибуну и Риму и преждевременно погиб, став жертвой своей храбрости.

– С позволения синьора Адриана, – вскричал он, – я переломлю копье!

– Тс! Аннибальди, – прервал Адриан. – А вы, господин щитоносец, знайте, что Адриан ди Кастелло не допускает вместо себя другого к борьбе. Скажите рыцарю св. Иоанна, что мы принимаем его гостеприимство, и если после непродолжительного разговора о более важных предметах он все еще будет желать этой пустой забавы, то я забуду, что я еду посланцем в Неаполь, и буду помнить только, что я рыцарь империи. Вот вам ответ.

Щитоносец с большой церемонией поклонился, сел на коня и поскакал легким галопом к своему господину.

– Извините меня, милый Аннибальди, что я помешал вашей храбрости, и верьте, что я никогда не желал сильнее переломить с кем-нибудь копье, как желаю этого теперь. С этим тщеславным французом. Но подумайте о том, что хотя для нас, воспитанных в вежливых законах рыцарства, Вальтер де Монреаль – знаменитый провансальский рыцарь, но для римского трибуна, важное поручение которого мы исполняем, он не более как наемный начальник свободной компании. В его глазах мы сильно запятнали бы наше достоинство этим легкомысленным и неуместным состязанием с известным и отъявленным разбойником.

– Однако же, – сказал Аннибальди, – разбойник не должен хвастаться, что римский рыцарь уклонился от провансальского копья.

– Перестань, прошу тебя! – сказал Адриан с нетерпением. Молодой Колонна уже горько досадовал на свой благоразумный и важный отказ принять предложение Монреалья. Вспоминая с большим гневом унижительную манеру, с которой провансалец говорил о римском рыцарстве, а также и тон превосходства, который он с ним принимал в рассуждениях обо всех военных предметах, Адриан теперь почувствовал, что губы его

дрожат и щеки пылают. Чрезвычайно искусный во всех воинственных упражнениях своего времени, он имел естественное и извинительное желание доказать, что он был, по крайней мере, достойным противником даже лучшего копьеборца Италии. Сверх того, тогдашние рыцарские понятия заставляли его считать чем-то вроде измены своей даме пренебрежение к каким бы то ни было средствам доказать ее совершенство.

Поэтому Адриан порядочно был раздражен, когда, подъехав к месту, откуда была видна палатка Монреалья, заметил возвращающегося к нему щитоносца. И читатель поймет, как усилилось его раздражение, когда щитоносец, сойдя с лошади обратился к нему со следующими словами:

– Мой господин, рыцарь св. Иоанна, выслушав вежливый ответ синьора Адриана ди Кастелло, велел мне сказать, что во избежание помехи, которая может произойти от предварительного разговора, почтительно предлагает, чтобы турнир предшествовал этой беседе. Дерн перед палаткой так нежен и мягок, что даже падение не будет сопровождаться никакой опасностью, ни для рыцаря, ни для его лошади.

Монреаль, который так настаивал на турнире, частью, быть может, из веселого и буйного молодечества, еще и теперь обыкновенного между его храбрыми земляками, частью потому, что он желал выказать перед людьми, которые скоро будут его открытыми врагами, свое необыкновенное, неподражаемое умение владеть оружием, был еще более побужден к этому, узнав имя предводителя римских воинов. Хотя его тщеславный, гордый дух и скрывал свою злость, но он нимало не простил некоторых жарких выражений Адриана во дворце Стефана Колонны и во время несчастного путешествия в Корнето. Адриан, остановившись при входе в дефиле, с помощью свиты оруженосцев надел остальные доспехи и сам осмотрел подпруги, ремни стремян и разные пряжки на чепраке своего благородного коня. Монреаль же очень весело поцеловал Аделину, которая, хотя по кротости своей не могла сердиться, была, однако же, огорчена, а еще более страшилась за его безопасность. Он взял голубой шарф ее, набросил его на свой нагрудник и окончил свое одевание к битве с равнодушием человека, уверенного в победе. Однако же ему предстояла очень большая неудача. Из замка были принесены его латы и копье, но не был приведен боевой конь. Его парадная лошадь была слишком слаба для того, чтобы выносить большую тяжесть его брони; между лошадьми его солдат тоже не было ни одной, которая бы по силе и росту могла быть под пару коню Адриана. Монреаль выбрал самую сильную из них, и громкий крик его диких приверженцев свидетельствовал об их удивлении, когда он, без посторонней помощи, вспрыгнул с земли в седло, редкий и трудный подвиг ловкости в человеке, совершенно покрытом

тяжелой броней, выкованной в Милане. В Италии употреблялась броня гораздо тяжеловеснее, нежели в какой-либо другой части Европы. Между тем обе компании мало-помалу столпились и образовали род круга на зеленом дерне, и римские герольды с хлопотливой важностью старались привести зрителей в порядок. Монреаль ездил па своей лошади вокруг луга, заставляя ее делать разные прыжки и показывая, со свойственным ему тщеславней чрезвычайное знание и опытность в верховой езде.

Наконец Адриан с опущенным забралом медленно въехал на поляну, сопровождаемый криками своей свиты. Оба рыцаря на двух концах важно стали один против другого. Они отдали друг другу вежливый салют своими копьями. Высокий, статный рост и выпуклая грудь Монреалья даже в латах образовали сильный контраст с фигурой его противника, который был скорее среднего роста, и хотя крепко сложен, но тонок и легок. Но искусство владеть оружием было в те времена доведено до такого совершенства, что большая сила и большой рост далеко не были принадлежностью наиболее знаменитых рыцарей. В самом деле, сила лошади и управление ею так много значили, что легкий вес седока часто более помогал, чем вредил ему; и даже в позднейший период самые искусные бойцы на турнирах, французские Байарды и английские Сиднеи были далеко не примечательны массивностью и ростом.

Трубачи каждой стороны протрубили раз – рыцари оставались неподвижны, подобно железным статуям; другой – и каждый слегка наклонился над лукой седла; третий – и наклонив копьа, ослабив поводья, они помчались во весь карьер и сильно столкнулись на середине. Со свойственным Монреально беспечным высокомерием он воображал, что при первом ударе его копьа Адриан будет сбит с лошади; но к его великому удивлению молодой римлянин остался тверд и под крики своей свиты поехал на другой конец ристалища. Сам Монреаль сильно пошатнулся, но не потерял ни седла, ни стремени.

– Это не комнатный рыцарь, – проворчал Монреаль сквозь зубы и уж теперь, во избежание ошибки призвал на помощь всю свою ловкость, между тем как Адриан, зная большое превосходство своего коня, решился воспользоваться им против своего соперника. Поэтому, когда рыцари опять бросились вперед, то Адриан, хорошо закрывшись своим щитом, направил свои старания не столько против бойца, которого, как он чувствовал, едва ли может сбить чье бы то ни было копье, а против его лошади. Натиск коня Монреалья был подобен падению лавины, копье рыцаря разлетелось на тысячу кусков, Адриан потерял оба стремени и был бы сбит с лошади, если бы его не удержали крепкие железные луки седла; теперь же сшибка

заставила его почти повернуться назад, в ушах у него звенело, в глазах помутилось, так что секунду или две он почти лишен был сознания. Но его конь хорошо отплатил за корм и за науку. В тот самый момент, когда сражающиеся съехались, животное, поднявшись, надвинулось на своего противника своим могучим гребнем с такой неудержимой силой, что лошадь Монреалья попятилась на несколько шагов назад, между тем как копьё Адриана, направленное с удивительной ловкостью, ударив в шлем провансальца, на мгновение отвлекло внимание его от поводьев. Опомившись от внезапного удара, Монреаль слишком туго затянул узду; лошадь его поднялась на дыбы и, получив в эту минуту в свой нагрудник удар острого рога и покрытого кольчугой гребня Адрианова коня, опрокинулась со своим всадником на дерн. Монреаль выкарабкался из-под коня, пылая бешенством и стыдом; из палатки дошел до его слуха слабый крик, который удвоил его смущение. Он встал с легкостью, которая удивила зрителей: латы, носимые в те времена, были так тяжелы, что немногие рыцари, поверженные на землю, могли встать без посторонней помощи. Вынув меч, он вскричал с бешенством:

– На ноги, на ноги! Упал не я, а этот проклятый скот, которого мне, за грехи мои, пришлось возвести в звание боевого коня. Выходите...

– Нет, господин кавалер, – сказал Адриан, сбрасывая свои рукавицы и снимая шлем, который он потом бросил на землю. – Я приехал к тебе в качестве гостя и друга; а пешком дерутся только смертельные враги. Если бы я принял твое предложение, то победа надо мной запятнала бы твою рыцарскую честь.

Монреаль, который в горячности своей на минуту забылся, теперь угрюмо признал справедливость этого рассуждения. Адриан поспешил успокоить своего противника.

– Притом, – сказал он, – я не могу иметь притязания на приз. Удар вашего копья заставил меня потерять стремя, а от моего удара вы не пошатнулись. Вы правы, если даже я вас и победил, то это вина вашей лошади.

– Мы, может быть, еще встретимся, когда лошади у нас будут одинаковы, – сказал Монреаль, все еще горячась.

– Избави Бог! – вскричал Адриан с таким набожным жаром, что присутствующие не могли удержаться от смеха, и даже Монреаль угрюмо и не совсем охотно присоединился к общей веселости. Однако же вежливость противника примирила и тронула более благородные и прямодушные свойства его природы; и стараясь успокоиться, он отвечал:

– Синьор ди Кастелло, я остаюсь вашим должником за вежливость, которой я мало подражал. Однако же, если вы хотите обязать меня навсегда,

то позвольте мне послать за моим конем и тем доставить мне случай восстановить мою честь. На своем коне, или на другом каком-нибудь, равном вашему, который, кажется, английской породы, я берусь защищать этот проход против всей вашей свиты поодиночке. Ставлю все, что имею: земли, замок, деньги, меч и шпоры.

Может быть, к счастью для Адриана, прежде чем он мог ответить, Рикардо Аннибальди вскричал с большим жаром:

– Синьор кавалер, я имею с собой двух коней, хорошо приученных к турнирам; выбирайте и примите меня в качестве бойца со стороны римского рыцарства против французского; вот моя перчатка.

– Синьор, – отвечал Монреаль с плохо сдерживаемой радостью, – твой выбор доказывает такую храбрость и свободу души, что было бы постыдным грехом отказаться от него. Я принимаю твой залог. Вели привести сюда лошадь, которую ты не возьмешь сам, и не будем тратить слов прежде дела.

Адриан, чувствуя, что до сих пор римляне обязаны были более счастьем, нежели заслугам, напрасно старался отклонить этот вторичный риск. Но Аннибальди был сильно разгорячен, а его высокий ранг не позволял Адриану оскорблять его решительным запрещением, и потому Колонна, хотя и неохотно, согласился на поединок. Лошади Аннибальди были приведены, одна чалая, другая гнедая. Последняя была несколько хуже по своим статьям и походке, хотя тоже очень сильна и дорога. Монреаль, которого заставили выбирать, великодушно выбрал последнюю.

Аннибальди скоро был готов, и Адриан дал сигнал трубачам. Римлянин имел почти одинаковый рост с Монреалем, и хотя был моложе последнего, но, казалось, имел такие же мускулы и объем стана, так что настоящие противники с первого взгляда казались более под пару друг другу, чем прежние. Но на этот раз Монреаль, сидя на хорошей лошади и возбужденный в высшей степени стыдом и гордостью, чувствовал себя в состоянии противостоять целой армии, и встретил молодого противника таким сильным отпором, что в то время, как перо на его шлеме едва пошевелилось, итальянец был сбит с лошади на много шагов и, лишась чувств, опомнился только через несколько моментов, когда его налечник был снят оруженосцами. Это происшествие возвратило Монреалу всю его природную веселость и ободрило его свиту, которая чувствовала себя очень униженной предыдущей схваткой.

Монреаль сам помог Аннибальди встать с большой вежливостью и рассыпаясь в комплиментах, на которые гордый римлянин отвечал угрюмым молчанием. Затем провансалец пошел к павильону и громко приказал приготовить пир. Однако же Аннибальди остался назади, и Адриан, который

понял его мысли и видел, что за кубками может произойти ссора между его другом и провансальцем, сказал, отводя его в сторону:

– Мне кажется, милый Аннибальди, было бы лучше, если бы вы с главной частью нашей свиты ехали к Фонди, где я догоню вас на закате солнца. Моих оруженосцев и десяти копейщиков здесь достаточно для моего копья; и, сказать правду, я хочу сказать несколько слов наедине нашему странному хозяину. Я надеюсь мирным образом убедить его выйти отсюда – без помощи римских войск, для храбрости которых довольно работы в других местах.

Аннибальди пожал руку своего товарища.

– Я понимаю тебя, – сказал он, слегка покраснев, – и в самом деле я не вынесу торжествующей снисходительности этого варвара. Принимаю твое предложение.

III

РАЗГОВОР МЕЖДУ РИМЛЯНИНОМ И ПРОВАНСАЛЬЦЕМ. ИСТОРИЯ АДЕЛИНЫ. МОРЕ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ. ЛЮТНЯ И ПЕСНЯ

Проводив Аннибальди с большей частью своей свиты и освободясь от тяжелой брони, Адриан вошел один в палатку кавалера св. Иоанна. Монреаль снял уже все свои доспехи, кроме нагрудника, и приветствовал гостя с привлекательной и непринужденной грацией, которая более соответствовала его происхождению, чем ремеслу. Он выслушал извинения Адриана насчет отсутствия Аннибальди и других рыцарей его свиты с улыбкой, которая, по-видимому, доказывала, как легко он угадал настоящую причину их отъезда, и повел его в другое отделение палатки, где был приготовлен завтрак, очень кстати после телесных упражнений хозяина и гостя. Здесь Адриан в первый раз увидел Аделину. Продолжительная привычка к разнообразной и бродячей жизни ее любовника, вместе с некоторой гордостью от сознания своего, хотя и потерянного ранга, придавали манерам этой прекрасной женщины непринужденность и свободу.

Молодой Колонна был сильно поражен ее красотой, и еще более ее нежной грацией, обличавшей высокое происхождение. Как и Монреаль, она казалась моложе, чем была на самом деле: время, по-видимому, щадило цветущую свежесть, которой бы опытный глаз предсказал раннюю могилу.

Монреаль весело разговаривал о тысячи предметов, наливал вина и выбирал для своих гостей самые лучшие куски вкусной *spicola*, водившейся в соседнем море, и жирного мяса кабана с понтийских болот.

– Скажите мне, – обратился Монреаль к Адриану после того, как их аппетит был утолен; – скажите мне, благородный Адриан, как поживает ваш родственник, синьор Стефан? Бодрый старик для своих лет.

– Он крепок, как самый младший из нас, – отвечал Адриан.

– Последние события должны были несколько потрясти сто, – сказал Монреаль с лукавой улыбкой. – А вы серьезно, однако же, одобряете мою прозорливость; я первый пророчил вашему родственнику возвышение Колы ди Риенцо; он, по-видимому, великий человек и ни в чем его величие не обнаруживается более, как в примирении Колоннов и Орсини с новым порядком вещей.

– Трибун, – отвечал Адриан уклончиво, – конечно, человек необыкновенного ума. Видя его теперь повелевающим, я дивлюсь только одному: как мог он когда-нибудь повиноваться? Величие, кажется, составляет существенную часть его натуры.

– Люди, достигающие власти, легко облачаются в ее внешнее достоинство, – отвечал Монреаль, – и если слухи справедливы (чокнемся за здоровье вашей дамы), то трибун, хотя сам не благородного происхождения, скоро вступит в благородные родственные связи.

– Он женат уже на Разелли, старинная римская фамилия, – отвечал Адриан.

– О, вы хорошо отвечали на мой тост, – сказал, смеясь, Монреаль, – теперь извольте отвечать на другой – за прекрасную Ирену, сестру трибуна, впрочем только тогда, когда эти два лица не одно и то же. Вы улыбаетесь и качаете головой.

– Я не скрываю от вас, господин рыцарь, – возразил Адриан, – что по окончании моего настоящего посольства, я надеюсь, будет заключен тесный союз между трибуном и Колонной к взаимной пользе обоих.

– Значит, слухи верны, – сказал Монреаль серьезным и задумчивым попом. – Власть Риенцо в самом деле должна быть велика.

– Доказательством этому может служить мое настоящее посольство. Известно ли вам, синьор де Монреаль, что Людовик, король Венгрии...

– Что, что такое?

– Передал решение ссоры между ним и Иоанной неаполитанской, из-за смерти ее супруга, а его брага, на усмотрение трибуна. Со времени смерти Константина, кажется, в первый раз римлянину оказывается такое великое доверие и дается такое высокое поручение!

– Клянусь всеми святыми, – вскричал Монреаль, крестясь, – эти новости поистине изумительны. Свирепый Людовик венгерский отказывается от прав меча и выбирает другого посредника, кроме поля битвы!

– И это обстоятельство, – продолжал Адриан значительным тоном, – заставило меня принять ваше вежливое приглашение. Я знаю, храбрый Монреаль, что вы имеете сношения с Людовиком. Людовик дал трибуну наилучший залог дружбы и союза; благоразумно ли вы сделаете, если...

– Буду вести войну с союзником Венгрии? – прервал Монреаль. – Это вы хотели сказать; эта самая мысль мелькнула и у меня в голове. Синьор, извините меня, но итальянцы иногда изобретают то, чего желают. Честью рыцаря империи – эти известия сущая правда?

– Клянусь моей честью и крестом, – отвечал Адриан, вставая, – и доказательством этому служит то, что я теперь отправляюсь в Неаполь установить с королевой прелиминарии назначенного суда.

– Две коронованные особы перед трибуналом плебея, и одна из сторон защищается против обвинения в убийстве! – пробормотал Монреаль, – эти новости могут меня изумить.

Некоторое время он оставался в задумчивости и безмолвии, пока, подняв глаза вверх, не встретил нежного взгляда Аделины. Этот взгляд был устремлен на него с той заботливостью, с какой она обыкновенно следила за внешним действием планов и предприятий, которых она не желала по своей кротости знать и не могла разделять по своей невинности.

– Дама моего сердца, – сказал провансалец с любовью, – как ты думаешь: должны ли мы променять наш гордый замок и эту дикую, лесистую страну на скучные стены города? Я боюсь, – прибавил он, обращаясь к Адриану, – она имеет такие странные склонности, почти ненавидит веселую толкотню улиц, и никакой дворец ей не нравится так, как уединенный приют изгнанника. Однако же, мне кажется, она могла бы затмись своей красотой всех итальянок, конечно за исключением твоей милой, синьор Адриан!

– Это исключение осмелится сделать только влюбленный и притом обрученный влюбленный, – возразил вежливо Адриан.

– Нет, – сказала Аделина голосом необыкновенно приятным и чистым, – нет, я хорошо знаю, какую цену должно придавать лести Вальтера и вежливости синьора ди Каstellо. Но вы, кавалер, едете ко двору, который, если верить слухам, гордится своей королевой, как настоящим чудом красоты.

– Уже несколько лет прошло с тех пор, как я видел неаполитанскую королеву, – отвечал Адриан, – смотря на это ангельское лицо, я тогда не

воображал услышать, что сегодня ее обвинят в самом черном убийстве, какое когда-либо пятнало итальянских государей.

Разговаривая таким образом, рыцари провели весь день, и из открытой палатки видели, как заходящее солнце обдавало море своим пурпуром. Аделина давно уже вышла из-за стола, и они увидели ее сидящей со своими служанками на берегу моря, между тем как звук ее лютни едва доходил до их слуха. Заметив ее, Монреаль перестал говорить и, вздохнув, прикрыл лицо рукой.

Вздох и перемена в Монреале не ускользнули от Адриана, и он естественно предположил, что они имеют связь с чем-либо, касающимся той, лютни которой издавала волшебные звуки.

– Эта милая дама, – сказал он тихо, – играет на лютне изящно и очаровательно, жалобная ария звучит, как песни провансальских менестрелей.

– Этой арии научил ее я, – отвечал Монреаль грустно, – слова в ней плохи, но я ими в первый раз старался пленить сердце, которому бы никогда не следовало отдаваться мне. Ах, молодой человек, много ночей моя лодка при свете звезд приставала к берегу на Сорджии, которая оmyвает замок ее гордого отца. Мой голос пробуждал тишину волнующейся осоки звуками солдатской серенады. Приятные воспоминания, горький плод!

– Почему горький? Вы любите друг друга.

– Но я обречен на безбрачие, и Аделина де Курваль – любовница, тогда как ей бы следовало быть замужней. Мне кажется, я обеспокоен этой мыслью еще более, чем она, дорогая Аделина!

– Ваша дама, как все показывает, благородного происхождения?

– Да, – отвечал Монреаль с глубоким и неподдельным чувством, которое, за исключением любви, редко проникало в его крепкую грудь, если только проникало. – Да! Наша история коротка. Мы любили друг друга еще детьми; ее семья была богаче моей: нас разлучили. Меня уведомили, что она оставила меня. Я в отчаянии принял крест св. Иоанна. Случай опять свел нас. Я узнал, что она неизменно любит меня. Бедное дитя! Она все еще была ребенок! А я был ветрен, беспечен и не лишен, может быть, искусства ухаживать и обольщать. Она не могла противиться моим исканиям или своей любви. Мы бежали. В этих словах вы видите нить моей последующей истории. Меч мой и Аделина составляли все мое богатство. Общество косилось на нас, церковь грозила моей душе, великий магистр грозил моей жизни. Я сделался искателем приключений. Судьба и рука мне благоприятствовали. Я заставил тех, которые меня презирали, дрожать при моем имени. Это имя еще будет сиять звездой или метеором пред смущенными народами, и я еще могу силой

вырвать у первосвященника разрешение, которого не мог добиться мольбами. В один и тот же день я могу предложить Аделине и диадему, и кольцо. Довольно об этом; заметили вы глазки Аделины? Не правда ли, как они нежны? Мне не нравится этот переменчивый румянец, и она двигается с такой усталостью, она, у которой была такая резвая походка.

– Перемена места и легкий южный воздух скоро восстановят ее здоровье, – сказал Адриан, – а в вашей уединенной жизни она так мало находится в обществе других, особенно женщин, что, я думаю, она редко сознавала тягость своего положения. Притом любовь женщины, Монреаль, как известно нам обоим, есть плащ, который защищает ее от множества бурь!

– Ваши слова добры, – возразил рыцарь, – но вы не знаете всей причины горя. Отец Аделины, гордый вельможа, умер, говорят, от горя, но старики умирают и от многих других болезней! Мать, гордившаяся своим происхождением от владетельных особ, восприняла все гораздо строже, чем отец: она требовала мщения. Это странно, потому что она религиозна, как доминиканец, а мщение – не христианское чувство в женщине, хотя оно – рыцарская добродетель в мужчине. У нас был мальчик, наше единственное дитя, утешение Аделины в мое отсутствие. Он стоил для нее целого мира! Она любила его так, что я бы ревновал, если бы у него не было ее глаз и если бы он не был похож на нее, когда спал! Он рос среди нашей дикой жизни крепкий и красивый; из этого молодого шалуна вышел бы храбрый рыцарь! Но злополучные звезды повели меня в Милан, где я имел дело с Висконти. В одно прекрасное июньское утро мальчик был украден.

– Украден! Как? Кем?

– На первый из этих вопросов ответить легко, – мальчик со своей нянькой был на дворе, ленивая девка оставила его, как она уверяет, только на минуту или на две, чтобы принести ему какую-то детскую игрушку. Когда она вернулась, он исчез; следов никаких, исключая хорошенькой шапочки с пером! Бедная Аделина! Много раз я видал, как она целовала эту шапочку, до тех пор, пока вся она не была истерзана слезами!

– Странное приключение, право. Но какой интерес мог...

– Я вам скажу, – прервал Монреаль, – единственную догадку, какую я мог допустить. Мать Аделины, узнав, что у нас есть сын, прислала Аделине письмо, которое чуть не растерзало ее сердца, упрекая ее за любовь ко мне, как будто бы это ее делало презреннейшей женщиной в мире. Мать обязывала ее иметь сострадание к ребенку и не воспитывать его для жизни разбойника – так ей угодно было называть смелое поприще Вальтера де Монреалья. Она предлагала воспитать ребенка в своем скучном замке, вероятно думая сделать его монахом. Она сильно рассердилась, когда мать не

захотела расстаться со своим сокровищем. Я думал, что, вероятно, она украла нашего ребенка частью из мщения, частью из глупого сострадания к нему, частью, может быть, из какого-нибудь благочестивого фанатизма. Расспрашивая, я узнал от няньки (которая, если б не была одного пола с Аделиной, не избавилась бы от моего кинжала), что во время их прогулок женщина преклонных лет, по-видимому, низкого звания (это могло быть переодевание!), часто останавливалась, ласкала ребенка и восхищалась им. Я немедленно поехал во Францию, отправился в замок де Курваль, – он перешел к ближайшему наследнику, а старая вдова уехала, куда – никто не знал, но догадывались, что в какой-нибудь отдаленный монастырь, для принятия монашеского обета.

– И вы с тех пор никогда ее уже не видали?

– Видел в Риме, – отвечал Монреаль, бледнея. – В последнее время моего пребывания там я неожиданно встретился с ней и, наконец, узнал судьбу моего мальчика и справедливость моей догадки. Она призналась в похищении – а мой ребенок умер! Я не решился говорить об этом Аделине; мне такая весть представляется чем-то похожим на выдергивание стрелы из раны; она умерла бы, вдруг лишась томящей неизвестности. У нее еще есть надежда, которая утешает ее; хотя сердце мое обливается кровью, когда я подумаю, что эта надежда потеряна. Пусть это пройдет, синьор Адриан.

И Монреаль вскочил на ноги, как будто стараясь посредством напряженного усилия сбросить слабость, овладевшую им при рассказе.

– Не думайте больше об этом. Жизнь коротка, в ней много терний – не будем пренебрегать никаким из ее цветов. Это и благочестие, и мудрость. Природа, предназначавшая меня к борьбе и трудам, к счастью, дала мне сангвинический нрав и эластическую душу француза, и я жил довольно долго для того, чтобы не считать злом смерть в молодых годах. Пойдемте, синьор Адриан, к Аделине, пока вы не уехали, если только вы должны ехать. Скоро встанет месяц, и отсюда недалеко до Фонди. Я не поклонник вашего Петрарки, но вы вежливее меня: вы хвалите наши провансальские баллады и должны послушать, как Аделина поет их, чтобы ценить их еще больше.

По мере того, как два собеседника шли все далее по берегу, музыка становилась все явственнее, и они невольно начали ступать осторожнее по густому и душистому дерну, услышав голос Аделины, хотя и не сильный, но удивительно нежный и чистый, напевающий грустную песню.

– Аделина, моя нежная ночная птичка, – сказал Монреаль полупшепотом и, тихо подойдя к ней, припал к ее ногам. – Твоя песня слишком грустна для этого золотого вечера.

– Никакой звук не доходит до сердца, если он не приправлен грустью. Истинное чувство, Монреаль, – близнец меланхолии, хотя не унынию, – проговорил Адриан.

Аделина взглянула кротно и одобрительно на Адриана; ей понравилось выражение его лица, а еще более понравились эти слова, истину которых женщины могут признать скорее, нежели мужчины. Адриан отвечал на ее взгляд своим, исполненным глубокой красноречивой симпатии и уважения. В самом деле краткий рассказ Монреала возбудил в нем глубокое сочувствие к ней; Даже в разговорах с блистательной королевой, ко двору которой он был послан, он не обнаруживал такого рыцарского и искреннего уважения, какое оказывал этой одинокой и печальной женщине на берегах Террачины, покрытых вечерним сумраком.

Адалина слегка покраснела и вздохнула; последовала пауза, между тем как Монреаль, не обративший внимания на последнее замечание Адриана, пробегал пальцами по струнам лютни.

– Мой милый синьор, – сказал он, подавая Адриану лютню, – пусть Аделина будет судьей между нами, какая музыка – ваша или моя – слаще для нежных объяснений.

– Ах, – скапал Адриан, смеясь, – я боюсь, господин рыцарь, что вы уже подкупили судью.

Глаза Монреала и Аделины встретились, и в этом взгляде Аделина забыла все свои печали.

Привычной и ловкой рукой Адриан пробежал по струнам и запел, выбрав песню, которая была менее искусственна, чем большая часть бывших у его соотечественников в моде.

– Теперь, – сказал он, кончив, – лютня – вам. Я только сыграл прелюдию перед вашим призом.

Провансалец засмеялся и покачал головой.

– Если бы у нас был другой судья, – сказал он, – то я бы разбил свою лютню на моей собственной голове, за мою мысль спорить с таким соперником; но я не должен уклоняться от состязания, которое сам вызвал, хотя бы даже мне приходилось быть побежденным дважды в один день. – С этими словами рыцарь св. Иоанна пропел «Песню трубадура» глубоким и чрезвычайно мелодическим голосом, которому недоставало только технической обработки для того, чтобы не бояться никакого соперничества.

Таким образом они проводили время то в разговорах, то в пении, между тем как лесистые холмы бросали свои острые, длинные тени на море. Над морем, окрашенным медленно потухающими отблесками розы и пурпура, которые остались сумеркам в наследство от давно зашедшего солнца. Вдали

по очарованному берегу летали светлячки. Наконец, из-за темных гор, покрытых лесом, тихо выплыл месяц, озаряя веселую палатку и блестящий знак Монреалья, зеленый дери и полированные кольчуги солдат, лежавших на траве.

Адриан неохотно вспомнил о своем путешествии и встал, чтобы ехать.

– Боюсь, – сказал он Аделине, – что я задержал вас слишком долго на ночном воздухе; но эгоизм мало рассуждает.

– Нет, вы видите – мы предусмотрительны, – возразила Аделина, указывая на плащ Монреалья, в который он давно уже закутал ее, – но если вы должны ехать, то прощайте, и желаю вам успеха!

– Надеюсь, мы еще увидимся, – сказал Адриан.

Аделина тихонько вздохнула, и Колонна, взглянув на ее лицо при лунном свете, к которому оно было слегка обращено, был тягостно поражен его почти прозрачной нежностью. В порыве сострадания, он, прежде чем сел на лошадь, отвел Монреалья в сторону.

– Простите меня за дерзость, – сказал он, – но для человека столь благородного эта дикая жизнь – едва ли приличное поприще. Я знаю, что в наше время война освящает всех детей своих; но прочное положение при дворе императора или почетное примирение с вашим рыцарским братством были бы лучше...

– Татарского лагеря и разбойничьего замка? – прервал Монреаль с некоторым нетерпением. – Вы это хотели сказать? Ошибаетесь. Общество отвергло меня, пусть же оно пожинает плоды того, что посеяло. Прочное положение, говорите вы? Подчиненная должность, чтобы сражаться под начальством других? Вы не знаете меня: Вальтер де Монреаль не создан для повиновения. Воевать, когда хочу, и отдыхать, когда вздумается, – вот девиз моего герба. Честолюбие доставляет мне награды, о которых вы не подозреваете. Я из природы и поколения тех, мечи которых завоевали троны. Ваши вести о союзе Людовика венгерского с трибуном заставляют друга Людовика удалиться от всякой вражды с Римом. Прежде, чем пройдет неделя, сова и летучая мышь могут искать убежища в серых башнях моего замка.

– А ваша дама?

– Привыкла к переменам. Да поможет ей Бог и смягчит жестокий ветер для ягненка!

– Довольно, господин рыцарь: но если бы вы желали дать верное убежище для женщины такой нежной и знатной, то я обещаю безопасную кровлю и честный дом синьоре Аделине, вот вам правая рука рыцаря.

Монреаль прижал руку Адриана к своему сердцу; потом, быстро отдернув свою, провел ею по глазам и пошел к Аделине в молчании, которое показывало, что у него не доставало духу говорить. Через несколько минут Адриан и его свита уже ехали, но молодой Колонна все еще обращался назад, чтобы еще раз взглянуть на своего странного амфитриона и на эту милую женщину, которая стояла на траве, освещенной лунными лучами, между тем как в ушах их раздавался печальный ропот моря.

Через несколько месяцев после этого события имя Фра Морале наполнило ужасом и отчаянием прекрасную Кампанию. Он – правая рука венгерского короля при его вторжении в Неаполь – был впоследствии назначен наместником Людовика в Аверсе. Слава и судьба, казалось, торжественно вели его на честолобивом поприще, которое он избрал, чем бы оно ни окончилось – троном или эшафотом.

Книга IV ТРИУМФ И ПЫШНОСТЬ

I МАЛЬЧИК АНДЖЕЛО. СОН НИНЫ ИСПОЛНИЛСЯ

Нить моей истории переносит нас опять в Рим. В маленькой комнате, в развалившемся домике у подошвы горы Авентина, вечером сидел мальчик с женщиной, высокой и статной, но несколько согнутой болезнью и годами. Мальчик имел приятную и красивую физиономию, и его смелые, откровенные манеры делали его на вид старше, нежели он был на самом деле.

Старуха, сидевшая в углублении окна, по-видимому, была занята библией, которая лежала открытой у нее на коленях; но по временам она поднимала глаза и смотрела на мальчика с грустным и беспокойным выражением.

– Синьора Урсула, – сказал мальчик, который был занят вырезанием меча из дерева, – я бы хотел, чтобы вы посмотрели сегодня на зрелище. Теперь каждый день бывают зрелища в Риме. Довольно уже и того, чтобы посмотреть на самого трибуна на белой лошади (ах, как она красива!), в белой одежде, усеянной драгоценными камнями. Но сегодня, как я уже вам

говорил, синьора Нина обратила на меня внимание, когда я стоял на лестнице Капитолия; вы знаете, на мне был голубой бархатный камзол.

– И она назвала тебя хорошеньким мальчиком и спросила, не хочешь ли ты быть ее пажом, и это вскружило тебе голову, глупый мальчишка?

– Слова ничего не значат: если бы вы видели синьору Нину, вы бы признались, что улыбка ее могла бы вскружить самую благоразумную голову в Италии. Ах, как бы я хотел служить трибуну! Все мальчики моих лет от него без ума; как они выпучат глаза и будут мне завидовать в школе на другой день! Вы также знаете, что хотя я не все время воспитывался в Риме, я римлянин. Каждый римлянин любит Риенцо.

– Да, теперь. Мода скоро переменится. Твое легкомыслие, Анджело, печалит мое сердце, я бы хотела, чтобы ты был не так легкомыслен и горд.

– Незаконнорожденные должны сами приобрести себе имя, – сказал мальчик, сильно покраснев. – Меня попрекают в лицо за то, что я не могу сказать, кто были мой отец и мать.

– Они плохо делают, – поспешно отвечала старуха. – Ты производишь от благородной крови и длинного ряда предков, хотя, как я часто тебе говорила, я не знаю в точности имен твоих родителей. Но что ты делаешь из этой дубовой палки?

– Меч, чтобы помогать трибуну против разбойников.

– Увы, я боюсь, что он, подобно всем тем, которые ищут власти в Италии, скорее будет вербовать разбойников, нежели нападать на них.

– Да, вы всегда так. Вы живете в такой темноте, что не знаете и не слышите ничего; иначе вам было бы известно, что даже самый свирепый из всех разбойников, Фра Мореале, уступил, наконец, трибуну и бежал из своего замка, как крыса из падающего дома.

– Как, – вскричала старуха, – что ты говоришь? Неужели этот плебей, которого ты называешь трибуном, смело бросил вызов этому страшному воину? Неужели Монреаль оставил римские владения?

– Да, об этом теперь говорят в городе, но, кажется, Фра Мореале для вас такое же пугало, как и для каждой матери в Риме. Не обидел ли он вас когда-нибудь?

– Да, – воскликнула старая женщина с такой внезапной суровостью, что даже этот смелый мальчик вздрогнул.

– Ну, так мне хотелось бы с ним встретиться, – сказал он после паузы, размахивая своим воображаемым оружием.

– Избави тебя Бог! Этого человека ты всегда должен избегать в войне и в мире. Повтори, что этот добрый трибун не водится с разбойниками.

– Повторить! Весь Рим это знает.

– Притом он благочестив, я слышала. Говорят, что он видит видения и имеет поддержку свыше, – сказала женщина про себя. Потом, обратясь к Анджело, она продолжала: – Тебе очень хотелось бы принять предложение синьоры Нины?

– Да, хотелось бы, если бы вы меня отдали.

– Дитя, – отвечала старуха торжественно, – моя жизнь почти кончилась, и мое желание состоит в том, чтобы тебя пристроить у людей, которые тебя будут кормить в молодости и спасут тебя от беспутной жизни. Сделав это, я могу исполнить мой обет и посвятить печальный остаток моих лет Богу. Я подумаю об этом, дитя мое, ты должен бы жить не у этого плебея и питаться не чужим хлебом. Но в Риме последний из моих родственников, достойный доверия, умер, а в случае крайности безвестная честность лучше, нежели пышное преступление. Твой характер меня уже беспокоит; отойди, дитя, я должна идти в мою комнату бодрствовать и молиться.

С этими словами старуха, отстраняя льнущего к ней мальчика и остановив поток его несвязных слов, в которых выражались и ласки, и вместе своенравие, вышла из комнаты.

Мальчик рассеянно смотрел на запирающуюся дверь и сказал про себя:

– Синьора всегда говорит загадками. Я подозреваю, что она больше знает обо мне, чем говорит, и что она как-нибудь мне сродни. Впрочем нет, потому что я не слишком-то ее люблю, да и не буду любить больше из-за этого. Я хотел бы, чтобы она меня отдала жене трибуна, и тогда посмотрим, кто из мальчиков назовет Анджело Виллани незаконнорожденным.

С этими словами мальчик с удвоенным прилежанием начал опять работать над своим мечом.

На следующее утро Урсула вошла в комнату Анджело.

– Надень опять свой голубой камзол, – сказала она, – я бы хотела, чтобы ты был как можно наряднее: ты пойдешь со мной во дворец.

– Как, сегодня? – вскричал радостно мальчик, чуть не спрыгнув с постели.

– Неужели я в самом деле буду принадлежать к свите жены великого трибуна?

– Да, и оставишь старуху умирать в одиночестве. Твоя радость тебе пристала, но неблагодарность у тебя в крови. Неблагодарность! О, она испепелила мое сердце, а твоя неблагодарность, мальчик, не будет более находить огня в сухом, рассыпающемся пепле.

– Милая синьора, вы всегда ворчите. Вы сказали, что хотите удалиться в монастырь и что я – слишком тяжелое бремя для вас. Но вы веселы, когда меня браните справедливо или несправедливо.

– Мое дело кончено, – сказала Урсула с глубоким вздохом.

Мальчик не отвечал, и старуха медленно удалилась, может быть с отягченным сердцем. Когда мальчик, одевшись, пришел к ней, он заметил то, чего прежде в своей радости не видал, а именно, что Урсула была одета не в обыкновенную свою простую одежду. Золотая цепь, которую редко носили женщины неблагородного звания, блистала на ее платье из венецианского штофа; пряжки, которыми был застегнут ее спенсер у горла и в талии, были украшены дорогими камнями немалой цены.

Глаза Анджело были поражены этой переменной; но он почувствовал более разумную гордость, заметив, что эта перемена шла старухе. Вид ее и осанка показывали, что этот наряд был ей привычен, и казались более обыкновенного строгими и величавыми.

Она пригладила кудри мальчика и надела ему короткий плащ на плечо, потом повесила к его поясу кинжал с богато отделанной ручкой и кошелек, набитый флоринами.

– Учись пользоваться тем и другим рассудительно, – сказала она, – буду ли я жива или умру, ты не будешь иметь нужды прибегать к кинжалу, чтобы добыть себе деньги.

– Так это, – вскричал Анджело в восхищении, – настоящий кинжал, чтобы сражаться с разбойниками! С ним я не буду бояться Фра Мореале, который так тебя обидел. Я уверен, что могу отомстить за тебя, хотя ты так меня бранишь за неблагодарность.

– Я уже отомщена. Не питай этих мыслей, сын мой, они грешны, по крайней мере, я боюсь, что так. Поди к столу и закуси. Мы пойдем рано, как просители.

Анджело скоро кончил завтрак и, выйдя с Урсулой к воротам, увидел, к своему удивлению, четырех из тех служителей, которые обыкновенно сопровождали знатных особ и которых можно было нанять в каждом городе для пышной обстановки.

– Какие мы важные сегодня! – сказал он, хлопнув в ладоши.

Урсула, занятая собственными своими мыслями, не отвечала и едва слышала мальчика. Опираясь на его плечо, она медленно пошла к дворцу Капитолия. Слуги шли впереди, расчищая путь.

Наблюдательный глаз с удивлением заметил бы перемену, происшедшую на римских улицах в течение каких-нибудь двух или трех месяцев строгого, но спасительного и благоразумного правления трибуна. Там не видно было уже долговязых, покрытых кольчугами чужеземных наемников, которые прежде расхаживали по улицам или собирались наглыми, праздными группами перед укрепленными входами какого-нибудь мрачного дворца.

Лавки, которые во многих кварталах были заперты уже несколько лет, теперь вновь были открыты, привлекая глаза товарами и бойкой торговлей.

По таким улицам и среди таких людей шла наша компания, пока не очутилась среди смешанной толпы, собравшейся перед входом в Капитолий. Однако же стоявшие там офицеры сохраняли такой хороший порядок, что Урсула и Анджело не были надолго задержаны. Вступив на обширную площадь, или на двор этого знаменитого здания, они увидели отворенные двери большой судебной палаты, охраняемые только одним часовым. Здесь трибун проводил заседания по шесть часов ежедневно: «Терпеливый в выслушивании просьб, скорый на удовлетворение, неумолимый в наказании, суд его был всегда доступен для бедных и чужих»[18].

Но не к этой зале наша компания направила свой путь, а ко входу в особые комнаты дворца. Здесь пышность, блеск и более чем царское величие жилища трибуна составляли сильный контраст с патриархальной простотой, которой отличалась его судебная палата.

Не зная к кому обратиться в такой толпе, Урсула была выведена из затруднения одним офицером, одетым в платье малинового цвета, вышитое золотом, который с важной и официальной благопристойностью, царствовавшей во всей свите, почтительно спросил, кого она ищет. «Синьору Нину!» – отвечала Урсула, выпрямляя свою статную фигуру, с натуральным, хотя несколько обветшалым достоинством. В акцепте ее был какой-то иностранный оттенок, и потому офицер отвечал:

– Сегодня, сударыня, синьора принимает, кажется, только римских дам. Завтра же день назначен для всех знатных иностранок.

Урсула с некоторым нетерпением возразила:

– У меня дело такого рода, что во дворцах оно во всякий день к стати. Я хочу положить к ногам синьоры кое-какие подарки, которые, надеюсь, она удостоит принять.

– И скажите, – прибавил мальчик отрывисто, – что Анджело Виллами, которого синьора Нина почтила вчера своим вниманием, не иностранец, а римлянин, и пришел, по приказанию синьоры, предложить ей свою верную службу и преданность.

Важный офицер не мог не улыбнуться этой заносчивой, но не лишенной грации смелости мальчика.

– Я припоминаю, – отвечал он, – что синьора Нина говорила с вами возле большой лестницы. Синьора, я исполню ваше поручение. Не угодно ли идти за мной в комнату, более приличную для вашего пола и звания.

С этими словами офицер повел их через залу к широкой лестнице из белого мрамора, украшенной посредине богатыми восточными коврами, которые тогда были обыкновенной роскошью итальянских дворцов, между тем как тростниковые рогожки покрывали полы в комнатах английского монарха. Отворив дверь на первый всход, он ввел Урсулу и ее юного питомца в высокую переднюю комнату, обитую узорчатым бархатом, и вышел в противоположную дверь, украшенную гербами, которые трибун постоянно примешивал к своей великолепной обстановке, не столько из любви к торжественности, сколько из политических соображений, желая соединить знаки первосвященника с геральдическими знаками республики.

– Сам Филипп Валуа не имеет такого помещения! – прошептала Урсула. – Если это продолжится, то я сделала для моего питомца более, чем думала сделать.

Скоро офицер возвратился и повел их через обширную комнату – приемную залу дворца. Пройдя эти апартаменты, офицер отворил в конце их дверь, которая вела в небольшую комнату, наполненную пажами в богатой одежде из голубого бархата с серебром. Немногие из них были старше Анджело; по своей красоте они казались отборным цветом города.

У Анджело не было времени смотреть на своих будущих товарищей: еще минута – и он вместе со своей покровительницей стоял перед лицом молодой жены трибуна.

Комната была невелика, но доказывала, что прекрасная дочь Разелли осуществила свои грезы о пышности и блеске.

Нина привстала, увидав Урсулу, степенные и печальные черты которой невольно выразили удивление при виде столь редкой и поразительной красоты. Но не будучи ослеплена окружавшим ее блеском, старуха скоро оправилась и села на подушке, на которую указала ей Нина, между тем как юный Анджело остался на ногах посреди комнаты, прикованный к месту детским удивлением. Нина узнала его и улыбнулась.

– А, мой милый мальчик, быстрые глаза и смелый вид которого так вчера мне понравились! Ты пришел принять мое предложение? Не вам ли, сударыня, принадлежит этот прекрасный ребенок?

– Синьора, – отвечала Урсула, – моя просьба здесь коротка. Сцеплением событий, рассказом о которых нет надобности утомлять вас, этот мальчик с детских лет попал под мою опеку, тяжкая и беспокойная забота для женщины, мысли которой находятся вне пределов этой жизни. Я воспитывала его как молодого человека благородной крови, потому что в обеих линиях он благородного происхождения; хотя он сирота, не имеющий ни отца, ни матери.

– Бедное дитя! – сказала Нина с состраданием.

Урсула продолжала:

– Теперь уж я стара и, желая единственно примириться с небом, я несколько месяцев тому назад отправилась сюда, с целью поместить мальчика у одного моего родственника, но не застала его в живых, а его наследник оказался человеком сумасбродного и беспутного нрава. Встревоженная и озабоченная, я осталась здесь, и когда вчера вечером мальчик сказал мне, что вам угодно было почтить его вашим вниманием, то я сочла это голосом провидения. Подобно всем другим римлянам, он уже научился питать восторженное уважение к трибуну и преданность к его супруге. В самом ли деле вы желаете принять его в число своих слуг? Он не опозорит вашего покровительства ни своим происхождением, ни поведением, надеюсь.

– Даже без такой почтенной рекомендации, как ваша, я приняла бы, лицо его порукой в этом. Он римлянин? Если римлянин, то его имя должно быть мне известно.

– Извините, синьора, – возразила Урсула, – его зовут Анджело Виллани; он не носит имени ни отца, ни матери. Честь одного благородного дома требует, чтобы его происхождение осталось навсегда неизвестным. Он дитя любви, не освященной церковью.

– В таком случае он еще более требует любви и сожаления – жертва чужого греха! – отвечала Нина с увлажненными глазами, заметив глубокую жаркую краску, покрывшую щеки мальчика. – С управлением трибуна начинается новая эра благородства, когда ранг и рыцарство будет приобретаться собственными заслугами человека, а не делами его предков. Не бойтесь, синьора, в моем доме он не будет в пренебрежении.

Несмотря на свою гордость, Урсула была тронута добротой Нины: она приблизилась к ней с невольным уважением и поцеловала руку синьоры.

– Да наградит св. Дева ваше благородное сердце! – сказала она. – Теперь мое дело кончилось, моя земная цель достигнута. Только прибавьте, синьора, к вашим неоценимым милостям еще одну. Эти драгоценные камни, – и Урсула вынула из кармана своего платья ларчик, тронула пружину, крышка отскочила и представила глазам камни большого объема и самой чистой воды. – Это драгоценные камни, – продолжала она, положив ларчик к ногам Нины, – принадлежавшие некогда княжескому дому Тулузы, мне и моим родственникам не нужны. Позвольте мне отдать их той, чье царственное чело даст им блеск...

– Как! – сказала Нина, сильно покраснев. – Не думаете ли вы, сударыня, что мою доброту можно купить? Нет, нет, возьмите назад ваши подарки, иначе я попрошу вас взять назад вашего мальчика.

Урсула была удивлена и смущена: для ее опытности такая воздержанность была новостью, и она не знала, что отвечать. Нина заметила ее затруднение с гордой и торжествующей улыбкой и, принимая прежний вежливый тон, сказала с важной ласковостью:

– Руки трибуна чисты, руки жены трибуна не должны подвергаться подозрению. Скорее мне, синьора, следовало выдать вам что-нибудь в обмен на прекрасного мальчика, которого вы поручили мне. Ваши драгоценности могут впоследствии пригодиться ему в жизни: сохраните их для того, кто в них нуждается.

– Нет, синьора, – сказала Урсула, вставая и подымая глаза к небу; – они пойдут на обедни по душе его матери; для него же я сохраню достаточную сумму, которой он воспользуется, когда его возраст того потребует. Синьора, примите благодарность несчастного и истерзанного сердца. Прощайте!

Она повернулась, чтобы выйти из комнаты, но ее поступь была так шатка и слаба, что Нина, тронутая и опечаленная, вскочила с места и собственной рукой проводила старую женщину через комнату, ободряя и успокаивая ее. Когда они дошли до двери, то мальчик бросился вперед и, схватив Урсулу за платье, проговорил, всхлипывая:

– Дорогая синьора, ни одного слова прощания твоему маленькому Анджело! Простите ему все, чем он беспокоил вас! Теперь в первый раз я чувствую, как я был своенравен и неблагодарен.

Старуха обняла его и с горячностью поцеловала; как вдруг мальчик, как бы внезапно пораженный какой-то мыслью, вынул из своего кармана подаренный ею кошелек, и сказал задыхающимся и едва внятным голосом:

– И пусть это, дорогая синьора, пойдет на обедни по душе моего бедного отца; потому что и он тоже умер, как вы знаете!

Эти слова, казалось, вдруг охладили все нежные чувства Урсулы. Она отстранила мальчика с той же ледяной и суровой строгостью, которая прежде так часто останавливала его порывы; и овладев быстро собой, тотчас же оставила комнату, не сказав более ни слова. Нина, в удивлении, но все еще сострадавая к ней и уважая ее лета, пошла за ней через пажескую и приемную комнаты, до последних ступеней лестницы – великодушие, которого не получили бы от нее самые знатные римские княгини. Возвратясь, задумчивая и грустная, она взяла мальчика за руку и поцеловала его в лоб.

– Бедный мальчик, – сказала она, – кажется, само провидение заставило меня вчера отличить тебя из толпы и таким образом привести тебя в твое

естественное убежище. Куда должны приходиться люди беспомощные и сироты Рима, если не во дворец первого римского сановника? – Потом, обратясь к своим служительницам, она дала им приказания относительно личного комфорта своего нового пажа, доказывавшие, что хотя власть и развила в ней тщеславие, но не оледенила ее сердца. Анджело Виллани впоследствии хорошо отплатил ей!

Она оставила мальчика с собой и все более и более была довольна его смелостью и откровенностью. Однако же позднее их разговор был прерван прибытием нескольких римских синьор. И тогда хорошие качества Нины ушли в тень и наружу выступили ее недостатки. Она не могла удержаться от женского торжества над высокомерными синьорами, теперь покорно пресмыкавшимися перед той, которую некогда презирали. Она приняла манеры королевы и требовала уважения к себе, как к королеве. И с тем ловким искусством, которым женщины обладают в такой сильной степени, она старалась сделать саму вежливость унижением для своих гордых посетительниц. Ее внушительная красота и грациозный ум спасли ее, правда, от вульгарной наглости выскочки, но тем более они уязвляли гордость, лишая тех, кого она унижала, возможности отплатить ей презрением.

II

СОВЕТНИК, ИНТЕРЕСЫ КОТОРОГО И СЕРДЦЕ – НАШИ СОБСТВЕННЫЕ. СОЛОМА ПОДЫМАЕТСЯ К ВЕРХУ: НЕ ПРЕДВЕЩАЕТ ЛИ ЭТО БУРИ?

В этот день Риенцо позднее обыкновенного возвращался из своего трибунала в покои дворца. Когда он проходил приемную залу – щеки его несколько горели, зубы были сжаты, как у человека, принявшего твердое и непоколебимое решение. Лицо его было пасмурно, оно имело тот грозный, нахмуренный вид, на который не преминули указать все, кто описывал его личность, как на характерную черту гнева, тем более ужасного, что он был справедлив. За ним по пятам шли епископ Орвиетский и старый Стефан Колонна.

– Говорю вам, синьоры, – сказал Риенцо, – что ваше ходатайство напрасно. Рим не знает различия между рангами. Закон слеп к преступнику и рысьими глазами следит за преступлением.

– Но, – сказал Раймонд нерешительно, – вспомни, трибун, ведь он племянник двух кардиналов и сам был некогда сенатором.

Риенцо вдруг остановился и взглянул на своих собеседников.

– Монсиньор епископ, – сказал он, – не делается ли поэтому преступление еще более неизвинительным? Подумайте: корабль, шедший из Авиньона в Неаполь с доходами Прованса для королевы Иоанны, о деле которой, заметьте, мы теперь держим торжественное совещание, потерпел крушение при устье Тибра. Мартино ди Порто, патриций, как вы говорите, владелец крепости, от которой заимствовал свой титул, человек, вдвойне обязанный и благородством своей крови, и ближайшим соседством, помочь, нападает на корабль с вооруженной толпой (зачем этот мятежник держит войско?) и грабит корабль, как простой разбойник. Он схвачен, приведен к моему трибуналу, предан честному суду и приговорен к смерти. Таков закон: чего вам еще хочется?

– Помилования, – сказал Колонна.

Риенцо сложил руки и презрительно засмеялся.

– Я никогда не слышал, чтобы синьор Колонна ходатайствовал о помиловании крестьянина, который крал хлеб для своих голодных детей.

– Между крестьянином и князем, трибун, я, по крайней мере, признаю разницу: светлая кровь Орсини не должна быть проливаться так же, как кровь какого-нибудь низкого плебея.

– Да, я помню, – сказал Риенцо тихим голосом, – вы не считали важным делом, когда мой брат-мальчик пал под своевольным копьём вашего гордого сына. Предостерегаю вас: не будите этого воспоминания; пусть оно спит. Стыдитесь, старый Колонна, стыдитесь. На краю могилы, где черви уравнивают всех, и при этих седых волосах, вы проповедуете жестокое различие между человеком и человеком. Разве не довольно разницы и без этого? Не носит ли один пурпура, тогда как другой одевается в лохмотья? Не изнемогает ли один от лени, тогда как другой трудится в поте лица? Не пирует ли один, тогда как другой умирает с голоду? Разве я предлагаю какой-то безумный план уравнивать ранги, которые общество делает необходимым злом? Нет, я не веду войну с богачом злее, чем с Лазарем. Пред судом человеческим, так же как и пред Божиим, Лазарь и богач равны. Довольно об этом.

Колонна завернулся в свой плащ с чрезвычайно надменным видом и молча закусил губу. Вмешался Раймонд.

– Все это правда, трибун. Но, – и он отвел Риенцо в сторону, – вы знаете, что мы должны быть столько же благоразумны, сколько справедливы. Племянник двух кардиналов! Какую злобу это возбудит в Авиньоне!

– Не беспокойтесь, святой Раймонд, я дам в этом отчет первосвященнику.

Когда они говорили, раздались тяжелые и громкие удары колокола.

Колонна вздрогнул.

– Великий трибун, – сказал он с легкой усмешкой, – прикажите повременить, пока еще не слишком поздно. Я не помню, чтобы когда-нибудь я гнулся пред вами в качестве просителя, но теперь я прошу пощадить моего собственного врага. Стефан Колонна просит Колу ди Риенцо пощадить жизнь Орсини.

– Я понимаю ваш упрек, – сказал Риенцо спокойно, – но не сержусь на него. Вы враг Орсини и ходатайствуете за него – это называется великодушием; но, послушайте – вы более друг своему сопернику. Вы не можете вынести того, чтобы человек, довольно знатный для состязания с вами, погиб, как вор. Я отдаю должное такой благородной снисходительности; но я не из благородных и не сочувствую ей. Еще одно слово. Если бы это было единственным преступлением, которое сделал этот барон-бандит, то ваши просьбы за него могли бы быть уважены, но разве жизнь его неизвестна? Разве не был он с детства ужасом и бедствием Рима? Сколько женщин, подвергнувшихся его насилию, сколько ограбленных купцов и мирных людей, которые среди белого дня восстают против него страшными обвинителями! И для этого человека старый князь и папский викарий просят помилования! Фи! Но я вознагражу вас: я прощу для вас первого бедняка, которого закон приговорит к смерти.

Раймонд опять отвел трибуна в сторону, между тем как Колонна силился подавить свое бешенство.

– Мой друг, – сказал епископ, – нобили сочтут это оскорблением для всего своего сословия; само ходатайство жесточайшего врага Орсини должно тебя в том убедить. Кровь Маргино запечатлеет их примирение друг с другом, и они восстанут против тебя единодушно.

– Пусть будет так: с помощью Бога и народа я осмелюсь быть справедливым. Колокол перестал звонить, вы уже опоздали. – С этими словами Риенцо отворил окно: возле лестницы Льва стояла виселица, на которой качалось в одежде патриция еще трепещущее тело Мартино ди Порто.

– Смотрите! – сказал трибун сурово, – так умирают все разбойники. Для изменников тот же самый закон назначает топор и плаху!

Раймонд отступил и побледнел. Но не побледнел ветеран-патриций. На глазах его выступили слезы уязвленной гордости; он подошел, опираясь на свою палку, к Риенцо, прикоснулся к его плечу и сказал:

– Трибун, и без измены явился судья, злобствующий на свою жертву!

Риенцо с такой же гордостью обратился к барону.

– Мы прощаем пустые слова старикам. Синьор, вы закончили? Мне бы хотелось побыть одному.

– Дай мне руку свою, Раймонд, – сказал Стефан. – Трибун, прощай. Забудь, что Колонна просил тебя, мне кажется, это нетрудно: несмотря на свою мудрость, ты забываешь то, что помнит всякий другой.

– Что такое, синьор?

– Рождение, трибун, рождение – это все!

– Синьора Колонна приняла мое прежнее звание и сделалась шутихой, – отвечал Риенцо равнодушным и непринужденным тоном.

Затем, проводив Раймонда и Стефана глазами, пока дверь не затворилась за ними, он прошептал:

– Наглец! Если бы не Адриан, твоя седая борода не защитила бы тебя. Рождение! Чем бы Колонна гордился, если бы он не был внуком императора! Старик, в тебе таится опасность, за которой надо наблюдать. – С этими словами Риенцо задумчиво повернулся к окну, и опять его глазам представилось ужасное зрелище смерти. Народ, собравшийся внизу огромной толпой, со всем диким шумом, означая торжество черни над сокрушенным врагом, радовался казни того, чья жизнь вся была позором и грабительством, но который, казалось, был недостижим для правосудия. И Риенцо услышал крики:

– Многие лета трибуну, справедливому судье, освободителю Рима! – Но в эту минуту другие мысли сделали его чувстве глухими к народному энтузиазму.

– Мой бедный брат! – сказал он со слезами на глазах. – Ты убит, благодаря преступлениям этого человека; и люди, не имевшие жалости к ягненку, кричат о состраданье к волку! О, если б ты теперь был жив, как бы кланялись тебе эти гордые головы, хотя мертвый ты не был удостоен ни одной их мысли! Да упокоит Бог твою кроткую душу и сохранит мое честолюбие таким же чистым, каким оно было тогда, когда мы прогуливались вместе в сумерки!

Трибун затворил окно и пошел в комнату Нины. Услышав ею шаги, она встала. Глаза ее сверкали, грудь вздымалась, и когда он вошел, она бросилась к нему на шею. И прошептала, припав к его груди:

– Целых несколько часов прошло с тех пор, как мы расстались!

Странно было видеть, как эта женщина, гордая своей красотой, своим положением, своими новыми почестями, женщина, великолепное тщеславие которой составляло предмет толков в Риме и упреков для Риензи, изменилась внезапным и чудесным образом в его присутствии! Она краснела и робела, вся гордость ее, казалось, исчезла в ее любви к нему.

Женщина не любит во всей полноте страсти, если она не благоговеет перед тем, кого любит, если она не чувствует себя униженной вследствие преувеличенного мнения о превосходстве предмета своего обожания, радуясь этому унижению.

Может быть, сознание различия, делаемого Ниной между ним и всеми другими, увеличивало любовь трибуна к своей жене, заставляя его быть слепым к ее несправедливостям относительно других и снисходительно смотреть на ее великолепную пышность. Было в некоторой степени разумно окружить себя великолепием, но оно доведено было до таких размеров, что если и не способствовало падению Риенцо, то послужило римлянам извинением в их трусости и измене, а историкам – достаточным объяснением обстоятельств, в которые они не постарались проникнуть глубже.

Риенцо отвечал на ласки жены с такой же любовью. Он наклонился к ее прекрасному лицу, и взгляда на это лицо было достаточно для того, чтобы согнать с чела трибуна тень суровости и грусти, которая недавно его омрачала.

– Ты не выходила в это утро, Нина?

– Нет, было слишком жарко. Впрочем, Кола, я не имела недостатка в обществе: половина римских матрон толпилась во дворце.

– Да, я уверен в этом. Ну, а что там за мальчик? Это, кажется, новое лицо?

– Тс, Кола, умоляю тебя, говори с ним ласково: его историю я сейчас расскажу тебе. Анджело, подойти сюда. Это твой новый господин, римский трибун.

Анджело подошел с несвойственной ему застенчивостью, потому что Риенцо от природы имел величественную осанку, а со времени достижения им власти она, естественно, приняла более важный и строгий вид, который внушал невольное благоговение всем приближавшимся к трибуну, не исключая и посланников владетельных особ. Трибун улыбнулся, увидав произведенное им впечатление, и от природы любя детей, ласковый ко всем, кроме знатных, поспешил развеять его. Он с любовью взял мальчика на руки, поцеловал его и приласкал.

– Если бы у нас был такой хорошенький сын! – прошептал он Нине; она покраснела и отвернулась.

– Как тебя зовут, мой маленький друг?

– Анджело Виллани.

– Тосканское имя. Во Флоренции есть ученый, который в эту минуту, без сомнения, пишет наши летописи по слуху: его фамилия Виллани. Не родня ли он тебе?

– У меня нет родных, – сказал мальчик отрывисто, – и тем более я буду любить синьору и уважать вас, если позволило. Я римлянин – все римские мальчики уважают Риенцо.

– В самом деле, мой славный мальчик? – сказал трибун, покраснев от удовольствия. – Это хорошее предзнаменование, которое предвещает мне продолжительное благоденствие. – Он опустил мальчика и бросился на подушки. Нина присела на низкой скамейке возле.

– Останемся одни, – сказал он, и Нина дала своим прислужницам знак удалиться.

– Возьмите с собой моего нового пажа, – прибавила она. – Он слишком недавно из дому и, может быть, не в состоянии будет забавляться обществом своих резвых товарищей.

Когда они остались наедине, Нина рассказала Риенцо о событиях утра. Хотя, по-видимому, он слушал ее, но он смотрел рассеянно и очевидно был углублен в другие мысли. Наконец, когда она кончила, он сказал:

– Хорошо. Нина; ты поступила, как всегда, с добротой и благородством; поговорим о другом. Мне грозит опасность.

– Опасность! – повторила Нина, бледнея.

– Слово это не должно пугать тебя, твой дух похож на мой; он презирает страх. Поэтому, Нина, во всем Риме ты единственный мой поверенный. Небо дало мне тебя в супруги не только для того, чтобы радовать меня твоей красотой, но и для того, чтобы ободрять меня твоим советом и поддерживать твоим мужеством.

– Да благословит тебя Божия Матерь за эти слова! – сказала Нина, целуя его руку, которая лежала на ее плече. – Если я вздрогнула при слове опасность, то это произошло единственно от женской мысли о тебе, мысли неразумной, мой Кола, потому что слава и опасность неразлучны, и я готова разделять последнюю так же, как и первую. Если когда-нибудь придет час испытания, то никто из твоих друзей не останется тебе таким верным, как это неустрашимое сердце в слабом теле.

– Я знаю это, моя Нина, знаю, – сказал Риенцо, вставая и ходя по комнате большими и скорыми шагами. – Теперь послушай меня. Тебе известно, что для безопасности в управлении моя политика и гордость состоит в том, чтобы управлять справедливо. Управлять справедливо – страшное дело, когда преступники – могущественные бароны. Нина, за открытое и дерзкое грабительство наш суд приговорил Мартино Орсини, барона ди Порто, к смерти. Тело его висит теперь на лестнице Льва.

– Страшный приговор, – сказала Нина, вздрогнув.

– Правда; но после его смерти тысячи бедных и честных людей могут жить спокойно. Но не это тревожит меня: бароны озлоблены этой казнью, считая для себя оскорблением, что закон не щадит и нобилей. Они восстанут, они возмутятся. Я предвижу бурю – но не знаю никаких средств предотвратить ее.

Помолчав немного, Нина сказала:

– Они дали торжественную присягу и не подымут против тебя оружия.

– К воровству и убийству клятвopеcтупление – незначительная прибавка, – отвечал Риенцо со своей саркастической улыбкой.

– Но народ верен.

– Да, но в гражданской войне (да предотвратят ее святые!) самые твердые бойцы те, у которых нет другого дома, кроме их брони, другого ремесла, кроме меча. Торговец не станет бросать свою торговлю каждый день по звуку колокола, а солдаты баронов готовы всякий час.

– Для того, чтобы быть сильной в опасные времена, власть должна казаться сильной. Не обнаруживая страха, ты можешь предотвратить причину его, – возразила Нина, которая, будучи призвана мужем на совет, показала ум, достойный этой чести.

– Моя собственная мысль! – отвечал Риенцо с живостью. – Ты знаешь, что половиной моей власти над этими баронами я обязан тому уважению, которое оказывают мне иностранные государства. Нобили должны скрывать свою злобу на возвышение плебея, когда из каждого города Италии послы коронованных особ ищут союза трибуна. С другой стороны, для того, чтобы быть сильным вне, надо казаться сильным у себя. Обширный план, который я начертал и, как бы чудом, начал приводить в исполнение, может тотчас рушиться, если за границей будут думать, что он вверен непрочной и колеблющейся власти. Этот план, – продолжал Риензи, помолчав и положив руку на мраморный бюст молодого Августа, – более велик, нежели план этого императора.

– Я знаю твоё великое намерение, – сказала Нина, заражаясь его энтузиазмом, – и если в исполнении его есть опасность, то что ж такого? Разве мы не преодолели величайшую опасность на первом шагу?

– Правда, Нина, правда! Небо (и трибун, всегда признававший в своей судьбе руку Промысла, набожно перекрестился) сохранит того, кому даровало эти высокие мечты, о будущем избавлении земли истинной церкви, о свободе и успехах ее чад! Я в этом уверен: уже многие из тосканских городов заключили трактаты об устройстве этой лиги; ни от кого, за исключением Иоанна ди Вико, я не слышал ничего, кроме прекрасных слов и лестных обещаний.

Прежде чем трибун окончил свои слова, послышался легкий стук в дверь, и этот звук, казалось, вдруг возвратил ему самообладание.

– Войдите, – сказал Риенцо, поднимая лицо, к которому медленно возвращалась обычная краска.

Офицер, приотворив дверь, сказал, что человек, за которым было послано, ждет, когда ему можно будет увидеть Риенцо.

– Иду. Сердце мое, – прошептал он Нине, – мы сегодня будем ужинать одни и поговорим побольше об этих вещах. – Сказав это, он вышел из комнаты в свой кабинет, находившийся в другой стороне приемной залы. Здесь он нашел Чекко дель Веккио.

– Что скажешь, мой смелый друг, – сказал трибун, принимая с удивительной легкостью вид дружеской фамильярности, с которой он всегда обращался с людьми низшего класса. – Ну что, мой Чекко? Ты мужественно ведешь себя, я вижу, в течение всех этих тягостных дней. Мы, работники – мы оба работаем, Чекко; мы слишком заняты для того, чтобы заболеть, как праздные люди, осенью или летом. Я послал за тобой, Чекко, потому что хотел знать, как смотрят твои товарищи-ремесленники на казнь Орсини.

– О, трибун, – отвечал кузнец, который теперь, освоившись с Риенцо, потерял большую долю своего прежнего благоговения к нему и смотрел на власть трибуна отчасти как на свое собственное произведение, – они без ума от вашей храбрости, оттого что вы наказываете преступников, несмотря на звания.

– Так я вознагражден. Но послушай, Чекко, это, может быть, навлечет на нас новые заботы. Каждый барон будет бояться, как бы в следующий раз не подвергнуться тому же, и они сделаются смелыми от страха, как крысы в отчаянии. Может быть, нам придется сражаться за доброе государство.

– От всего моего сердца, трибун, – отвечал Чекко угрюмо, – я по крайней мере не трус.

– Так поддерживай тот же самый дух на всех сходках твоих собратьев-ремесленников. Народ должен сражаться вместе со мною.

– Он будет сражаться, – отвечал Чекко, – он будет.

– Чекко! Этот город находится под духовным господством первосвященника, пусть будет так. Это честь, а не бремя. Но светское господство, мой друг, должно принадлежать единственно римлянам. Ступай к своим друзьям, обратись к ним, скажи, чтобы они не изумлялись и не пугались того, что будет, но поддерживали бы меня при случае.

– Я рад этому, – сказал кузнец, – потому что наши друзья в последнее время несколько стали отбиваться от рук и говорят...

– Что они говорят?

– Они говорят, что, правда, вы изгнали бандитов и обуздали баронов, и установили честное правосудие...

– Не довольно ли этого чуда для каких-нибудь двух или трех месяцев времени?

– Да, но они говорят, что этого было бы более, чем достаточно для какого-нибудь нобиля; но вы, возвысившись из народа и имея такие таланты и т. д., могли бы сделать больше. Уже три недели прошло с тех пор, как у них нет ничего нового, о чем бы потолковать. Но казнь Орсини сегодня несколько их позабавит.

– Хорошо, Чекко, хорошо, – сказал трибун, вставая, – у них скоро будет пища. Так ты думаешь, что они любят меня не совсем так, как любили три недели тому назад?

– Я не говорю этого, – отвечал Чекко, – но мы, римляне – нетерпеливый народ.

– К несчастью, да, – заметил трибун.

– Однако же они, без сомнения, будут довольно крепко к вам привязаны, лишь бы, трибун, вы не облагали их никакими новыми податями.

– Вот что! Но если бы для свободы было необходимо сражаться, а для войны понадобились бы солдаты, которым, конечно, следовало бы платить, то неужели народ не пожертвовал бы что-нибудь для своей собственной свободы, для справедливых законов и для безопасности жизни?

– Не знаю, – отвечал кузнец, почесывая затылок, словно несколько затрудняясь с ответом, – знаю только то, что бедные люди не хотят быть чересчур обременены налогами. Они говорят, что им с вами лучше, нежели с баронами, и потому они любят вас. Но рабочие, трибун, бедные люди с семьями должны заботиться о своих желудках. Только один человек из десяти имеет дело с судом. Только одного человека из двадцати убивают разбойники какого-нибудь барону но всякий ест и пьет, и чувствует тяжесть подати.

– Не может быть, чтобы ты так рассуждал, Чекко, – сказал Риенцо.

– Трибун, я честный человек, но я должен кормить большое семейство.

– Довольно, довольно, – сказал трибун с живостью, и задумчиво прибавил, обращаясь к себе самому, но громко:

– Мне кажется, мы были слишком расточительны. Эти зрелища должны кончиться.

– Как, – вскричал Чекко, – как, трибун? Вы хотите отказать бедным людям в празднике? Они работают довольно много, и их единственное удовольствие состоит в том, чтобы видеть ваши прекрасные зрелища и процессии, они

возвращаются с них домой и говорят: смотрите, наш-то побил всех баронов. Какое у него великолепиие!

– Так они не осуждают моего блеска?

– Осуждают? Нет, без него они стыдились бы за вас и считали бы *buono stato* негодной тряпкой.

– Ты говоришь резко, Чекко, но может быть благоразумно, да сохранят тебя святые! Не забудь, что я тебе сказал!

– Не забуду. Доброго вечера, трибун.

Оставшись один, трибун на некоторое время погрузился в мрачные и зловещие мысли.

– Я нахожусь среди магического круга, – сказал он, – если я выйду из него, то бесы разорвут меня в куски. Что я начал, то должен кончить. Но этот грубый человек очень хорошо показывает мне, какими инструментами я должен работать. Для меня падение ничего не значит, я уже достиг той высоты, от которой бы закружилась голова у многих; но со мною Рим, Италия, мир, правосудие, цивилизация – все упадет в прежнюю бездну.

Он встал и, пройдясь один или два раза по комнате, в которой со многих колонн смотрели на него мраморные статуи великих людей древности, отворил окно, чтобы подышать вечерним воздухом.

Площадь Капитолия была пуста, за исключением одинокого часового, но по-прежнему мрачно и грозно висело на высокой виселице тело патриция-разбойника и возле него был виден колоссальный образ египетского льва, который круто и мрачно подымался в неподвижную атмосферу.

«Страшная статуя, – думал Риенцо, – как много исповеданных тайн и торжественных обрядов видела ты у своего родного Нила, прежде чем рука римлянина перенесла тебя сюда, древнюю свидетельницу римских преступлений!.. Странно, но когда я смотрю на тебя, то чувствую, что ты имеешь как будто какое-то мистическое влияние на мою судьбу. Возле тебя меня приветствовали как республиканского властителя Рима, возле тебя находится мой дворец, мой трибунал, место моего правосудия, моих триумфов, моей пышности. К тебе обращаются мои глаза с моей парадной постели, и если мне суждено умереть во власти и мире, то, может быть, ты будешь последним предметом, который увидят мои глаза. А если я паду жертвой...» – Он остановился, вздрогнув от пришедшей в голову мысли, и подойдя к углублению комнаты, отдернул занавес, которым были прикрыты распятие и небольшой стол, где лежала библия и монастырские эмблемы черепа и костей, важные и неопровержимые свидетели непостоянства жизни. Перед этими священными наставниками, способными смирить и возвысить,

этот гордый и предприимчивый человек стал на колени. Он поднялся с более легкой поступью и более светлым лицом.

III НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ ЛАГЕРЬ

Между тем как Риенцо составлял свои планы об освобождении Рима от чужеземного ига, может быть, вместе с послами тосканских государств, которые гордились своей родиной и любили свободу, а потому были способны понимать и даже разделять их, бароны втайне составляли планы восстановления своего могущества.

В одно утро главы домов Савелли, Орсини и Франджипани сошлись во дворце Стефана Колонны. Их разговор был гневен и горяч, принимая тон решимости или колебания, смотря по тому, что преобладало в данную минуту – негодование или страх.

– Вы слышали, – сказал Лука ди Савелли своим нежным женским голосом, – трибун объявил, что послезавтра он примет звание рыцаря и ночь перед тем проведет в бдении в Латеранской церкви. Он удостоил меня приглашением разделить его бодрствование.

– Да, слышал. Вот негодяй! Что значит эта новая фантазия? – сказал грубый князь Орсини.

– Он хочет иметь право кавалера делать вызовы нобилям; вот все, что я могу придумать. Неужели Риму никогда не надоест этот сумасшедший?

– Рим больше его может назваться сумасшедшим, – сказал Лука ди Савелли, – но, кажется, трибун, в своем сумасбродстве, сделал одну ошибку, которой мы хорошо можем воспользоваться в Авиньоне.

– А! – вскричал старый Колонна. – Мы должны действовать именно так; играя здесь пассивную роль, будем сражаться в Авиньоне.

– Вот его ошибка, в немногих словах: он приказал, чтобы ему была приготовлена ванна в святой порфиновой вазе, в которой некогда купался император Константин.

– Оскорбление святыни! Оскорбление святыни! – вскричал Стефан. – Этого довольно, чтобы оправдать его отлучение. Папа узнает об этом. Я немедленно отправлю гонца.

– Лучше подождать и посмотреть на церемонию, – сказал Савелли, – это торжество окончится каким-нибудь еще большим безумством, будьте в этом уверены.

– Слушайте, господа, – скачал угрюмый князь Орсини, – вы стоите за отсрочку и осторожность; я – за быстроту и отвагу; кровь моего родственника громко вопиет и не терпит переговоров.

– Что же делать? – сказал нежноголосый Савелли, – сражаться без солдат против двадцати тысяч бешеных римлян? Я отказываюсь.

Орсини понизил свой голос до выразительного шепота.

– В Венеции, – сказал он, – с этим временщиком можно бы сладить без армии. Неужели в Риме ни один человек не носит кинжала?

– Нет, – сказал Стефан, который по натуре был благороднее и честнее своих товарищей и, оправдывая всякое другое сопротивление трибуну, чувствовал, что его совесть возмущается против убийства, – этого не должно быть, вы увлекаетесь своей горячностью.

– И притом, кого мы можем найти для этого? Почти ни одного немца не осталось в городе, а довериться какому-нибудь римлянину, значило бы поменяться местами с бедным Мартино.

– Да примет его небо, к которому он теперь ближе, чем был, когда-нибудь прежде, – сказал Савелли.

– Убирайся со своими шутками! – вскричал Орсини в сердцах. – Шутить о подобном предмете! Клянусь св. Франциском. Так как ты любишь подобное остроумие, то я бы хотел, чтобы ты оставил его при себе. Кажется, за столом трибуна ты смеялся его грубым остроумиям так сильно, что едва не подавился.

– Лучше смеяться, чем дрожать, – возразил Савелли.

– Как! Ты смеешь говорить, что я дрожу? – вскричал барон.

– Тише, тише, – сказал ветеран Колонна с нетерпеливым достоинством. – Мы теперь не в таких праздных обстоятельствах, чтобы спорить между собой. Будьте снисходительны, господа.

– Синьор, – сказал саркастический Савелли, – вы благоразумны оттого, что в безопасности. Ваш дом скоро приютится под кровлей дома трибуна, и когда синьор Адриан возвратится из Неаполя, то сын содержателя гостиницы сделается братом вашего родственника.

– Вы могли бы избавить меня от этого попрека, – сказал старый нобиль с некоторым волнением. – Небу известно, как раздражает меня мысль об этом; однако же я бы желал, чтобы Адриан теперь был с нами. Его слово много значит для того, чтобы удерживать трибуна в пределах умеренности и руководить моими поступками, потому что горячность помрачает мой рассудок. Со времени его отъезда мы, кажется, стали упрямы, не сделавшись сильнее. Если бы даже мой родной сын женился на сестре трибуна, то и тогда бы я боролся за старое устройство государства, лишь бы видел, что эта борьба не будет стоить мне жизни.

Савелли, который шептался в стороне с Ринальдом Франджипани, теперь сказал:

– Благородный князь, послушайте меня. Приближающийся союз вашего родственника, ваш почтенный возраст, ваши хорошие отношения с первосвященником заставляют вас быть осторожнее, чем мы. Предоставьте нам ведение предприятия и будьте уверены в нашем благоразумии.

Маленький мальчик Стефанелло, к которому впоследствии перешло по наследству представительство прямой линии дома Колоннов и которого читатель еще увидит в числе действующих лиц этого рассказа, играл у колен своего деда; он быстро взглянул на Савелли и сказал:

– Мой дед слишком благоразумен, а вы слишком боязливы; Франджипани слишком уступчив, а Орсини слишком похож на раздраженного быка. Мне бы хотелось быть одним или двумя годами постарше.

– А что бы ты сделал, мой маленький порицатель? – спросил мягкий Савелли, закусив свою смеющуюся губу.

– Я пронзил бы трибуна моим собственным кинжалом и тогда – в Палестрину!

– Из яйца выйдет славная змея, – проговорил Савелли.

– Но почему ты так сердит на трибуна, мой змееныш?

– Потому что он позволил одному дерзкому купцу арестовать моего дядю Агапета за долг. Этому долгу уже десять лет, и хотя говорят, что ни у одной фамилии в Риме нет столько долгов, как у Колоннов, но в первый раз я слышу, что какому-нибудь кредитору низкого звания позволили требовать уплаты долга не на коленях и не снимая шапки. И я говорю, что не хочу быть бароном, если и со мной будут поступать с такой же дерзостью.

– Дитя мое, – сказал старый Колонна, смеясь от души, – я вижу, что наше благородное сословие будет довольно безопасно в твоих руках.

– И, – продолжал мальчик, становясь смелее от этого одобрения, – если бы, заколов трибуна, я еще имел время, то я бы очень желал нанести другой удар.

– Кому? – спросил Савелли, заметив, что мальчик остановился.

– Моему кузену Адриану. Стыд ему: он вздумал жениться на женщине, которая по своему происхождению едва годна в любовницы Колонны!

– Поди играть, дитя, поди играть, – сказал старый Колонна, отталкивая от себя мальчика.

– Полно болтать, – вскричал Орсини грубо.

– Скажи мне, старый синьор, вот что: входя сюда, я видел одного старого друга (одного из ваших прежних наемников), который выходил из дворца; могу я спросить, зачем он прислан?

– А, да, посол Фра Мореале. Я писал рыцарю, упрекая его за то, что он оставил нас во время злополучного возвращения из Корнето, и намекая, что в настоящую минуту пятьсот пикинеров могли бы получить хорошую плату.

– Ну, – сказал Савелли, – какой же ответ?

– Хитрый и уклончивый: Мореале рассыпается в комплиментах и добрых желаниях; но говорит, что он теперь служит венгерскому королю, дело которого находится пред судом Риенцо, что он не может оставить свое настоящее знамя, что в Риме теперь такое равновесие между патрициями и плебеями, что какая бы из двух этих партий ни захотела иметь постоянное преобладание, она должна будет призвать подесту, и что только это звание годится для него.

– Монреаль наш подеста! – вскричал Орсини.

– А почему бы и нет? – сказал Савелли. – Разве подеста благородного происхождения не стоит плебея трибуна? Но я думаю, мы можем обойтись без того и другого. Колонна, этот посол Фра Мореале выехал из города?

– Я думаю.

– Нет, – сказал Орсини, – я встретил его у ворот. Я давно его знаю: это Родольф, саксонец (некогда наемный солдат Колонны). В доброе старое время от него много осталось вдов среди моих подданных. Он теперь несколько в другом наряде, однако же я узнал его и, подумав, что он может еще сделаться нашим другом, просил его дожидаться меня в моем палаццо.

– Вы хорошо сделали, – сказал Савелли в раздумье, и его глаза встретились с глазами Орсини. Соповещение, в котором много было сказано и мало решено, скоро кончилось; но Лука ди Савелли, подождав у портика, просил Франджипани и других баронов отправиться во дворец Орсини.

– Старый Колонна, – сказал он, – почти находится в периоде второго детства. Мы живо решим без него и вместо него можем уладить дело с его сыном.

Это было правдивым предсказанием: получасового совещания с Родольфом Саксонским было достаточно для того, чтобы мысль превратилась в предприятие.

IV

НОЧЬ И ЕЕ СОБЫТИЯ

В следующие сумерки Рим был призван к великолепнейшему зрелищу, какое только видел императорский город со времени падения цезарей.

Римский народ присваивал себе особенную привилегию жаловать своих граждан орденом рыцарства. За двадцать лет перед тем один из Колоннов и один из Орсини удостоились этой народной почести. Риенцо, смотревший на нее как на прелюдию более важной церемонии, потребовал от римлян такого же отличия. Все, что было в Риме благородного, прекрасного и доблестного, шло длинной процессией от Капитолия к Латерану. Впереди ехало бесчисленное множество всадников со всех соседних частей Италии в убранстве, вполне приличном для этого случая. За ними следовали музыканты всякого рода; трубы были серебряные. Юноши, несшие украшенную золотом сбрую рыцарского боевого коня, предшествовали знатнейшим римским матронам. Любовь этих последних к театральности и, может быть, поклонение торжествующей славе, которая в глазах женщин оправдывает многие обиды, заставляли их забывать унижение их мужей. Среди них находились Нина и Ирена, затмевавшие всех остальных. Затем следовали трибун и папский наместник, окруженные всеми знатными синьорами города, которые тоже подавляли в себе злобу, мщение и презрение и спорили друг с другом за право быть как можно ближе к царю настоящего дня. Только мужественный старик Колонна держался поодаль; он следовал на некотором расстоянии и был одет с изысканной простотой. Но ни лета, ни сан, ни прежняя слава, военная и государственная, не могли вызвать в адрес этого старика с аристократическим видом ни одного из тех криков, которыми приветствовала толпа самого ничтожного барона, удостоившегося ласки великого трибуна. Савелли, самый услужливый из этой раболепной свиты, ближе всех следовал за Риенцо; впереди трибуна шли два человека; один нес обнаженный меч, другой – *pendone*, или знамя, обыкновенно присваиваемое королевскому сану. Сам трибун был одет в длинный плащ из белого атласа, богато вышитый золотом; на ее нежном блеске (*miri candoris*) в особенности останавливается историк. Грудь Риенцо была покрыта множеством тех мистических символов, о которых я упоминал и значение которых было в точности известно, может быть, только самому трибуну. В его темных глазах и на широком спокойном лбу, где, казалось, почивала мысль, как почивает буря. Можно было заметить ум, уступивший казалось, своего владельца окружающему великолепию; но по временам трибун как бы пробуждался и разговаривал с Раймондом или Савелли.

– Это замысловатая игра, – сказал Орсини, приостанавливаясь и обращаясь к старому Колонне, – но она может кончиться трагически.

– Я думаю, что может, – отвечал старик, – если трибун услышит тебя.

Орсини поблел.

– Нет, нет, – сказал он, – трибун никогда не сердится за слова; он говорит, что смеется над выражением нашей ярости. Не далее как вчера, какой-то негодяй передал ему, что сказал о нем один из Аннибальди. Слова были такого рода, что настоящий кавалер убил бы Аннибальди, но Риенцо послал за ним и сказал: друг мой, прими этот кошелек с золотом, придворным острякам надо платить.

– И Аннибальди принял деньги?

– Нет Трибуну понравился его ум, и он пригласил его к себе на ужин. Аннибальди говорит, что ему никогда не случалось провести вечер веселее, и что он теперь вовсе не удивляется, если его родственник Рикардо так любит этого шута.

Когда процессия дошла до Латерана, Лука ди Савелли тоже отступил назад и начал шептаться с Орсини, Франджиани, и некоторые другие нобили обменялись значительными взглядами. Риенцо, входя в священное здание, где, согласно обычаю, он должен был провести ночь, охраняя свои доспехи, попрощался с толпой, требуя, чтобы она пришла утром «услышать вещи, которые, как он надеялся, приятны и земле, и небу».

Огромная толпа приняла эти слова с любопытством и радостью, а те, которых несколько подготовил Чекко дель Веккио, приветствовали их как предвестие неперемной решимости своего трибуна. Собрание разошлось в удивительном порядке и спокойствии. Как замечательный факт, приводилось то, что в такой большой толпе, состоявшей из людей всех партий, никто не обнаружил своеволия, никто не затеял ссоры. Остались только некоторые бароны и кавалеры, в том числе Лука ди Савелли, изящная светскость которого и саркастический юмор нравились трибуну, да еще несколько второстепенных пажей и слуг. За исключением одинокого часового у портика, обширная дворцовая площадь, Базилика и фонтан Константина представляли безлюдную пустоту, озаренную меланхолическим лунным светом. В церкви, согласно обычаю времени и обряда, потомок тевтонских королей получил орден св. Духа. Его гордость или какое-нибудь суеверие, столько же безрассудное, хотя и более извинительное, внушили ему мысль выкупаться в порфирной вазе, которую нелепая легенда присваивала Константину, и это, как предсказал Савелли, стоило ему дорого. По окончании положенных церемоний, его оружие было помещено в церкви среди колонн св. Иоанна. Здесь же была приготовлена парадная постель[19].

Бывшие с трибуном бароны, пажи и камердинеры удалились в маленькую боковую капеллу, находившуюся в здании церкви, и Риенцо остался один.

Лампа, поставленная возле его постели, спорила с томными лучами месяца, который сквозь продолговатые окна бросал на столбы и проходы свой «тусклый таинственный свет». Святость места, торжественность часа и уединенное безмолвие вокруг были хорошо рассчитаны на то, чтобы усилить пламенное и возбужденное настроение души этого сына фортуны. Много дум пронеслось в его голове, пока, наконец, он не бросился в постель, утомясь своими размышлениями. Нехорошим предзнаменованием, о котором не пренебрег упомянуть важный историк, было то, что когда Риенцо лег на кровать, вновь сделанную для этого случая, то часть ее опустилась под ним. Сам он был встревожен этим и соскочил, побледнев; но, как бы устыдясь своей слабости, он после минутной паузы снова успокоился и лег, задернув драпировку вокруг себя.

Лучи месяца становились все слабее и слабее по мере того, как проходило время; резкое различие между светом и тенью на мраморном полу скоро исчезло. Вдруг из-за колонны, в самом дальнем конце здания, вышла странная тень; она скользила, она двигалась, но без отголоска, от столба к столбу, и, наконец, остановилась за колонной, которая ближе всех других была к постели трибуна.

Тьма сгущалась все более и более вокруг; тишина, казалось, становилась глубже, месяц зашел, и за исключением слабого света лампы возле Риенцо, черная ночь царствовала над этой торжественной и фантастической сценой.

В одной из боковых капелл, которая, вследствие множества перемен, бывших потом с этой церковью, вероятно давно уже разрушена, находились, как я уже сказал, Савелли и некоторые служители, удержанные трибуном. Один Савелли не спал; он сидел, затаив дыхание и прислушиваясь; высокие свечи в капелле делали еще более поразительными быстрые перемены в его лице.

– Теперь желательно, – сказал он, – чтобы негодяй не промахнулся! Подобного случая никогда больше не представится! Он силен и ловок, но и трибун крепок. Когда дело будет сделано, то мне мало будет нужды до того, уйдет или не уйдет убийца. Если не уйдет, то мы должны убить его: мертвые не говорят. Но и в самом худшем случае, кто может мстить за Риенцо? Другого Риенцо нет! Мы и Франджипани захватываем Авентин. Колонны и Орсини – другие части города, и тогда нам можно будет смеяться над безумной чернью, не имеющей руководителя. Но если наше намерение откроется... – и Савелли, у которого, к счастью для его врагов, нервы не были так сильны, как воля, закрыл лицо и задрожал. – Кажется, я слышу шум! Нет! Не ветер ли это? Тс, это, должно быть, старый Викко де Скотто ворочается в своей кольчуге! Все молчит, мне не нравится это молчание! Ни крика – ни

звук! Уж не обманул ли нас разбойник? Или он не мог взобраться на окно? Это ребенок может сделать. Или его заметил часовой?

Время шло. Сквозь тьму медленно прокрадывался первый луч дневного света, когда Савелли слышалось, будто бы дверь церкви затворилась. Незнание ему сделалось невыносимым. Он тихонько вышел из капеллы и приблизился к месту, откуда видна была кровать трибуна; все было безмолвно.

– Может быть, это безмолвие смерти, – сказал Савелли, идя назад.

Между тем трибун напрасно старался сомкнуть глаза. Кроме толпившихся в его голове мыслей, ему мешало спать неудобное положение, которое он поневоле принял. Часть кровати у подушки осела, между тем как другие части ее остались крепкими, и потому он переменял натуральное положение и лег головой к ногам постели. Таким образом свет лампы, хотя и заслоненный драпировкой, находился против него. Досадуя на свою бессонницу, он, наконец, подумал, что сну его мешает тусклый и дрожащий свет лампы, и хотел встать, чтобы отодвинуть ее подальше, как вдруг увидел, что занавеска с другого конца постели тихо приподнялась. Испуганный, он остался неподвижен. Не успел он вздохнуть в другой раз, как между светом и постелью появилась темная фигура, и он услышал удар кинжала, направленный на ту часть постели, где лежала бы его грудь, если бы его не спас случай, показавшийся ему зловещим, Риенцо не стал ждать другого, более удачного удара. Пока убийца был еще в наклонном положении, двигаясь ощупью при неверном свете, он бросился на него всей тяжестью и силой своего широкого и мускулистого стана вырвал у него стилет и, толкнув его на кровать, уперся в грудь его коленом. Кинжал поднялся, сверкнул, опустился, убийца рванулся в сторону, и оружие только пронзило правую руку его. Трибун поднял клинок для более смертоносного удара.

Попавшийся таким образом убийца был человеком, привычным ко всем видам и формам опасности; и в эту минуту он не потерял присутствия духа.

– Остановитесь! – сказал он. – Если вы убьете меня, то умрете сами. Пощадите меня, и я спасу вас.

– Злодей!

– Тс! Не так громко, иначе вы разбудите своих слуг, и некоторые из них могут сделать то, что не удалось мне. Пощадите меня, и я открою нечто, более важное, чем моя жизнь, только не зовите, не говорите громко, предупреждаю вас!

Трибун чувствовал, что сердце его успокоилось. В этом уединенном месте, вдали от боготворящего народа, от преданных ему телохранителей, в сообществе ненавидящих его баронов, разве не мог дать обманувшийся

убийца спасительный совет? Эти слова и это колебание, казалось, вдруг изменили взаимное положение обоих и оставили победителя во власти убийцы.

– Ты думаешь обмануть меня, – сказал Риенцо нерешительным шепотом, который показывал приобретенное злодеем преимущество, – ты хочешь, чтобы я тебя отпустил, не призывая своих слуг. Для чего? Для того, чтобы ты в другой раз покусился на мою жизнь?

– Ты испортил мою правую руку и отнял у меня мое единственное оружие.

– Как ты пришел сюда?

– Меня пропустили.

– Какой был повод этого покушения?

– Наущение других.

– Если я прошу тебя...

– То ты узнаешь все!

– Встань, – сказал трибун, освобождая пленника, впрочем с большой осторожностью и все еще держа его одной рукой за плечо, а другой приставив кинжал к его горлу. – Мой часовой пустил тебя? Кажется, церковь имеет только один вход.

– Он не впускал; иди за мной, и я скажу тебе больше.

– Собака! У тебя есть сообщники?

– Если есть, то твой нож у моего горла.

– Ты хочешь убежать?

– Убежал бы, если бы мог.

Риенцо при тусклом свете лампы пристально взглянул на убийцу. Его суровое лицо, грубая одежда и варварский выговор показались трибуну достаточным доказательством того, что он не более как наемник других.

– Так покажи мне, откуда и как ты вошел, – сказал он, – при малейшем подозрении моем ты умрешь. Возьми лампу.

Злодей кивнул головой. Левой рукой он взял лампу, как ему было приказано, кровь лилась у него из правой, на плече его лежала рука Риенцо, и таким образом он без шума пошел по церкви и достиг алтаря, влево от которого находилась маленькая комната для священника. Он направился к ней. Риенцо на мгновение оробел.

– Берегись, – прошептал он, – малейший признак обмана, и ты будешь первой жертвой.

Убийца опять кивнул головой, не останавливаясь. Они вошли в комнату, и тогда странный проводник Риенцо указал на открытое окно.

– Вот мой вход, – сказал он, – и если вы позволите, мой выход.

– Лягушка не так легко выбирается из колодца, как попадает туда, – отвечал Риенцо, улыбаясь. – Теперь я должен звать моих телохранителей... Так что мне с тобой делать?

– Пустите меня, и я приду к вам завтра; и если вы хорошо мне заплатите и обещаете, что не лишите меня жизни и не сделаете мне никакого телесного вреда, то я предаю в вашу власть врагов ваших и тех, кто подучил меня.

Риенцо не мог удержаться от усмешки при этом предложении, потом, приняв опять серьезный вид, возразил:

– А что если я призову своих служителей и отдам тебя в их руки?

– Ты отдашь меня именно этим врагам и подстрекателям; в отчаянии, как бы я не выдал их, они перережут горло мне или тебе.

– Кажется, плут, я тебя видел прежде.

– Да. Я не стыжусь своего имени и отечества. Я Родольф из Саксонии.

– Припоминаю: слуга Вальтера де Монреала. Так это – он тебя научил?

– Нет! Этот благородный рыцарь презирает любое оружие, кроме меча, которым он действует открыто, убивая собственной рукой своих неприятелей. Только ваши жалкие презренные трусы – итальянцы пользуются храбростью и нанимают других.

Риенцо промолчал. Он выпустил пленника из рук и стоял против него, то вглядываясь в его лицо, то опять погружаясь в думу. Наконец, окинувши взглядом маленькую комнату, он заметил что-то вроде чулана, в котором хранились церковные одежды и некоторые вещи, употребляемые при богослужении. Этот чулан помог ему выпутаться из дилеммы: он указал на него.

– Здесь, Родольф Саксонский, – сказал он, – ты проведешь остаток ночи, это небольшая эпитимия за твое покушение, а завтра ты откроешь все, если дорожишь жизнью.

– Слушайте, трибун, – отвечал саксонец угрюмо, – моя свобода в вашей власти, но мой язык, моя жизнь – нет. Если я соглашусь быть запертым в этой клетке, то вы должны поклясться на рукоятке кинжала, который у вас теперь в руках, что после того, как я расскажу все, что знаю, вы отпустите меня на свободу.

– Будь чистосердечен, и я клянусь Богом и его святыми, что через двенадцать часов после твоего признания ты выйдешь и цел и невредим за стены Рима.

– Этого мне довольно. – С этими словами Родольф вошел в чулан.

Риенцо взял свое оружие и лампу, затворил дверь, задвинул ее длинным тяжелым засовом снаружи и пошел к своей постели, с негодованием размышляя об измене, которой он так счастливо избежал.

При первом сером луче рассвета он вышел из большой двери церкви, позвал часового, который принадлежал к числу его собственной стражи, и потихоньку велел ему, пока еще другие не проснулись, отвести пленника в одну из тайных тюрем Капитолия.

– Будь молчалив, – сказал он, – никому ни слова об этом; исполни мое приказание, и ты получишь повышение. Сделав это, поди к советнику Пандульфо ди Гвидо и вели ему прийти ко мне сюда прежде, чем соберется толпа.

Потом, велев часовому снять свои тяжелые башмаки, он повел его через церковь и отдал Родольфа под его присмотр. Через несколько минут после того, как они ушли, находившиеся в капелле люди услышали его голос, и скоро Риенцо был окружен своей свитой.

Он уже стоял на полу, завернувшись в широкую мантию, подбитую мехом, и его пронизательный взгляд тщательно рассматривал лицо каждого подходившего к нему человека. Два барона из фамилии Франджипани обнаружили некоторые признаки замешательства и затруднения, от которого они скоро оправились при радушном приветствии трибуна.

Но черты Савелли, несмотря на всю его хитрость, не могли не выдать ужаса его души даже самому равнодушному взору; и когда он почувствовал устремленный на него пронизательный взгляд трибуна, то все в нем задрожало. Один Риенцо, казалось, не заметил его смущения, и когда Вико ди Скотто, старый рыцарь, из рук которого он получил свой меч, спросил его, как он провел ночь, то он весело отвечал:

– Хорошо, хорошо, мой достойный друг! Над новопосвященным рыцарем всегда бодрствует какой-нибудь ангел. Синьор Лука ди Савелли; я боюсь, что вы дурно спали: вы бледны. Но это ничего! Наш сегодняшний пир скоро восстановит правильное обращение вашей крови.

– Крови, трибун! – сказал ди Скотто, невинный в заговоре. – Ты говоришь о крови, и вот на полу видны крупные кровавые капли, которые еще не высохли.

– Фи, старый герой, ты уже выдал мою неловкость! Я укололся своим собственным кинжалом, раздеваясь. Слава Богу, на его клинке не было яда!

Франджипани обменялись взглядами, Лука ди Савелли прислонился к колонне, чтобы не упасть, а остальные, казалось, были немного удивлены и спокойны.

ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЗЫВ

Громко и резко звучал колокол большой Латеранской церкви, когда к ней стекалась огромная толпа, еще более многочисленная, чем та, какая собралась накануне. Назначенные для сохранения порядка офицеры с трудом расчищали дорогу для баронов и посланников. Едва были пропущены эти благородные посетители, толпа, сомкнув свои ряды, стремительно хлынула в церковь и направилась к капелле Бонифация VIII. Там, заполнив все щели и загородив вход, более счастливые из этой сжатой массы увидели трибуна, окруженного блистательным двором, который он составил своим гением и покорил своим счастьем. Наконец, когда в церковном здании раздалась торжественная и священная музыка, предшествующая мессе, трибун выступил вперед, и гром музыки еще усилился от всеобщего мертвого молчания слушателей.

– Да будет известно, – сказал он медленно и с расстановкой, – что в силу власти и юрисдикции, которую римский народ вверил нам в общем совете, а первосвященник утвердил, мы, признательные этому дару и благодати св. Духа, воином которого мы теперь сделали, и благосклонности римского народа, объявляем, что Рим есть столица мира и основатель христианской церкви и что всякое государство, всякий город и народ в Италии отныне свободны. Во имя этой свободы и той же священной власти, мы объявляем, что избрание, юрисдикция и престол римской империи принадлежат Риму и римскому народу и всей Италии. Поэтому мы зовем и требуем знаменитых государей – Людовика, герцога Баварского и Карла, короля Богемского, из которых первый желает получить титул императора Италии, лично явиться пред нами или пред другими должностными лицами Рима для защиты и доказательства их прав в течение времени от сего дня до дня пятидесятницы. Мы призываем также с назначением того же срока герцога саксонского, князя Бранденбургского и всякого другого государя, князя или прелата, который утверждает право электора на императорский престол, – право, которое, как видно из истории, с древних и незапамятных времен принадлежало единственно римскому народу. Мы делаем это для защиты нашей гражданской свободы, нисколько не в ущерб духовной власти церкви, первосвященника и священного коллегияума. Герольд, объяви позыв вне церкви подробнее и формальнее по данной тебе бумаге.

Когда Риенцо закончил эту прокламацию о свободе Италии, то посланники тосканских и некоторых других свободных государств прошептали свое одобрение, а послы земель, принимавших сторону императора, посмотрели друг на друга с безмолвным и смущенным

изумлением. Римские бароны молчали, опустив глаза; только на престарелом лице Стефана Колонны показалась полупрезрительная, полуторжествующая улыбка. Но масса граждан была очарована словами, открывавшими великое зрелище освобождения Италии; и, чувствуя к власти и счастью трибуна благоговение, приличное какому-нибудь сверхъестественному существу, они не подумали о том, какими средствами может быть выполнено его намерение.

Трибун обернулся и увидел, что папский викарий изумлен, взволнован и хочет говорить. Рассудок и проницательность тотчас же к нему возвратились. Решась заглушить опасное непризнание своей смелости со стороны папской власти в лице Раймонда, он быстро дал знак музыкантам, и торжественная и звучная песнь священной церемонии лишила епископа орвиетского всякого случая к самооправданию или к возражению.

По окончании службы Риенцо прошептал епископу:

– Мы постараемся удовлетворить вас нашим объяснением. Вы пируете с нами в Латеране. Вашу руку. – И он не выпускал руки епископа и не давал ему говорить с другими до тех пор, пока не раздался громовой звук горнов и труб, барабанов и кимвалов. И среди стечения народа, какое могло приветствовать на этом самом месте крещение Константина, трибун и его нобили вошли в большие ворота Латерана, тогдашнего дворца вселенной.

VI ПИР

Пир этого дня был великолепнее всех, бывших до тех пор. Слова Чекко дель Веккио, так хорошо обрисовавшие характер его сограждан, которые еще и теперь, хотя и не в такой крайней степени, отличаются любовью к пышности и великолепным зрелищам, не были потеряны для Риенцо. Один пример из этого всеобщего пира (правда, рассчитанного более на народ, чем на высшие классы), может показать господствовавшее на нем изобилие. С утра до вечера потоки вина лились подобно фонтану из ноздрей коня большой конной статуи Константина. Обширные залы латеранского дворца, открытые для всех званий, были щедро уставлены яствами; в играх, забавах и шутовских зрелищах не было недостатка.

В самом разгаре пира явился паж трибуна, который, пройдя среди пирующих, шепнул что-то некоторым из нобилей; каждый из них при этом низко поклонился, изменяясь однако же в лице.

– Синьор Савелли, – сказал Орсини, дрожа, – будьте мужественнее. Может быть, это честь, а не мщение. Я думаю, что вам сказано то же, что и мне.

– Он.. он.. просит.. просит меня на ужин в Капитолий, дру..жеское собрание (черт бы побрал его дружбу!) после шумного дня.

– Это же сказано и мне, – вскричал Орсини, обращаясь к одному из Франджипани.

Получившие приглашение скоро оставили пир и, собравшись группой, начали с жаром дискутировать. Некоторые предлагали бегство, но бежать значило бы сознаться. Их число, звание, продолжительная и освященная обычаем безнаказанность ободрили их, и они решились повиноваться. Только старый Колонна, который из числа приглашенных на ужин баронов один был невиновен, отказался от приглашения.

– Вот еще! – сказал он брюзгливо. – Довольно и этого пира для одного дня! Скажите трибуну, что я буду уже спать прежде, чем он сядет ужинать. Старость не может выдержать этой горячки пирования.

Когда Риенцо встал, чтобы уйти, что он сделал рано, так как пир начался еще утром, Раймонд, нетерпеливо желая вырваться и поговорить с некоторыми своими друзьями из духовенства насчет донесения, которое он должен был сделать первосвященнику, начал прощаться, но безжалостный трибун сказал ему со значением:

– Монсиньор, мы имеем в вас надобность по одному не терпящему отлагательства делу в Капитолии. Нас ждет заключенный... суд... и может быть, – прибавил он, нахмутив таинственно брови, – казнь! Пойдемте.

– Право, трибун, – запинаясь, проговорил добрый епископ, – это странное время для казни!

– Последняя ночь была еще страннее. Идем.

В тоне этих последних слов было нечто такое, чему Раймонд не мог противиться. Он вздохнул, прошептал что-то про себя, одернул свою одежду и последовал за трибуном. Когда Риенцо проходил через залы, то все вставали. Он отвечал на их привет улыбками и словами искренней вежливости и ласки.

– Монсиньор префект, – сказал он мрачному и угрюмому человеку в черном бархатном одеянии, могущественному и надменному Иоанну ди Вико, – мы радуемся, видя в Риме такого благородного гостя. Мы в непродолжительном времени должны отплатить за эту вежливость, посетив вас в вашем дворце. И вы, синьор, – прибавил Риенцо, обращаясь к послу из Тиволи, – не откажите нам в приюте среди ваших рощ и водопадов, куда мы

явимся прежде сбора винограда. – Когда, постояв с минуту или с две, он пошел далее, то увидал высокую фигуру старого Колонны.

– Синьор, – сказал Риенцо, низко кланяясь, но вместе с тем придавая некоторую твердость своим словам, – вы не забудете посетить нас в этот вечер?

– Трибун... – начал было Колонна.

– Мы не принимаем никаких извинений, – прервал трибун поспешно и пошел дальше.

Он остановился на несколько минут возле небольшой группы просто одетых людей, которые смотрели на него с напряженным интересом: они тоже были учеными и в возвышении трибуна видели новое подтверждение удивительной и внезапной власти, которую ум начал принимать над грубой силой. Вдруг, очутившись в сообществе сродных умов, трибун сбросил всю свою величавость. Может быть, он прошел бы свое жизненное поприще счастливее, а посмертная слава его была бы несомненнее, если бы они разделяли его цели так же, как они разделяли его наклонности!

– А, *carissime!* – сказал он одному из них, взяв его за руку. – Как подвигается твое толкование надписей на древних мраморных плитах?

– Они почти разобраны.

– Рад слышать это! Прошу тебя, говори со мной как в старину. Завтра – нет, даже не послезавтра, а на следующей неделе – мы проведем спокойный вечер. Милый поэт, ваша ода перенесла меня во времена Горация, но, мне кажется, мы делаем нехорошо, отказываясь от отечественного для латыни. Вы качаете головой? Впрочем, и Петрарка разделяет ваши мысли: его величественная эпопея движется гигантскими шагами; как я слышал от его друга и поэта: вот он. Мой Делиус, кажется так вас называет Петрарка? Как мне выразить мою радость по случаю его ободрительного, одушевляющего письма? Увы, он не ошибается в моих намерениях, не преувеличивает мое могущество. Об этом после.

Легкая тень накрыла лицо трибуна при этих словах. Он пошел дальше, и длинный ряд нобилей и князей с обеих сторон возвратил ему самообладание и достоинство, которое он сбросил с себя, говоря со своими прежними собратьями. Так он пробрался через толпу и наконец скрылся.

– Он храбро ведет себя, – сказал один, когда гости опять сели. – Заметили ли вы его выражение – мы? Царская манера!

– Но надо признать, что владеет он ею хорошо, – сказал посол от Висконти, – быть менее гордым – значило бы раболепствовать перед этим надменным двором.

– Почему это, – спросил один профессор из Болоньи, – трибуна называют гордым? Я вовсе не вижу в нем гордости.

– Я тоже, – сказал богатый ювелир.

Но едва кончились эти церемонии, и Риенцо сел на лошадь, его ласковые манеры сменились грозной и зловещей суровостью.

– Викарий, – сказал он отрывисто епископу, – нам очень может понадобиться ваше присутствие. Знайте, что в Капитолии заседает теперь совет для суда над одним убийцей. В эту ночь я только по милости неба не погиб от кинжала наемного злодея. Знаете вы что-нибудь об этом?

И Риенцо так быстро повернулся к епископу, что бедный канонист чуть не упал с лошади от изумления и испуга.

– Я! – вскричал он.

Риензи улыбнулся.

– Нет, мой добрый епископ! Я вижу, что вы не рождены быть убийцей. Послушайте. Чтобы не оказаться судьей в собственном моем деле, я приказал допросить арестанта без меня. Надеюсь, вы заметили, что во время нашего банкета мне подано было письмо?

– Да, и вы изменились в лице.

– И было отчего: при допросе он сознался, что девять из самых высших вельмож Рима подучили его.

Они нынешнюю ночь ужинают со мной!

Вперед, викарий!

Книга V КРИЗИС

I СУД ТРИБУНА

Немногие слова трибуна Стефану Колонне, хотя и усилили бешенство гордого старого нобиля, были таковы, что по размышлении он счел неблагоприятным отказаться от приглашения. Итак, в назначенный час он

явился в одну из зал Капитолия вместе с блестящим собранием вельмож. Риенцо принял их более чем с обычной любезностью.

Они сели за великолепный стол с тайным беспокойством и смущением, заметив, что, исключая Стефана Колонны, на пир не было приглашено никого, кроме заговорщиков. Риенцо, не обращая внимания на их безмолвие и рассеянность, был веселее, а старый Колонна угрюмей обыкновенного.

– Мы боимся, что не угодили вам, монсиньор Колонна, нашим приглашением. Когда-то, кажется, мы легче могли добиться вашей улыбки.

– Положение изменилось, трибун, с тех пор, как вы были моим гостем.

– Не совсем так. Я возвысился, но вы не пали. Вы можете днем и ночью ходить мирно и спокойно по улицам, ваша жизнь безопасна от разбойников, а ваши дворцы не имеют уже надобности в решетках и оградах для того, чтобы защищать вас от сограждан. Я возвысился, но не один: мы все возвысились – от варварского беспорядка к благоустройству! Синьор Джанни Колонна, вы, которого мы сделали главнокомандующим в Кампаньи, не откажитесь выпить кубок за доброе государство. Мы не думаем оскорбить вашей храбрости, если выкажем радость, что Рим не имеет врагов для испытания ваших военачальнических способностей.

– Кажется, – сказал старый Колонна резко, – у нас будет довольно врагов из Богемии и Баварии, прежде чем позеленеет нива.

– Если это и случится, – возразил трибун, спокойно, – то чужеземные враги лучше гражданского раздора.

– Да, если у нас будут деньги в казне, что не совсем вероятно, если мы будем давать еще много подобных праздников.

– Монсиньор, вы не любезны, – сказал трибун, – и притом в ваших словах заключается упрек не столько нам, сколько Риму. Какой гражданин не пожертвует деньгами для приобретения славы и свободы?

– Я знаю очень немногих в Риме, которые жертвуют, – отвечал барон. – Но скажите мне, трибун, – вы замечательный казуист – какой правитель лучше для государства: слишком бережливый или слишком расточительный?

– Я отдаю вопрос на решение моего друга Луки ди Савелли, – сказал Риензи. – Он великий философ, и я уверен, что он может отгадать еще более трудную загадку, которую мы сейчас предоставим его остроумию.

Бароны, чувствовавшие себя в очень неловком положении при смелой речи старого Колонны, все обратили глаза к Савелли, который отвечал с большим спокойствием, чем они ожидали.

– Вопрос этот допускает двоякий ответ. Кто родился правителем и содержит войско из чужеземцев, управляя посредством страха, тот должен

быть скуп. Но кого сделали правителем, кто ласкает народ и хочет властвовать посредством любви, тот должен приобретать благорасположение народа щедростью и ослеплять его воображение великолепием. Таково, мне кажется, обыкновенное правило в Италии, которое исполнено практической государственной мудрости.

Бароны единодушно одобрили осторожный ответ Савелли, за исключением одного старого Колонны.

– Извините меня, трибун, – сказал Стефан, – если я не соглашусь с уклончивым ответом вашего друга и с должным почтением выражу мысль, что грубая одежда монаха, щегольство смирения были бы для вас приличнее этой блестящей пышности – щегольства гордости. – Говоря эти слова, Колонна прикоснулся к широкому, обшитому золотом рукаву пурпурной одежды трибуна.

– Тс, отец, – сказал Джанни, сын Стефана, покраснев от внезапной грубости и опасного чистосердечия ветерана.

– Ничего, – сказал трибун с притворным равнодушием, хотя губы его дрожали и глаза метали искры. Потом, помолчав, он продолжал со страшной улыбкой:

– Если Колонна любит одежду монаха, то он вдоволь насмотрится на нее прежде, чем мы разойдемся. А теперь, синьор Савелли, обратимся к моему вопросу. Прошу вас внимательно выслушать его: он требует всего вашего остроумия. Что лучше для правителя государства: быть слишком снисходительным или слишком правосудным? Соберитесь с духом для ответа: вам, кажется, дурно, вы бледнеете, вы дрожите, вы закрываете лицо! Изменник и убийца, твоя совесть обличает тебя! Синьоры, помогите вашему сообщнику и отвечайте.

– Нет, если мы открыты, – сказал Орсини, вставая с отчаянной решимостью, – то мы не падём не отмщенные – умри, тиран!

Он бросился к месту, где стоял трибун (который тоже встал) и ударил его кинжалом в грудь. Сталь пронзила пурпурную мантию, но, не причинив вреда, соскользнула, и трибун с презрительной улыбкой посмотрел на обманувшегося убийцу.

– До вчерашней ночи я никогда не воображал, что буду иметь надобность носить под парадной одеждой скрытые латы, – сказал он. – Синьоры, вы дали мне ужасный урок, благодарю вас!

Сказав это, он хлопнул в ладоши, и вдруг створчатая дверь в конце комнаты распахнулась и открыла залу совета, обитую кроваво-красными обоями с белыми полосами, – эмблема преступления и смерти. За длинным

столом сидели советники в мантиях; у перегородки стоял злодей, которого бароны знали слишком хорошо.

– Велите Родольфу Саксонскому подойти! – сказал трибун.

И два телохранителя ввели разбойника в залу.

– Так это ты, негодяй, выдал нас! – сказал один из Франджипани.

– Родольф Саксонский всегда идет к тому, кто обещает высшую плату, – возразил негодяй с ужасной улыбкой. – Вы дали мне золота, и я хотел убить вашего врага; но он победил меня: он дает мне жизнь, а жизнь лучше золота.

– Вы признаетесь в своем преступлении, синьоры! Вы молчите, вы онемели! Где ваше остроумие, Савелли? Где ваша гордость, Ринальдо ди Орсини? Джанни Колонна, неужели ваша рыцарская доблесть дошла до этого?

– О, – продолжал Риенцо с глубокой и патетической горечью, – о, синьоры, неужели ничто не примирит вас ни со мной, ни с Римом? Какой был мой грех против вас и ваших? Уволенные злодеи (подобные вашему наемнику), скрытые укрепления, беспристрастный закон. Во всех бурных революциях Италии какой человек, возникший из народа, менее меня уступал его своеволию? Ни одна монета ваших сундуков не тронута необузданной силой, ни один волос вашей головы не поврежден личной мезтью. Вы, Джанни Колонна, осыпанный почестями, получивший начальство, вы, Альфонсо ди Франджипани, пожалованный новыми княжествами, скажите, вспомнил ли трибун об оскорблениях, которые получал от вас, будучи плебеем? Вы обвиняете меня в гордости: но разве я виноват, что вы ползали и пресмыкались перед моей властью, с лезтью на губах и с ядом в сердце? Нет, я не оскорблял вас, пусть знает свет, что в моем лице вы посягнули на правосудие, закон, порядок, на восстановленное величие, на возрожденные права Рима! Ваш удар был направлен не на мое слабое тело, а на эти идеи. Они победили вас, и за оскорбление их величия вы, преступники и, жертвы, должны умереть!

С этими словами, произнесенными таким тоном и с таким видом, которые были достойны самой возвышенной души древнего города, Риенцо величественной поступью вышел из комнаты в залу совета.

Всю эту ночь заговорщики оставались в комнате, двери которой были заперты и охранялись часовыми; пиршественный стол был не убран, и его блеск странно противоречил пасмурному расположению духа гостей.

Крайнее уныние и отчаяние этих трусливых преступников, столь непохожих на рыцарских норманнов Франции и Англии, было изображено историком в самых отвратительных красках. Только старый Колонна

сохранил свой бурный и повелительный характер. Он ходил взад и вперед по комнате, как лев в клетке, произнося громкие угрозы мщения и вызова; он стучал кулаками в дверь, требуя, чтобы его выпустили и грозя мщением первосвященника.

Медленно приближался рассвет; серые лучи его падали на томящихся преступников; и при свете бледного и печального неба они смотрели друг другу в лицо, искаженное беспокойством и страхом. В ту самую минуту, когда последняя звезда исчезла с грустного горизонта, загремел большой капитолийский колокол, в звуках которого они узнали звон смерти. Дверь отворилась, и в комнату вошла угрюмая и мрачная процессия францисканских монахов по одному на каждого из баронов. При этом зрелище ужас заговорщиков был так велик, что заледенил в них даже самый дар слова. Большинство их, видя, что всякая надежда погибла, отдалось своим угрюмым духовникам. Но когда монах, назначенный для Стефана Колонны, подошел к этому горячему старику, то он нетерпеливо махнул рукой и сказал:

– Не докучай мне! Не докучай!

– Полно, сын, приготовься к страшной минуте.

– Сын! Неужели? – сказал барон. – Я довольно стар, чтобы быть тебе даже дедом; а что касается до остального, то скажи пославшему тебя, что я не приготовлен к смерти и не буду готовиться! Я решил жить еще двадцать лет и даже дольше, если только не умру от холода в эту проклятую ночь.

В этот самый момент послышался крик, от которого, казалось, разрушится Капитолий: толпа в один голос загремела внизу:

– Смерть заговорщикам! Смерть, смерть!

Между тем трибун вышел из своей комнаты, в которой он заперся со своей женой и сестрой. Благородная душа одной, слезы и горечь другой, которая видела, что дом ее жениха падет под одним сильным ударом, успешно действовали на натуру, правду, строгую и справедливую, но имевшую отвращение к крови, и на сердце способное; к самому возвышенному виду мщения.

Он вошел в совет, который еще не кончил заседания, со спокойным лицом и даже с веселым взглядом.

– Пандульфо ди Гвидо, – сказал он, обращаясь к этому гражданину, – вы правы. Вы говорите как благоразумный человек и патриот, выражая мнение, что отрубить одним, хотя и заслуженным, ударом головы знатнейших римских патрициев значило бы подвергнуть опасности государство, замарать нашу пурпурную мантию неизгладимым пятном и соединить против нас все дворянство Италии.

– Таковы, трибун, были мои доводы, хотя совет решил иначе.

– Прислушайтесь к крикам черни; вы не можете усмирить ее честную горячность, – сказал демагог Барончелли.

Многие из советников прошептали свое одобрение.

– Друзья, – сказал трибун с торжественным и серьезным видом, – мы восторжествовали – будем же снисходительны; мы спасены – простим.

Пандульфо и другие, более кроткие и умеренные из членов, поддержали речь трибуна. После короткого, но одушевленного спора, влияние Риенцо восторжествовало и смертный приговор был изменен, впрочем, очень слабым большинством.

– А теперь, – сказал Риенцо, – будем более чем справедливы, будем великодушны. Говорите и смело. Не думает ли кто-нибудь из вас, что я был слишком строг, слишком горд с этими упрямыми умами? Я читаю ваш ответ на ваших лицах. Я был. Не думает ли кто-нибудь, что эта ошибка моя могла побудить их к такому ужасному мщению; что они, как и мы, не лишены человеческих свойств, что они чувствительны к ласке, что их смягчает великодушие, что они могут быть укрощены и обезоружены той мезтью, которую внушают благородным врагам христианские законы?

– Я думаю, – сказал Пандульфо после паузы, – что было бы противно человеческой природе, если бы люди, которых вы простили, несмотря на такое важное и доказанное преступление их, вновь покусились на вашу жизнь.

– Мне кажется, – сказал Риенцо, – мы должны сделать еще более, чем простить. Когда великий Цезарь не хотел уничтожить врага, то он старался сделать его другом.

– И погиб через эту попытку, – сказал Барончелли резко.

Риенцо вздрогнул и изменился в лице.

– Если вы хотите пощадить этих презренных узников, то лучше бы не дожидаться, пока ярость черни делается неукротимой, – прошептал Пандульфо.

Трибун очнулся от своей задумчивости.

– Пандульфо, – сказал он тем же тоном. – Сердце мое ноет. Я держу в руке гнездо змей. Я не убиваю их, и они могут ужалить меня насмерть в воздаяние за мою милость – это в их натуре! Нет нужды; пусть не говорят, что римский трибун купил собственную безопасность ценой такого множества жизней; на моем могильном камне не должно быть написано: «Здесь лежит труп, который не осмеливался прощать»! Эй! Отворите двери! Господа, объявим арестантам приговор.

С этими словами Риенцо сел в парадное кресло во главе стола; взошедшее солнце бросило свои лучи на кроваво-красные стены, в которых бароны, введенные в комнату, видели свои смертные приговоры.

– Синьоры, – сказал трибун, – вы нарушили законы Божеские и человеческие; но Бог учит человека милосердию. Поймите, наконец, что моя жизнь заморожена. Тот, которого Небо, вызвав из хижины, сделало правителем народа, не остается без невидимой помощи и духовного покровительства. Да, души праведных и недремлющее око вооруженного серафима бдят над тем, кто живет единственно для своей родины, чье величие есть дар ее, чья жизнь есть ее свобода! Вы научены вашей последней неудачей и настоящей вашей опасностью: укротите же свой гнев против меня. Читайте законы, уважайте свободу нашего города и поймите, что нет благороднее зрелища в государстве, как то, когда люди, подобные вам по происхождению, принадлежащие к благородному и знатному сословию, употребляют свою власть на защиту своего города, богатство – для поощрения искусств, рыцарскую доблесть – на покровительство законам! Возьмите ваши мечи назад и пусть первый, кто посягнет на свободу Рима, хотя бы это сделал трибун, будет вашей жертвой! Ваше дело расследовано, ваш приговор произнесен. Поклянитесь вновь забыть всякую личную и общественную вражду против правительства и должностных лиц Рима – и вы прощены, вы свободны!

Изумленные, смущенные бароны машинально преклонили колена; монахи, принявшие их исповедь, привели их к присяге, и, шепча бледными губами торжественные слова, преступники слышали внизу рев толпы, требовавшей их крови.

По окончании церемонии трибун вошел в залу пира, которая вела к балкону, откуда он обыкновенно говорил с народом.

Как только трибун увидел, что благоприятная минута наступила, бароны были впущены на балкон. В присутствии безмолвных тысяч народа они торжественно обязались защищать доброе государство. Таким образом, утро, которое, казалось, будет сиять над их казнью, было свидетелем их примирения с народом.

Толпа рассеялась, большинство было успокоено и удовлетворено; более проницательные были сердиты и недовольны.

– Он только усилил дым и пламя, которое не сумел потушить, – проворчал Чекко дель Веккио; и удачное выражение кузнеца обратилось в пословицу и предсказание.

II БЕГСТВО

С тревожно бьющимся сердцем старый Колонна воротился в свой дворец. Для него, невинного в преступном покушении его родственников и товарищей, вся сцена ночи и утра казалась не более, как обидой и унижением. Возвратясь домой, он тотчас же велел надежным курьерам быть готовыми к исполнению его приказаний. «Это – в Авиньон, – сказал он про себя, окончив послание к папе. – Посмотрим, будут ли связи великой фамилии Колоннов иметь перевес над сумасбродной поддержкой этого любимца черни. Это – в Палестрину. Утес неприступен! Это – к Иоанну ди Вико. На него можно положиться, хотя он изменник. Это – в Неаполь. Колонна отречется от посланника трибуна, если он не бросит своего поручения и не поспешит сюда не в качестве влюбленного, а в качестве солдата! А это – к Вальтеру Монреалу. Славного посла прислал он к нам, но я прощу ему все-все за тысячу копеечников». И дрожащими руками обвязывая письма, он приказал пажам пригласить к его столу на следующий день всех синьоров, которые были замешаны вместе с ним в деле прошедшей ночи.

Бароны пришли, более взбешенные унижением помилования, чем благодарные за него. Их опасения соединялись с гордостью; крики черни, резкие голоса францисканцев еще раздавались в их ушах, и они думали, что только совокупное сопротивление может защитить их жизнь и отомстить за нанесенную им обиду.

Будучи неспособны даже понять романтическое великодушие трибуна, бароны еще более встревожились, когда на следующий день Риенцо потребовал их к себе поодиночке, на тайную аудиенцию и, осыпав их подарками, просил забыть все прошлое. Он скорее извинялся сам, чем извинял их, и пожаловал их новыми должностями и почестями.

В этом, и может быть в самом прощении, Риенцо сделал роковую политическую ошибку, которой никогда не допустили бы мрачная пронизательность Висконти или, в позднейшие времена, Борджа. Но это была ошибка светлого и великого ума.

Нина сидела в большой гостиной дворца. Это был приемный день для римских дам.

Собрание было до такой степени малочисленное обыкновенного, что это поразило Нину, и она заметила холодность и принужденность в манерах своих сегодняшних посетительниц. Это несколько задело ее тщеславие.

– Надеюсь, мы ничем не оскорбили синьору Колонна, – сказала она жене Джанни, сына Стефана. – Она обыкновенно удостаивала наши залы своим посещением, и для нас очень чувствительно то, что мы не видим здесь ее статной фигуры.

– Синьора, мать моего мужа нездорова.

– Нездорова? Мы пошлем узнать о ней более приятные новости. Кажется, мы покинуты сегодня.

Говоря это, она небрежно уронила свой носовой платок. Гордая жена Колонны не наклонилась, ни одна рука не шевельнулась; и трибуница на один момент, казалось, была удивлена и сконфужена. Блуждая глазами по толпе, Нина заметила, что многие из ее посетительниц, которые, как она знала, были жены врагов Риенцо, шептались между собой, обмениваясь многозначительными взглядами и злобными насмешками по поводу ее смущения. Она тотчас же оправилась и сказала синьоре Франджипани с улыбкой:

– Не можем ли мы участвовать в вашей веселости? Кажется, вы попали на какую-то забавную мысль, которой грешно было бы не поделиться.

Дама, к которой Нина обратилась с этими словами, слегка покраснела и отвечала:

– Мы рассуждали о том, синьора, что если бы трибун был теперь здесь, то его обет рыцарства подвергнулся бы испытанию.

– Каким это образом, синьора?

– Для него было бы приятным долгом помочь угнетенным. – И синьора многозначительно взглянула на платок, все еще лежавший па полу.

– Так вы мне хотели сделать дерзость, синьоры? – сказала Нина, величественно вставая. – Не знаю, так ли смелы ваши мужья с трибуном, но знаю, что жена его на будущее время простит ваше отсутствие. Четыре века тому назад Франджипани легко могли уступить Разелли, а теперь жена римского барона не может признать выше себя особу жену первого римского сановника. Я не вынуждаю и не ищу вашей вежливости...

– Мы зашли слишком далеко, – прошептала одна из дам своей соседке. – Предприятие может не удался, и тогда...

Дальнейшие слова были прерваны внезапным появлением трибуна; он вошел с большой поспешностью, и лицо его было покрыто облаком, на которое никто не мог смотреть без трепета.

– Как, прекрасные матроны! – сказал он, окинув комнату быстрым взглядом. – Вы еще не оставили нас? Клянусь св. Крестом, ваши мужья делают комплимент вашей чести, оставляя нам таким милых заложниц, или же они – неблагодарные супруги. Итак, синьора, – прибавил он, быстро

поворачиваясь к жене Джанни Колонна, – ваш муж бежал в Палестрину; ваш, синьора Орсини, – в Марино; ваш – с ним, прекрасная синьора Франджипани; а вы пришли сюда. Но вас никто не оскорбит даже словом.

Заметив наведенный им ужас, трибун с минуту помолчал, очевидно стараясь подавить свое волнение. Глаза его упали на Нину, которая, забыв свою недавнюю досаду, смотрела на него с беспокойным изумлением.

– Да, синьора, – сказал он ей, – из этого прекрасного собрания, может быть, только вы одна не знаете, что нобили, которых я только что освободил от рук палача, в другой раз нарушили присягу. Они оставили Рим в конце ночи, и герольды уже объявляют их изменниками и бунтовщиками.

Риенцо более не прощает!

– Трибун, – вскричала синьора Франджипани, в жилах которой было больше смелости, чем во всей ее семье, – если бы я была мужчиной, то бросила бы тебе в лицо слова – изменник и бунтовщик, которыми ты поносишь моего мужа! Гордый человек! Скоро это будет сделано первосвященником!

– Прекрасная, Бог наградил вашего мужа голубем, – отвечал трибун презрительно. – Синьоры, не бойтесь, пока Риенцо жив, жена самого злейшего врага его будет ограждена безопасностью и почетом. Толпа сейчас придет сюда, наши телохранители проводят вас домой, или же этот дворец будет вашим убежищем, потому что, предупреждаю вас, ваши мужья бросились в большую авантюру. Через несколько дней римские улицы будут похожи на потоки крови.

– Мы принимаем ваше предложение, трибун, – сказала синьора Франджипани, которая была тронута тоном трибуна и против воли своей почувствовала благоговейный страх. С этими словами она опустилась на одно колено, подняла платок и, почтительно подавая его Нине, сказала: – Синьора, простите меня. Я одна из присутствующих здесь уважаю вас в опасности более, чем в гордости.

– А я, – отвечала Нина, опираясь с грациозным доверием на руку мужа, – я скажу только, что если опасность существует, то гордость тем нужнее.

Весь этот день и всю эту ночь звонил большой колокол Капитолия. Но на следующее утро, на рассвете собралась очень небольшая и раздробленная толпа. Бегство баронов сильно испугало народ, и он громко и горько укорял Риенцо за то, что он дал им случай к подобному поступку. Днем ропот продолжался; роптавшие большей частью оставались в своих домах или собирались праздными и недовольными группами. Наступил рассвет

следующего дня – та же летаргия. Трибун созвал свой совет, который был представительным собранием.

– Должны ли мы выступить так, как есть, – сказал он, – с таким небольшим числом людей, готовых идти за римским знаменем?

– Нет, – возразил Пандульфо, который будучи от природы робок, тем не менее был хорошо знаком с духом народа и потому был умным советником. – Останемся, подождем, пока бунтовщики сделают себя ненавистными каким-нибудь преступлением, и тогда злоба соединит нерешительных, и мщение заставит их идти.

Этого совета послушались, и события оправдали благоразумие его. Чтобы извинить и придать благовидность этой отсрочке, в Марино, сильную крепость, куда ушла большая часть баронов, были посланы гонцы с требованием, чтобы они немедленно возвратились.

В тот день, когда вернувшиеся гонцы уведомили Риенцо о гордом отказе инсургентов, в Рим стеклись беглецы со всех частей Кампаньи. Сожженные дома, ограбленные монастыри, попорченные виноградники, угнанный скот свидетельствовали о набегах баронов и одушевили вялых римлян, показав им, какой милости они могут ожидать для себя. В этот вечер они по собственному побуждению бросились к капитолийскому дворцу; Ринальдо Орсини овладел крепостью, лежавшей возле самого Рима, и поджег одну башню, пламя которой было видно в городе. Жительница башни, благородная старая вдова, сторела живая. Поднялся шум, все пришли в ярость и неукротимое бешенство; час для деятельности наступил.

III БИТВА

– Я видел сон, – вскричал Риенцо, вскакивая с постели. – Папа Бонифаций, враг и жертва Колоннов, явился мне и обещал победу. Нина, приготовь лавровый венок, сегодня победа будет наша.

– О, Риенцо! Сегодня?

– Да, послушай, как гремит колокол, как звучит труба. Я слышу нетерпеливые удары копыт моего белого боевого коня. Один поцелуй, Нина, прежде чем я надену оружие для победы. Иди, утешь бедную Ирону, я не хочу ее видеть, она плачет о том, что мои враги – родственники ее жениху; я не могу выносить ее слез, я ходил за ней, когда она была еще в колыбели.

С этими словами трибун пошел в свою уборную комнату, где пажи и дворяне помогли ему вооружиться.

– Я слышал от наших шпионов, – сказал он, – что неприятель явится у ворот раньше полудня, четыре тысячи пеших и семьсот всадников. Мы радушно их примем, господа. Теперь дайте мне далматикум[20]: я хочу, чтобы каждый из врагов узнал Риенцо и – клянусь Богом брани! – сражаясь во главе императорского народа, я имею право на императорскую мантию. Готовы ли монахи? Наш марш к воротам должен быть предшествуем торжественным гимном: так сражались наши отцы.

– Трибун, приехал Иоанн ди Вико с сотней всадников для защиты доброго государства.

– Приехал? Значит, Господь избавил нас от одного врага и предал в наши руки одного изменника!.. Принеси сюда вон тот ларчик, Анджело. Пандульфо, прочти это письмо.

Гражданин с удивлением и беспокойством прочел ответ коварного префекта на послание Колонны.

– Он обещав! Стефану перебежать к нему во время сражения со знаменем префекта, – сказал Пандульфо. – Что делать?

– Как что делать? Возьми мою печать, вот здесь, и смотри, чтобы его сейчас же отвели в тюрьму Капитолия. Вели его свите оставить Рим и предупреди этих людей, что если они будут действовать заодно с баронами, то их господин умрет. Ступай, сделай это, не теряя ни минуты. Теперь идем в капеллу – мы хотим отслужить обедню.

Через час римская армия, большая и разнородная, состоявшая из людей всех возрастов, шла к воротам Сан-Лоренцо. Несмотря на ее многочисленность (она заключала в себе двадцать тысяч пехоты), ее нельзя было назвать и шестой частью армии. Но кавалерия была хорошо снаряжена и состояла из менее значительных дворян и богатейших граждан. Во главе их ехал трибун в полном вооружении. Шлем его был украшен дубовыми и оливковыми листьями, сделанными из серебра. Перед ним развевалось большое римское знамя. Впереди этого многочисленного войска шла процессия францисканских монахов (духовенство в Риме был вообще на стороне народа и его восторженного вождя). Они медленно пели гимн, которому придавали необыкновенную выразительность стук оружия, звук труб и грохот барабанов, раздававшиеся в конце каждого куплета и составлявшие, так сказать, воинственный припев.

В этом порядке войско дошло до обширного пустого, места перед воротами города и выстроилось длинными рядами с обеих сторон по улицам, оставив широкое пространство посередине. Там оно ожидало приказаний своего вождя.

– Отворите ворота и впустите врага! – вскричал Риенцо громким голосом, когда трубы баронов возвестили о приближении их.

Между тем возмущившиеся патриции, которые в это утро выступили из крепости, называемой монументом, в четырех милях от города, приближались смелым и блестящим строем. Со старым Стефаном, к высокому росту, худощавой фигуре и величественному виду которого так хорошо шла его великолепная кольчуга, ехали его сыновья, также Франджипани, Савелли и Джордано Орсини, брат Ринальдо.

– Сегодня тиран погибнет и знамя Колоннов будет развеяться на Капитолии! – сказал гордый Стефан.

– Знамя Медведя, – сказал Джордано Орсини с гневом. – Победа будет принадлежать не одним вам, монсиньор.

– Наш дом всегда первенствовал в Риме, – возразил Колонна надменно.

– Никогда не будет этого, пока во дворцах Орсини останется камень на камне.

– Тс! – сказал Лука ди Савелли. – Вы делите между собой кожу льва, когда он еще жив! Сегодня у нас будет жаркая работа.

– Нет, – сказал старый Колонна, – Иоанн ди Вико со своими римлянами возвратится при первом нападении, и некоторые из недовольных в городе обещали отворить ворота. Ну, что? – прибавил он, обращаясь к лазутчику, который, задыхаясь, подскакал к нему: – Какие вести?

– Ворота отперты, ни одного копья не видно на стенах!

– Не говорил ли я вам, синьоры? – сказал Колонна, поворачиваясь кругом с торжествующим видом. – Кажется, мы возьмем Рим, не сделав ни одного удара. Внук, куда делись твои глупые предсказания?

Эти слова были обращены к Пьетро, одному из его внуков, первому сыну Джанни, красивому молодому человеку, со дня свадьбы которого не прошло и двух недель. Юноша не отвечал.

– Мой маленький Пьетро, – продолжал барон, обращаясь к своим товарищам, – женился так недавно, что в прошлую ночь ему приснилась жена, и он, бедный мальчик, считает это дурным предзнаменованием.

– Она была в глубоком трауре и выскользнула у меня из рук со словами: «Горе, горе Колоннам!» – сказал молодой человек торжественно.

– Я живу почти девяносто лет, – возразил старик, – и, может быть, видел сорок тысяч снов, из которых два были правдивы, а все остальные – ложные. Суди же, какова должна быть вероятность того, что сон исполнится.

Разговаривая таким образом, они подъехали на расстояние полета стрелы от ворот, которые все еще были отворены. Везде царствовало мертвое молчание. Войско, состоявшее главным образом из иностранных наемников, остановилось в раздумье, как вдруг над стенами поднялся факел; он горел с минуту и потом зашипел в грязном пруду внизу.

– Это условный сигнал наших друзей в городе! – вскричал старый Колонна.

– Пьетро, поезжай со своим отрядом! – Молодой патриций надвинул наличник и во главе своих солдат, с копьём наперевес поехал легким галопом к воротам. Утро было туманно и пасмурно, и солнце, показывавшееся только по временам, теперь ярко заблестало на колеблющемся пере и светлой кольчуге молодого всадника, который исчез под мрачной аркой, опередив несколькими шагами своих солдат. За ним ехала конница под предводительством Джанни Колонна, отца Пьетро. Последовало минутное молчание, прерываемое звуком оружия и топотом копыт, как вдруг раздался крик: «Рим, трибун и народ!» «*Spirito Santo, Cavalieri!*» Главный отряд остановился в изумлении. Показался Джанни Колонна, который во всю прыть ехал назад.

– Мой сын, мой сын! – кричал он. – Они убили его. – Он остановился в нерешимости и потом добавил; – Но я отомщу за него. – Он повернул коня и, пришпорив его, опять бросился под арку, но огромная железная машина, сделанная в виде спускной решетки, внезапно упала на несчастного отца и раздавила и лошадь, и всадника, превратив их в одну смешанную, изуродованную, кровавую массу.

Старый Колонна видел это и едва верил своим глазам. Прежде чем нападающие опомнились от оцепенения, машина поднялась, и нарядное ополчение бросилось через труп. Они шли, одна тысяча за другой, бурным, шумным, ревушим потоком. Они со всех сторон нахлынули на неприятеля, в строгом порядке и покрытые с ног до головы кольчугами, выдерживая и сами совершая нападения.

– Месть и Колонна! Медведь и Орсини! Благотворительность и Франджипани![21] Змея и Савелли![22]

– таковы были восклицания, смешанные с немецким хриплым криком: «Полные кошельки и три кельнские короля!» Римляне, более яростные, чем дисциплинированные, падали толпами вокруг рядов наемников; но когда

падал один, то другой занимал его место, и по-прежнему с неослабевающей горячностью гремел крик: «Рим, трибун и народ?» «*Spirito Santo, Cavalieri!*» Подвергаясь всем ударам мечей и стрел, так как он был замечен по своей эмблематической диадеме и императорской мантии, Риенцо отбивался от всех нападений огромной боевой секирой в руках. Итальянцы были знамениты своим умением владеть этим оружием, и Риенцо считал его национальным. Теперь он был вдохновлен самыми мрачными и суровыми инстинктами своей природы; кровь его была разгорячена, страсти возбуждены; он сражался как гражданин – за свободу, как монарх – за корону, и его отвага казалась изумленному неприятелю отвагой бешеного, его невредимость невредимостью вдохновенного. Он появлялся то здесь, то там, повсюду сияла его белая мантия, и подымалась его кровавая секира, где ослабевало его собственное или неприятельское войско. Но его ярость, казалось, была направлена более против начальников, чем против массы, и везде, где мчался его конь, слышен был вопрос трибуна:

– Где Колонна? Вызываю Орсини! *Spirito Santo, Cavalieri!* – Три раза была сделана вылазка из ворот, и три раза римляне были отбиты; при третьей вылазке римское знамя, находившееся впереди трибуна, было разрублено и повергнуто на землю. Тогда только Риензи обнаружил изумление и беспокойство. Подняв глаза к небу, он воскликнул:

– Господи, неужели ты меня оставил? – И собравшись с духом, он еще раз махнул рукой и опять повел вперед свое беспорядочное войско.

К вечеру битва кончилась. Гордость и цвет баронов, которые были главным предметом нападений Риенцо, погибли. Из княжеского дома Колоннов трое легли трупами. Джиордано Орсини был смертельно ранен; свирепый Ринальдо не участвовал в битве. Из фамилии Франджипани важнейших синьоров уже не существовало, а Лука, трусливый глава дома Савелли, еще задолго до конца схватки спасся бегством. С другой стороны, урон граждан был огромен, земля была напоена кровью, и при свете вечерних звезд Риенцо и римляне, закончив преследование врагов, возвращались победителями по кучам убитых лошадей и всадников. Радостные крики сопровождали трибуна, когда он на уставшем коне проезжал под аркой. При самом въезде в город, внутри его стояли толпы людей, которые не могли участвовать в сражении, по своему здоровью, полу или возрасту: женщины, дети, дряхлые старики вместе с босоногими монахами в темных одеждах. Узнав о победе, они приготовились здесь приветствовать его триумф.

Риенцо остановил коня близ трупа юного Колонны, который лежал наполовину в луже; возле него лежало тело его отца, отодвинутое от арки, где он погиб, того самого Джанни Колонна, копьё которого пронзило брата Риенцо! Грустные лучи Геспера играли на луже и на латах, покрытых запекшейся кровью. Риензи взглянул на убитого, грудь его тяжело подымалась от множества волнующих ее; ощущений, и, обернувшись, он увидел Анджело, который вместе с некоторыми стражами Нины подошел к месту битвы и теперь стоял возле трибуна.

– Дитя, – сказал Риензи, указывая на умершего. –

Блажен ты, что кровь родственника не вопиет к тебе о мщении. Для того, к кому вопиет такая кровь, рано или поздно, час наступает, и этот час ужасен!

Эти слова далеко запали в душу Анджело, и впоследствии они сделались роковыми для того, кто их сказал и кто выслушал.

Прежде чем Риенцо успел вполне оправиться, и между тем как вокруг его слышались вопли вдов и матерей убитых, стоны умирающих, увещания монахов, смешанные с восклицаниями торжества и радости, вдруг раздался крик женщин и мужчин, бродивших по полю битвы за городом:

– Неприятель! Неприятель!

– К оружию! – вскричал трибун. – Назад в строй! Впрочем, они не могут быть так смелы.

Послышался топот лошадей и звук труб, и тридцать всадников во весь карьер промчались через ворота.

– К оружию! – вскричал трибун, устремляясь вперед. – Впрочем, стойте, начальник их безоружен, это у него собственное знамя. Это наш посланник из Неаполя, синьор Адриан ди Каstellо!

Измученный, задыхающийся, покрытый пылью Адриан остановился у лужи, красной от крови его родственников; их бледные мертвые лица бросились ему в глаза.

– Слишком поздно, увы! Страшная судьба! Несчастный Рим!

– Они упали в яму, которую сами выкопали, – сказал трибун твердым, но глухим голосом. – О, благородный Адриан, если бы твои советы могли предотвратить это!

– Прочь, гордый человек, прочь! – сказал Адриан, нетерпеливо махнув рукой, – тебе бы следовало защищать жизнь римлян, а не... О, Джанни! Пьетро! Неужели ни происхождение, ни слава, ни твои юные годы, бедный мальчик, не могли спасти тебя?

– Извините его, друзья, – сказал трибун толпе, – его горе естественно, и он не знает всей их вины. Отступите, прошу вас – предоставьте его нам.

Адриану могло бы быть плохо, если бы трибун не сказал этой короткой речи. И когда молодой синьор, сойдя с лошади, наклонился над своими родственниками, то трибун, тоже отдав свою оруженосцам, подошел к Адриану и, несмотря на его нежелание и отвращение, отвел его в сторону.

– Молодой друг, – сказал он печально, – мое сердце обливается кровью за тебя; но одумайся, гнев толпы против них еще не прошел: будь благоразумен!

– Благоразумен!

– Тише! Клянусь честью, эти люди недостойны вашего имени. Дважды клятвопреступники, дважды убийцы, дважды бунтовщики. Послушайте меня!

– Трибун, я не ищущ оправдания для того, что вижу; может быть, они убиты справедливо, может быть, подло. Но между палачом моего рода и мною не существует мира.

– Не хотите ли вы быть клятвопреступником? А ваша присяга? Полно, я не слышал этих слов. Успокойтесь, удалитесь, и если, начиная с этого времени, через три дня вы будете порицать меня за что-нибудь другое, кроме неблагоразумной слабости, то я освобождаю вас от присяги, и вы свободны быть моим врагом. Толпа разевает рты и пучит глаза на нас: еще минута – и я, может быть, не в состоянии буду спасти вас.

Чувства молодого патриция были в настоящую минуту таковы, что их решительно невозможно передать словами. Он никогда не бывал подолгу в кругу своей семьи и не пользовался от нее ничем, кроме обыкновенной вежливости. Но родство – все-таки остается родством! И перед ним лежали жертвы роковых случайностей войны, дерево и росток, цвет и надежда его рода. Он чувствовал, что ничего не может ответить трибуну: само место их смерти доказывало, что они погибли в нападении на своих соотечественников. Он сочувствовал не делу их, а судьбе. Не имея основания для гнева, ни для мщения, сердце его было тем восприимчивее к удару и оцепенению соря. И потому он не говорил, а продолжал смотреть на убитых, между тем как крупные, несдерживаемые слезы, которые текли по его щекам, и его поза, выражавшая уныние и горечь, были так трогательны, что толпа, которая прежде негодовала, почувствовала к нему сострадание. Наконец он, казалось, решился. Он повернулся к трибуну и сказал прерывающимся голосом:

– Трибун, я не осуждаю вас и не обвиняю. Если в этом вы поступили опрометчиво, то Бог потребует крови за кровь. Я не веду войны с вами, вы

правы! Моя присяга запрещает мне это, и если вы будете управлять хорошо, то я еще могу помнить, что я римлянин. Но взгляните на этот кровавый прах, он встал между нами! Ваша сестра, да будет с нею Бог! Между ею и мною – мрачная бездна! – Молодой патриций на несколько мгновений остановился, потом продолжал: – Эти бумаги освобождают меня от моего поручения. Знаменосцы, положите на землю знамя республики. Трибун, ни слова, я хочу быть спокойным-спокойным. Прощай, Рим! – И бросив поспешный взгляд на мертвых, он вскочил на коня и в сопровождении своей свиты исчез за аркой.

Трибун не старался его удерживать и не остановил его. Он понимал, что молодой патриций думал и поступал так, как ему приличествовало. Риенцо следил за ним глазами.

– Итак, – сказал он мрачно, – судьба отнимает у меня благороднейшего друга и справедливейшего советника, Рим никогда не лишался лучшего человека!

IV НЕПРОЧНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

Быстрый и хлопотливый ход политических событий долго не позволял нам говорить о сестре трибуна и невесте Адриана. Кроткие мысли и всегдашние грезы этой прекрасной и влюбленной девушки, для которой они имели интерес выше всех бурь и опасностей честолюбия, не совсем поддаются рассказу; их тихую монотонность можно описать в немногих словах.

Когда пребывание Адриана при неаполитанском дворе продлилось далее предполагаемого срока, то она начала пугаться и беспокоиться. Подобно многим незримым бездейственным зрителям сцены, она невольно видела далее, чем более глубокий ум трибуна или Нины. Опасное неудовольствие нобилей она замечала и слышала в их взглядах и шепоте, которые не достигали более зорких и подозрительных ушей и глаз. Беспокойная и встревоженная, она нетерпеливо ждала приезда Адриана не из одних эгоистических побуждений, но из основательных опасений за своего брата.

В Адриане ди Кастелло, который был и нобилем, и патриотом, каждая партия видела посредника, и его присутствие с каждым днем становилось необходимее, пока наконец не вспыхнул, заговор баронов. С этого часа она едва смела надеяться; ее спокойный рассудок, не ослепленный восторженными порывами, которые, как слишком часто случается,

заставляли трибуна видеть горькую действительность в ложном и блестящем свете, показывал ей, что Рубикон пройден и что во всех последующих событиях она может найти только два факта: опасность для своего брата и разлуку со своим женихом. Только перед одной Ниной могла она излить свою душу, потому что Нина, при всей разности их характеров, была женщина, которая любила. Это соединяло их. Но в последнее время их отношения очень изменились. С того утра, когда бароны получили прощение, до того, когда они учинили нападение на Рим, время принесло много сильных тревог. Все лица, которые видела Ирена, были унылы и мрачнее тучи, всякая веселость прекратилась, заботливые и беспокойные советники или вооруженные солдаты были единственными посетителями дворца. Риенцо можно было видеть только на несколько минут, лицо его выражало заботу. Два дня она не ела и не спала, она заперлась в своей комнате, ей нужно было только уединение. Но на третье утро она оправилась как бы чудом, потому что во дворце было оставлено письмо от Адриана.

– Он еще любит меня, – сказала девушка плача, – и я опять счастлива.

Она прижала письмо к своему сердцу, и лицо ее просияло. Она встретила своего брата улыбкой, а Нину объятьями, и если она еще страдала и печалилась, то эти страдания были тайные, подобные червю, невидимо точащему деревцо.

Между тем в Риме, после первого упоения победой, радость сменилась плачем. Побоище было так велико, что отдельная печаль затмевала общее торжество, многие из плачущих порицали даже своего защитника за вред, причиненный мечами врагов, «*Roma fu terribilmente vedovata*»[23]. Множество похорон глубоко огорчали трибуна, и по мере роста симпатии к народу возрастало его суровое негодование против баронов. Подобно всем людям, обладающим сильным, страстным и ревностным религиозным чувством, трибун имел мало терпимости к тем преступлениям, которые подрывали основание религии. Нарушение клятвы было для него самым низким и незагладимым из них, а убитые бароны были дважды клятвopреступниками. В раздражительности своего гнева он на несколько дней запретил их семействам отдать последний долг их останкам и оплакивать их. Только частным образом и втайне он позволил похоронить их в склепах их предков. Эта чрезмерность мщениия запятнала его лавры, но едва ли была несовместна со строгим его патриотизмом. Нетерпеливо желая кончить начатое и идти тотчас же в Марино, где инсургенты соединяли свое рассеянное войско, он созвал свой совет и представил ему несомненность победы и ее результат – полное восстановление мира. Но солдатам было не

заплачено жалованье, они уже роптали, казна опустела; было необходимо пополнить ее посредством нового налога.

Между советниками были такие, семьи которых сильно пострадали в сражении: они не слишком-то внимательно выслушивали предложения о необходимости продолжать борьбу. Другие, в числе которых был Пандульфо, человек робкий, но благонамеренный, зная, что печаль и ужас произвели реакцию в народе, объявили, что они не осмелятся предложить новую подать. Но самую смелую оппозицию представила третья партия, под предводительством Барончелли, демагога, честолюбие которого не знало правил, но который лестью низким страстям черни, потакающей ее грубости натуры, что часто дает какому-нибудь сумасбродному шуту преимущество над благоразумнейшим политиком, без труда приобрел большое влияние на низшие классы. Эта партия осмелилась даже порицать гордого трибуна за чрезмерную пылкость, которую сама первая готова была одобрять; и почти обвиняла его в изменнических побуждениях к оправданию баронов от обвинения Родольфа. В самом совете трибуна, возобновленном и преобразованном для защиты свободы, эта свобода была нарушена. Его пламенное красноречие встречено было мрачным молчанием, и голоса были против предложения новой подати и похода в Марино. Риенцо распустил совет поспешно и в беспорядке. Когда он оставил залу, ему было подано письмо, он прочел его и несколько мгновений оставался как будто пораженный громовым ударом. Он позвал капитана своей стражи и приказал отряду из 50 всадников быть в готовности. Затем пошел в комнату Нины. Она была одна, и он несколько минут смотрел на нее так внимательно, что она была напугана и не могла говорить. Наконец он сказал отрывисто:

– Мы должны расстаться...

– Расстаться!

– Да, Нина. Твои телохранители уже готовятся, ты имеешь родных, а я друзей во Флоренции. Там ты должна жить.

– Кола...

– Не смотри так на меня. В могуществе, величии, безопасности ты была моим украшением и советницей. Теперь ты только мешаешь мне и...

– О, Кола, не говори так. Что случилось? Не будь так холоден, не хмурься, не отворачивайся. Разве я для тебя не более как участница в твоих веселых часах, игрушка любви? Разве я не жена тебе, Кола, а любовница?

– Ты слишком дорога мне, – прошептал трибун, – если ты останешься со мной, то у меня не хватит духу быть римлянином. Нина, низкие рабы, которых я сам освободил, оставляют меня. Теперь, когда я мог бы

уничтожить все препятствия к возрождению Рима, когда одна победа предлагает путь к совершенному успеху, когда виден уже берег, судьба вдруг оставляет меня посреди моря. Теперь явилась опасность важнее ярости баронов: они бежали; теперь уже народ изменяет Риму и мне.

– И ты хочешь, чтобы и я также изменила тебе? Нет, Кола, Нина будет возле тебя, даже в самой смерти. Жизнь и честь моя в тебе, и удар, который поразит тебя, уничтожит и меня. Я не расстанусь с тобой.

– Нина, – сказал трибун с сильным и судорожным волнением, – может быть, дело идет буквально о смерти. Оставь того, кто не может более защищать тебя и Ирену.

– Никогда, никогда!

– Ты решилась?

– Да.

– Пусть будет так, – сказал трибун с глубокой грустью в голосе, – приготовься к худшему.

– С тобой не может быть худшего, Кола!

– Обними же меня, мужественная женщина! Твои слова служат упреком моей слабости. Но сестра моя? Ежели я паду, то ты, Нина, не переживешь меня... Мы будем похоронены вместе на развалинах римской свободы. Но натура Ирены слабее. Бедное дитя! Я лишил ее жениха, и теперь...

– Ты прав, пусть Ирена уедет. И в самом деле мы можем скрыть от нее настоящую причину ее отъезда. Перемена места полезнее всего против ее печали и во всяком случае послужит благовидным предлогом для любопытных. Я пойду и приготовлю ее.

– Поди, милая моя; я хочу с минуту побыть один с моими мыслями. Но помни, она должна уехать сегодня. Нам нельзя терять времени.

Когда дверь за Ниной затворилась, трибун вынул письмо и опять медленно прочитал его.

– Итак, панский легат оставил Сиенну, просил эту республику вывести из Рима свои вспомогательные войска, объявил меня еретиком и мятежником; оттуда отправился в Марино и теперь совещается с баронами. Как? Неужели мои грезы обманули меня? Неужели народ оставит меня и себя в этой опасности? Святые и мученики, тени героев и патриотов, неужели вы оставили навсегда свое древнее жилище? Нет, я возвысился не для того, чтобы погибнуть таким образом, я могу еще их победить и оставить свое имя в наследие Риму, как предостережение притеснителям и пример свободным.

V ШАТКОСТЬ ЗДАНИЯ

Нина ласково сумела уверить Ирену, что мысль о поездке во Флоренцию имеет поводом нежную заботливость ее брата переменить место, где все напоминало ей об ее огорчениях, и где известность ее помолвки с Адрианом подвергала ее всевозможным неприятностям и затруднениям. Внезапность ее отъезда была объяснена случаем неожиданного посольства во Флоренцию (для займа оружия и денег), который давал ей возможность иметь безопасный и почетный конвой. Пассивно покорилась она тому, в чем сама видела облегчение. Было условлено, что она некоторое время будет гостить у одной родственницы Нины, настоятельницы одного из богатейших флорентийских монастырей. Мысль о монастырском уединении была приятна для ее истерзанного сердца и утомленной души.

Не зная о грозящей Риенцо опасности, она, однако же, с глубокой грустью и мрачными предчувствиями отвечала на его объятия и прощальное благословение. И оставшись наконец одна в носилках за воротами Рима, она раскаивалась в отъезде, которому опасность придала вид бегства.

Оставим Ирену в ее носилках, над которыми сгущались вечерние сумерки, и возвратимся к более бурным действующим лицам драмы. Торговцы и ремесленники Рима, в это время и особенно в продолжение популярного правления Риенцо, имели еженедельные сходки в каждом из тринадцати кварталов города. На самых демократических из этих сходок Чекко дель Веккио был оракулом и вождем. В собрании, где председательствовал кузнец, прежде чем разразился гром, послышался ропот.

– Итак, – вскричал Луиджи, красивый мясник, – говорят, что ему нужно было наложить на нас новую подать и что по этой причине он распустил сегодня совет, потому что советники, добрые люди, были честны и имели сострадание к народу. Стыдно и грешно, что казна пуста.

– Я говорил ему, – сказал кузнец, – чтобы он остерегался налагать подать на народ. Этого не хотят бедные люди. Но он не слушается моего совета и потому должен испытать последствия этого. Если лошадь вырывается из одной руки, то недоуздок остается в другой.

– Слушаться твоею совета, Чекко? Он теперь слишком зазнался для этого. Он сделался горд, как папа.

– При всем этом он великий человек, – сказал один из присутствующих. – Он дал нам законы, он освободил Кампанью от разбойников, наполнил улицы купцами и лавки товарами, победил самых смелых вельмож и храбрейших солдат Италии.

– И теперь ему нужно облагать народ податью – вот вся благодарность, которую мы получили за то, что помогли ему, – сказал ворчливый Чекко. – Чем был бы он без нас? Что мы сделали, то можем и уничтожить.

– Но, – продолжал адвокат, видя для себя поддержку в других, – он налагает подать для нашей свободы.

– Кто же нападает на нее теперь? – спросил мясник.

– А бароны. Они собирают каждый день новую силу в Марино.

– Марино не Рим, – сказал Луиджи, мясник, – пусть они придут к нашим воротам опять, мы знаем как принять их; если трибун великий человек, то зачем он не дает нам мира? Все мы хотим теперь спокойствия.

– Братцы, – сказал Чекко, – безумство состояло в том, что он не отрубил головы баронам, когда они попались в его западню, то же говорит и мессер Барончелли (о, Барончелли честный человек и не любит полумер). Не сделать это значило некоторым образом изменить народу. Если бы не эта ошибка, то мы не потеряли бы такое множество дюжих молодцов у ворот св. Лаврентия.

– Правда, правда. Это срам: говорят, бароны подкупили.

– А эти бедные синьоры Колонна, – сказал другой, – юноша и мужчина, которые, за исключением Каstellо, были лучше всех в этой фамилии, признаюсь, я пожалел о них.

– Но к делу, – сказал один из толпы, самый богатый из всех, – подать – вещь значительная. Налagать ее на нас – неблагодарность. Пусть-ка он посмеет это сделать.

– О, он не посмеет, потому что, говорят, папа наконец ощетинился, и потому трибун зависит единственно от нас.

Дверь отворилась, и вбежал человек, который громко закричал:

– Папский легат прибыл в Рим и послал за трибуном, который сию минуту вышел от него.

Прежде чем слушатели опомнились от удивления, звук трубы привлек их внимание. Они увидели Риенцо, который ехал со своей обычной свитой и в своем великолепном уборе. Приближались сумерки, и факельщики освещали ему дорогу. Лицо его было совершенно спокойно, но это не было довольное спокойствие. Он проехал мимо, и улица снова опустела.

Риенцо молча подъехал к Капитолию и вошел в комнаты дворца, где Нина, бледная и задыхающаяся, ожидала его возвращения.

– Ты смеешься! Нет, это та страшная улыбка, которая хуже, чем нахмуренные брови Говори, милый мой, говори, что сказал кардинал?

– То, что тебе не совсем приятно будет услышать. Сперва он начал говорить громко и торжественно о том, как преступно было объявить римлян свободными, потом об измене, заключающейся в словах, что избрание римского короля должно зависеть от римлян.

– Хорошо. Что же ты отвечал?

– Что было прилично римскому трибуну. Я опять подтвердил и доказал все права Рима. Кардинал перешел к другим обвинениям.

– Каким?

– К избиению баронов у ворот Сен-Лоренцо, сделанному для собственной нашей защиты от клятвопреступных врагов. Это в сущности было главным обвинением. Папа выслушал Колонну. Далее кардинал обвинял меня, что я купался в вазе, которую употреблял Константин, когда был язычником.

– Может ли быть! Что же ты сказал?

– Я засмеялся. «Кардинал, – отвечал я, – то, что не было слишком хорошо для язычника, не может быть слишком хорошо для христианина». И, правду сказать, угрюмый француз имел такой вид, как будто бы я оборвал его. Когда он кончил, то я в свою очередь спросил его: «Обвиняют ли меня в том, что я был к кому-нибудь несправедлив в суде?» – Молчание. «Говорят ли, что я нарушил какой-нибудь из государственных законов?» – Молчание. «Сделан ли был хоть намек, что торговля в упадке, что жизнь небезопасна, что дома или за границей римское имя не уважается, до такой степени, что никакое прежнее правление не может в этом сравниться с настоящим?» – Молчание. «В таком случае, синьор кардинал, – сказал я, – вы должны благодарить, а не осуждать меня», француз долго смотрел на меня и дрожал, и корчился, и наконец сказал: «Я должен исполнить только одно дело от имени первосвященника: откажись от своего трибунства или церковь наложит на тебя торжественное проклятие».

– Как, как! – вскричала Нина, сильно бледнея. – Что тебя ждет?

– Отлучение от церкви.

Этот грозный приговор, которым духовная власть так часто поражала самых жесточайших врагов своих, раздался в ушах Нины, как колокол. Она закрыла лицо руками. Риенцо быстро ходил по комнате: «Проклятие! – прошептал он, – проклятие на меня!»

– О, Кола, неужели ты не старался умиловать этого строгого...

– Умиловать! «Кардинал, – сказал я (и почувствовал, что его душа затрепетала от моего взгляда), – я получил власть свою от народа и только народу я отдам ее. Что касается моей души, то ей не могут повредить слова человека. Ты сам подвергнешься проклятию, гордый кардинал, если, будучи игрушкой и орудием низких интриг и изгнанных тиранов, ты, во имя Бога

правды, скажешь хоть одно слово в защиту притеснителя против прав угнетенных». С этими словами я его оставил, и теперь...

– Что теперь будет? Отлучение! В столице церкви, и при суеверии народа! О, Кола!

– Если бы, – прошептал Риенцо, – моя совесть упрекала меня хоть в одном преступлении, если бы я запятнал свои руки в крови хоть одного праведника, если бы я нарушил закон, который создал сам, если бы я брал взятки и притеснял бедных или презирал сирот, или не имел сострадания к вдовам, тогда бы... тогда... – но нет! Боже, Ты не оставишь меня!

Долгое время спустя после разговора с Ниной, когда уже прозвучал полночный колокол, Риенцо стоял один на балконе, чтобы охладить ночным воздухом лихорадочный жар, остававшийся еще в его измученном теле. Ночь была необыкновенно спокойна, воздух был чист, по холоден, потому что это происходило в декабре.

Вдруг он увидел двух человек в черной одежде, стоявших возле пьедестала статуи и по-видимому занятых делом, которого он не мог угадать. Трепет пробежал по жилам его, потому что он никогда не мог избавиться от смутной идеи, что между его судьбой и этим ужасным памятником есть какая-то таинственная роковая связь. Несколько оправившись от своего страха, он услышал, что его часовой окликнул этих людей, и когда они выдвинулись вперед, на свет, то он заметил, что на них была монашеская одежда.

– Сын, не беспокой нас, – сказал один из них часовому, – по приказанию легата святого отца, мы прибываем к этому публичному памятнику правосудия и гнева указ об отлучении еретика и мятежника.

Горе проклятому церковью!

VI

ПАДЕНИЕ ХРАМА

На следующее утро ни одной души не было видно на улицах; лавки и церкви были заперты; город как будто находился под запрещением. Страшное проклятие папского отлучения, постигшее главного сановника первосвященнического города, казалось, оледенило все артерии жизни.

К вечеру можно было видеть нескольких людей. Которые переходили площадь Капитолия, крестились при виде указа, прибитого к статуе льва, и исчезали за дверьми большой дворца. Вслед за тем несколько беспокойных групп собралось на улицах, но они скоро разошлись.

На третий день новое происшествие нарушило мертвую летаргию города. Сто пятьдесят наемников под предводительством неаполитанца Пепина Минорбино, полудворянина, полубандита (креатуры Монреалья), вошли в город, овладели крепостями Колоннов и послали герольда по городу объявить, от имени кардинала легата, награду в десять тысяч флоринов за голову Колы ди Риенцо.

Тогда громко раздался резкий и вдохновляющий звук большого капитолийского колокола. Народ вялый, унылый, под влиянием благоговейного ужаса перед папской властью, которая в этом отношении сделалась еще сильнее со времени удаления папского престола из Рима, пришел без оружия в Капитолий. Там у площади Льва стоял трибун. Его оруженосцы внизу лестницы держали его боевого коня, его шлем и ту самую боевую секиру, которая блистала впереди его победоносного войска.

Возле него были немногие из его телохранителей, его слуги и двое или трое из важных граждан.

Он стоял прямо и с обнаженной головой, смотря на унылую и безоружную толпу взглядом горького презрения, смешанного с глубоким состраданием; и когда колокол замолк и толпа затихла, чтобы слушать, он заговорил.

– Вы пришли опять! Как же вы пришли: как рабы или как свободные? Горсть вооруженных людей находится в ваших стенах: неужели вы, прогнавшие от своих воров самых гордых рыцарей, самых искусных воинов Рима, поддадитесь теперь одной с половиной сотне наемников и чужеземцев? Хотите ли вы вооружиться за вашего трибуна? Вы молчите – пусть будет так. Хотите ли вы вооружиться за вашу собственную свободу, за ваш Рим? Опять молчание! Боже мой! Неужели вы пали до такой степени? Неужели у вас нет оружия для собственной вашей защиты? Римляне, выслушайте меня! – Послышался долгий глухой общий ропот, наконец он перешел в явственные слова, и многие голоса закричали вдруг:

– Папский указ! Ты проклят!

– Как! – вскричал трибун. – Неужели вы оставляете меня, вы, за дело которых человек осмеливается бросать в меня грома Божий? Разве не за вас я объявлен еретиком и мятежником? В чем состоят мои преступления? В том, что я сделал Рим свободным и объявлял свободу Италии; в том, что я смирил гордых магнатов, которые были врагами папы и народа. И вы – вы упрекаете меня за то, на что я отважился или что сделал для вас!

– Жаль, что он хотел обложить нас податью, – сказал Чекко дель Веккио, который был настоящим олицетворением чувств толпы, – и что он не казнил баронов!

– Да! – вскричал Энс, гробокопатель, – но эта святая порфировая ваза!

– И к чему мы будем подвергаться опасности, чтобы нас зарезали, как моих двух братьев? Упокой их Господи! – сказал Луиджи, мясник.

На лице толпы было общее выражение нерешимости и стыда; многие плакали и вздыхали, никто, за исключением упомянутых ворчунов, не обвинял; никто не упрекал, но никто также, казалось, не был расположен вооружиться.

– О Боже, если бы я был большим! – вскричал Анджело, стоявший позади Риенцо.

– Послушайте его, послушайте мальчика, – вскричал трибун, – устами младенца говорит мудрость! Он хочет быть большим, как вы, чтобы сделать то, что вы должны были бы сделать. Слушайте: с этими немногими верными мне людьми я поеду в квартал Колоннов, к крепости вашего врага. Перед этой крепостью трубы мои прозвучат три раза. Если при третьем разе вы не явитесь туда же, вооруженные как следует вам, – я не говорю все, а три, две сотни, даже одна, – то я сломаю мой начальнический жезл, и свет скажет, что сто пятьдесят разбойников покорили Рим и уничтожили его сановника и законы!

С этими словами он сошел с лестницы и сел на коня; чернь молча расступилась, и трибун со своей маленькой свитой медленно поехал и постепенно исчез из глаз возрастающей толпы.

Римляне остались на месте, и после некоторой паузы демагог Барончелли, видя, что открывается дорога для его честолюбия, обратился к ним с речью. Не будучи ни красноречив, ни даровит, он, однако же, обладал искусством высказывать самые популярные общие места. Он знал слабую сторону своих слушателей: их тщеславие, беспечность и надменную гордость.

– Послушайте, братцы, – сказал он, взбегая по лестнице на площадь Льва, – трибун говорит честно, как всегда, но обезьяна доставала свои каштаны лапами кошки, так и он хочет загребать жар вашими руками. Вы не будете так глупы, чтобы позволить ему это. Добряк трибун живет во дворце и задает пиры, и купается (стыд ему!) в порфировой вазе, в которой св. Сильвестр крестил императора Константина: все эти вещи стоят того, чтобы сражаться за них, но что выиграете вы, кроме жестоких ударов и праздничных зрелищ? Если вы побьете этих людей, то у вас появится новая подать на вино; вот какая будет вам награда!

– Слушайте! – вскричал Чекко, – труба трубит, какая жалость, что ему понадобилось обложить нас податью!

– Вот труба звучит в другой раз, – сказал мясник. – Если бы у нашей старухи матери не было уже убит двое из ее сыновей, то я бы пошел сражаться за смелого трибуна.

– Опоздаете, – продолжал Барончелли, – опоздаете. А как это будет жалко! Если верить трибуну, то он единственный человек, который может спасти Рим. Чу! Третья труба: теперь уже слишком поздно!

Вдали раздался долгий меланхолический звук трубы. Казалось, это было последним предостережением со стороны гения этих мест, и когда звук замолкнул, то всей толпой овладело уныние. Она начала сожалеть и раскаиваться, когда сожаление и раскаяние уже были бесполезны. Шутовство Барончелли вдруг сделалось неприятным, и оратор, к своему прискорбию, видел, что толпа стала расходиться во все стороны именно в то время, когда он хотел рассказать ей о великих подвигах, какие он мог бы для нее сделать.

Между тем трибун невредимо проехал через опасный квартал неприятеля, который, будучи испуган его приближением, заперся в своей крепости. Он направил свой путь к замку св. Анджело, где Нина уже была прежде его. Там эта гордая женщина встретила его с улыбкой, радуясь его безопасности и не пролив ни одной слезы об изменившем ему счастье.

VI

НАСЛЕДНИКИ НЕУСПЕШНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. КТО ДОСТОИН ПОРИЦАНИЯ? ОСТАВЛЕННЫЙ ИЛИ ОСТАВИВШИЕ?

Весело сияло зимнее солнце над римскими улицами, когда по ним шло войско баронов. Кардинал-легат ехал во главе; старый Колонна (уже не прямой и надменный, а согнутый и сокрушенный потерей своих сыновей) по правую его руку, а Лука ди Савелли, со своей мягкой улыбкой, и Ринальдо Орсини, с мрачно нахмуренными бровями, ехали позади. Это был длинный, дикий строй, состоявший большей частью из чужеземных наемников. Процессия похожа была не на возвращение изгнанных граждан, а на вторжение неприятеля.

– Монсиньор Колонна, – сказал кардинал-легат, маленький увядший человек, родом француз, и исполненный самых горьких предубеждений против римлян, – этот Пепин, которого Монреаль прислал в ваше распоряжение, поистине оказал нам большую услугу.

Старый синьор поклонился, но не отвечал. Его сильный ум уже был поврежден, стеклянные глаза его смотрели бессмысленно.

– Он не слышит меня; горе довело его до второго детства! – прошептал кардинал.

На передней площади собрались обычные зеваки.

– Дорогу, дорогу, негодяи! – кричала стража, раздвигая направо и налево толпу, которая, привыкнув к спокойным и вежливым приказаниям телохранителей Риенцо, слишком медленно подавалась назад, так что многие потерпели от пик солдат и от копыт лошадей. В их числе был и наш друг Луиджи, мясник. Римская кровь его закипела, когда тупой конец немецкой пики угодил ему в живот.

– Эй, римлянин, – сказал грубый солдат с варварской претензией на итальянский язык, – дай дорогу тем, которые получше тебя. Сказать но совести, в последнее время у вас было довольно толкотни и зрелищ.

– Получше! – простонал бедный мясник, – римлянин не имеет лучших себя, и если бы мои два брата не погибли у Сан-Лоренцо, то я бы...

– Собака ворчлива и говорит о Сан-Лоренцо! – сказал один из орсинистов, следовавший за немцем, который двинулся дальше.

– О! – воскликнул другой орсинист, ехавший с ним рядом. – Я его давно знаю. Это один из шайки Риенцо.

– В самом деле? – спросил третий сурово. – Так мы можем сейчас же дать показательный пример. – И, оскорбясь каким-то вызывающим и дерзким выражением во взгляде мясника, орсинист пронзил его грудь пикой и переехал через его труп.

– Стыд! Стыд! Убийство! Убийство! – вскричала толпа и в минутной горячности начала тесниться вокруг свирепых солдат.

Легат услышал крик и, заметив стремительный напор толпы, побледнел.

– Негодяи опять бунтуют! – пробормотал он.

– Нет, есселенза. – сказал Лука, – но, может быть, будет полезно внушить им спасительный страх; они все безоружны; позвольте мне приказать страже разогнать их. Одного слова будет довольно для этого.

Кардинал согласился; приказ был отдан, и через несколько минут солдаты, пылавшие злобной мстью при воспоминании о поражении, которое они перенесли от недисциплинированной толпы, гнали ее по улицам неудержимо и беспощадно. Одних они переезжали, других закалывали, наполняя воздух криками и воплями и устилая землю таким множеством людей, которого несколько дней тому назад почти было достаточно для защиты Рима и сохранения его конституции! Среди этой дикой бурной свалки и через тела ее жертв проезжал со своей свитой легат к Капитолию, чтобы там принять

присягу граждан и объявить радость по случаю возвращения изгнанных баронов.

Когда они слезали с лошадей у лестницы, то в глаза легата бросилось объявление, написанное крупными буквами. Оно было помещено на пьедестале базальтового льва, на том самом месте, которое прежде было занято указом об отлучении. Слов было немного, и они гласили:

«Трепещите! Риенцо скоро возвратится!»

– Как! Что значит это шутовство? – вскричал легат, уже дрожа и оглядываясь на нобилей.

– Разорвите это наглое объявление. Нет, стойте! Прибейте над ним нашу прокламацию о награде в десять тысяч флоринов за голову еретика! Десять тысяч! Мне кажется, теперь этого слишком много; мы изменим цифру. Между тем, Ринальдо Орсини, синьор сенатор, веди своих солдат к св. Анджело; посмотрим, выдержит ли еретик осаду.

– В этом нет надобности, ваше высокопреосвященство, – сказал советник, опять выскакивая с официальной суетливостью, – св. Анджело сдался. Говорят, трибун, его жена и один паж ушли в эту ночь, переодетые.

– А! – сказал старый Колонна, которого отупевший рассудок пришел наконец к заключению, что движение его друзей остановлено чем-то необыкновенным. – В чем дело? Что это за объявление? Неужели никто мне не скажет, что там написано? Мои старые глаза тусклы.

Когда он резким пронизательным голосом старости задал эти вопросы, то ему ответил какой-то другой голос громким и густым тоном. Никто не знал, откуда он выходил; от толпы осталось только несколько праздношатающихся, большей частью монахов, в клобуках и шерстяных рясах, любопытство которых ничем нельзя было удержать и которым их одежда гарантировала безопасность; солдаты замыкали тыл. И между тем раздался голос, от которого у многих побледнели щеки. В ответ Колонне этот голос сказал:

– Трепещите, Риенцо возвратится!

I

УБЕЖИЩЕ ВЛЮБЛЕННОГО

У берега одного из прекраснейших озер северной Италии стоял любимый дом Адриана ди Кастелло, к которому часто и с любовью обращалось его воображение в минуты более нежных и менее патриотических мыслей. Туда, после своего злополучного возвращения в Рим, удалился молодой патриций, распустив своих блестящих спутников в неаполитанское посольство. Из них большая часть присоединилась к баронам; молодой Аннибальди, смелая и честолюбивая натура которого сильно привязалась к трибуну, держал нейтралитет; он отправился в свой замок, в Кампанью, и не возвращался в Рим до изгнания Риенцо.

Место это было способно питать меланхолическую задумчивость жениха Ирены. Не будучи собственно крепостью, оно было достаточно сильно для того, чтобы противиться всякому нападению горных разбойников и мелких соседних тиранов. Замок был построен каким-то прежним владельцем из материалов полуразрушенных вилл древних римлян, и его мраморные колонны и мозаичные мостовые придавали причудливую грацию его серым каменным стенам и массивным башням феодальной постройки.

В этом уединенном убежище Адриан провел зиму, которая представляет такой мягкий период в этом упоительном климате. Мирской шум доносился до слуха Адриана сладким и невнятным шепотом. Не вполне, и со многими противоречиями, до него дошли вести, разразившиеся подобно громовому удару над Италией, о том, что удивительный и предприимчивый человек, уже сам по себе представляющий революцию, человек, который интересовал всю Европу и возбудил самые блистательные надежды в энтузиастах, сильнейшее покровительство знатных, глубочайший ужас в деспотах, самые пылкие стремления свободно мыслящих людей, вдруг низвергнут со своего пьедестала, что голова его оценена, что его имя продано позору. Об этом событии, случившемся в конце декабря, Адриан узнал от одного странствующего пилигрима в начале марта ужасного 1348 года, когда Европа, и в особенности Италия, была опустошена страшнейшей моровой язвой, о которой когда-либо упоминала история.

Пилигрим, сообщивший Адриану о революции в Риме, не мог ничего рассказать ему о дальнейшей судьбе Риенцо и его семейства. Было известно только, что трибун и его жена ушли; никто не знал куда. Многие думали, что

они уже стали жертвой многочисленных разбойников, которые, вслед за падением трибуна, возвратились к своим прежним привычкам, не щадя ни возраста, ни пола, ни богатых, ни бедных. Так как все, касающееся экстремума, составляло предмет самую живого интереса, то пилигрим знал еще, что перед падением Риенцо сестра его оставила Рим, но куда она уехала – это было покрыто тайной.

Эти новости пробудили Адриана ото сна. Ирена находилась теперь в том состоянии, которое он изобразил в своем письме к ней: она утратила свою знатность, она была оставлена и не имела друзей. Теперь, думал великодушный и благородный влюбленный, она может быть моей без вреда для моего имени. Каковы бы ни были ошибки Риенцо, она в них не замешана. Ее руки не запятнаны кровью своих родственников; люди не могут сказать, что Адриан ди Кастелло вступает в союз с властителем, могущество которого основано на развалинах дома Колоннов. Колонны восстановлены, они опять торжествуют, Риенцо – ничто: горе и несчастье соединяют меня с той, на которую они обрушились!

Но каким образом исполнить эти романтические планы, когда неизвестно, где Ирена? Он решился сам отправиться в Рим, чтобы сделать там необходимые расспросы. Он созвал своих слуг и обрадовал их вестью о предстоящем путешествии. Кольчуга изъята из оружейной, знамя вынесено из зала, и после двух дней дорожных сборов фонтан, возле которого Адриан провел так много часов задумчивости, посещался только птицами, прилетевшими с возвращением весны, и ночная лампа уже не бросала своего одинокого луча из его комнаты на воды оставленного озера.

II ИСКАТЕЛЬ

Было светлое, тягостное, знойное утро. Одинокий всадник ехал по той несравненной дороге, с высоты которой, среди смоковниц, виноградников и олив, глазам путника постепенно открываются очаровательная долина Арно, шпили и купола Флоренции. Но не с обычным, свойственным путешественнику, взглядом удивления и восторга проезжал этот одинокий всадник, не над обычной деятельностью, весельем и одушевленностью тосканской жизни сияло полуденное солнце. Все было безмолвно, пусто и тихо; даже свет неба казался каким-то болезненным и мертвым блеском. Некоторые из хижин, стоявших у дороги, были заперты и брошены, другие

были отворены, но, по-видимому, необитаемы. Плуг и прялки стояли в бездействии, лошадь и человек праздновали ужасный праздник. Над страной тяготело проклятие, более мрачное, чем проклятие Каина! Одна телега остановилась у самых ворот, и человек в маске выбросил все, что в ней находилось, в зеленую слизистую канаву возле дороги. Это была легкая одежда, вышитая мантия щеголя, капор и покрывало какой-нибудь знатной синьоры, и лохмотья крестьянина. Бросив взгляд на работу замаскированного, всадник увидел стадо свиней, тощих и полумертвых от голода, которые побежали к этому месту в надежде на пищу, и он содрогнулся при мысли, какую пищу они могут там найти! Но прежде чем он доехал до ворот, те из свиней, которые хлопотливее всех рылись в заразной куче, упали мертвые среди стада.

– Го, го, – сказал замаскированный, и голос его приглушенно звучал сквозь маску, – ты пришел сюда умереть? Твой прекрасный бархатный плащ и твое золотое шитье не спасут тебя от *gavacciolo*[24]. Проезжай, проезжай дальше; сегодня лакомый кусок для поцелуев твоей дамы, а завтра слишком скверный даже для крысы и червя!

Не отвечая на это ужасное приветствие, Адриан (это был он) продолжал свой путь. Ворота были отворены настежь: – самый страшный знак, потому что прежде против вторжения иностранцев принимались самые строгие предосторожности. Теперь всякая забота, предусмотрительность и бдительность были напрасны. Три раза караул из девяти человек умирал на этом одиноком посту, и офицеры, которые должны были назначить им сменщиков, умерли тоже! Смерть остановила все, и суды, и полицию, управление народного здоровья и безопасности. Чума убила даже искусство, общественную связь, гармонию и механизм цивилизации, как будто бы они состояли из мяса и костей!

Адриан безмолвно и одиноко продолжал путь, решив найти и спасти свою невесту. При самом повороте за угол одной из улиц, ведущих от площади, он увидел женщину с двумя детьми. Один ребенок был у нее на руках, другой уцепился за ее платье. Она держала большую связку цветов у носа (воображаемое и любимое средство для предупреждения заразы), и шептала детям, которые стонали от голода: «Да, да, у вас будет пища! Много пищи теперь для тех, которые могут выходить. Но выходить опасно!» – и она оглядывалась по сторонам в страхе, нет ли вблизи какого-нибудь зачумленного.

– Моя милая, – сказал Адриан, – не можете ли вы указать мне дорогу к монастырю?

– Прочь, прочь! – закричала женщина.

– Увы! – сказал Адриан с печальной улыбкой. – Неужели вы не в состоянии видеть, что я еще не зачумлен?

Но женщина, не слушая его, побежала дальше. Сделав несколько шагов, она была остановлена мальчиком, который держался за ее платье.

– Мама, мама! – кричал он. – Я нездоров, я не могу идти!

Женщина остановилась, сорвала одежду с ребенка, увидела у него под рукой роковую опухоль и, оставив собственное дитя, побежала с диким воплем по площади. Вопль этот долго отдавался в ушах Адриана, хотя он не знал о противоестественной причине его: мать боялась не за ребенка своего, за самое себя! Этот плотский город был так же глух к голосу природы, как сама могила! Адриан поехал ускоренным шагом и наконец достиг красивой церкви.

Молодой всадник остановился у двери и ждал, пока служба не окончилась. Монахи сошли по лестнице на улицу.

– Святые отцы, – сказал Адриан, – могу ли я просить вас указать мне ближайшую дорогу к монастырю Санта-Мария де Пацци?

– Сын, – сказал один из этих безлицых призраков (какими монахи казались в своих одеждах, подобных савану, и в странных масках), – сын, иди своей дорогой. И да будет с тобою Бог. Только разбойники и гуляки могут теперь быть в монастыре, о котором ты говоришь. Настоятельница умерла, и многие сестры почили с нею. Монахини бежали от заразы.

Адриан чуть не упал с лошади; и в то время, как он оставался пригвожденным к месту, мрачная процессия пошла дальше, заунывно и торжественно напевая среди пустой улицы монастырский гимн.

Очнувшись от своего оцепенения, Адриан догнал монахов, и когда они окончили припев гимна, приблизился к ним.

– Святые отцы, – сказал он, – не отгоняйте меня таким образом. Может быть, в монастыре можно еще услышать о той, которую я ищу. Скажите мне, по какой дороге мне надо ехать.

– Не мешай нам, сын, – отвечал монах, говоривший прежде. – Дурной для тебя знак прерывать таким образом молитвы служителей, неба.

– Извините, извините. Я принесу полное покаяние, заплачу за множество обеден; но я ищу дорогого друга – покажите мне дорогу.

– Направо, пока доедете до первого моста. За третьим мостом, возле реки, найдете монастырь, – сказал другой монах, тронутый горячностью Адриана.

– Да благословит вас Бог, святой отец, – проговорил кавалер прерывающимся голосом и, пришпорив коня, поехал по указанному направлению. Монахи не обращали на него внимания и снова начали свою заунывную песню. До слуха его доносились умоляющие слова ее – *Miserere Domine*, смешиваясь с топотом копыт его лошади на звонкой мостовой.

С нетерпением, болью в сердце и отчаянием Адриан мчался по улице, во всю погоняя лошадь. Он доехал до первого, второго и до третьего моста и наконец остановил своего коня у стен монастыря. Он привязал его к портику, дверь которого, почти сорвавшаяся со своих петель, была наполовину открыта, прошел через двор к противоположной двери, ведущей к главному строению, добрался до резной решетки, которая теперь не была уже преградой для мирян. И когда он остановился там, чтобы собраться с духом и силами, в ушах его раздались дикий смех и громкая песня, смешанные с проклятиями. Он толкнул решетчатую дверь и, следуя по направлению, откуда доносились эти звуки, пришел к трапезной. Здесь, где собирались строгие и смиренные монахи, он увидел странную, беспорядочную разбойничью толпу вокруг верхнего стола, где некогда сидела настоятельница. С первого взгляда качалось, что эта толпа состояла из людей всех званий, потому что одни были одеты в простое шерстяное платье и даже в лохмотья, другие были разукрашены атласом и бархатом, плащами и перьями. Но второго взгляда было достаточно для того, чтобы убедиться, что собеседники принадлежали почти к одному и тому же разряду и что щегольской наряд более блестящих между ними был добычей, захваченной в неохраемых дворцах и на оставленных рынках. Когда молодой римлянин остановился как заколдованный на пороге, человек, игравший роль председателя пира, огромный смуглый разбойник с глубоким шрамом на лице, который, идя через всю щеку и верхнюю губу, придавал его крупным чертам необыкновенно отвратительный вид, обратился к Адриану:

– Войдите, войдите! Чего вы там стоите молча и в изумлении? Мы – гостеприимные гуляки и всех принимаем ласково. Здесь есть вино и женщины. Вино монсиньора епископа и женщины синьоры аббатисы.

И он запел страшную песню в честь смерти и чумы.

Прежде чем она окончилась, Адриан, понимая, что среди подобных оргий ему невозможно продолжать свои поиски, оставил оскверненную комнату и побежал, едва переводя дух, – так велик был овладевший им ужас, – пока опять не очутился на дворе, на жарком, нездоровом стоячем солнечном зное, казавшемся подходящей атмосферой для сцен, на которые он нападал. Стоя за двором в задумчивости и нерешимости, он увидел вблизи небольшую часовню. Он направился к портику, вошел туда и увидел возле святилища

одинокую монахиню, которая молилась на коленях. В узком проходе на длинном столе, на каждом конце которого тускло горели высокие свечи, привлечшие его внимание, он не совсем явственно увидел очертания множества человеческих фигур, задрапированных саванами. Под влиянием впечатления, произведенного на него унынием и святостью места и трогательным зрелищем этой одинокой и самоотверженной хранительницы мертвых, Адриан встал на колени и начал усердно молиться.

Когда он встал, несколько облегчив свое сердце, монахиня также встала и вздрогнула, заметив его.

– Несчастный! – сказала она тихим, слабым и торжественным голосом, звучавшим подобно голосу какого-нибудь призрака. – Какая судьба привела тебя сюда? Разве ты не видишь, что стоишь у праха, пораженного чумой, что дышишь разрушительным воздухом? Иди отсюда и ищи, среди всеобщего опустошения, место, куда еще не приходил этот страшный посетитель!

– Святая дева, – отвечал Адриан, – опасность, которой вы не боитесь, не страшит и меня; я ищу ту, чья жизнь дороже для меня моей собственной.

Монахиня несколько минут помолчала. Потом, пристально посмотрев на здоровое лицо и на крепкий стан Адриана, тяжело вздохнула и сказала:

– Искать одно живое существо в этом городе – значит искать загроможденные склепы и гнилую заразу от мертвых тел.

– Сестра, невеста Божественного Искупителя! – отвечал римлянин. – Умоляю тебя, скажи мне одно слово. Ты, кажется, одна из монахинь этого монастыря, лишенного своей ограды. Скажи мне, не знаешь ли ты, жива ли Ирена Габрини[25], гостя бывшей настоятельницы, сестра падшего римского трибуна?

– Ты брат ее? – спросила монахиня. – Ты этот падший сын Рима?

– Я ее жених, – отвечал Адриан грустно. – Говори.

– О плоть, плоть! Ты остаешься победительницей до конца, даже среди торжества заразы и в больницах ее! – воскликнула монахиня. – Суетный человек! Не думай о таких плотских узах; примиришь с небом, потому что дни твои сочтены!

– Женщина! – вскричал с нетерпением Адриан. – Не говори обо мне, не вооружайся против уз, святости которых ты не можешь понимать. Заклинаю тебя всем святым, скажи, жива ли Ирена?

Монахиня была испугана энергией молодою влюбленного и после минутной паузы, показавшейся ему целым веком мучительного ожидания, отвечала:

– Девушка, о которой ты говоришь, не умерла вместе с другими. Когда немногие оставшиеся в живых разошлись в разные стороны, то и она оставила монастырь. Куда она удалилась – не знаю, но у нее были друзья во Флоренции; имена их мне неизвестны.

– Да благословит тебя Бог, святая сестра! Да благословит тебя Бог! Как давно она оставила монастырь?

– Четыре дня прошло с тех пор, как разбойник и блудница завладели домом св. Марии, – отвечала монахиня со стоном, – а они явились вслед за уходом из монастыря сестер.

– Четыре дня! И ты не можешь дать мне никаких указаний?

– Никаких. Впрочем постой, молодой человек! – и монахиня, приблизясь к Адриану, понизила голос до шепота. – Спроси у беккини[26].

Адриан отскочил в сторону, торопливо перекрестился и вышел из монастыря без ответа. Он сел на лошадь и поехал обратно в середину безмолвного города. Трактиров и гостиниц там уже не было, но дворцы умерших вельмож были открыты для всех гостей, оставшихся в живых.

Обширная зала, увешанная оружием и знаменами, широкая мраморная лестница, стены которой были разрисованы вычурно и цветисто по моде того времени, вели к большим комнатам, обитым бархатом и золотой парчой, но безмолвным как могила.

Было сразу ясно, что он остановился в доме одного из местных вельмож; блеск всего его окружавшего затмевал варварское и грубое великолепие менее цивилизованных и богатых римлян. Здесь лежала лютня, на которой играли до последнего времени, позолоченная и иллюстрированная книга, читанная недавно; там стояли стулья вместе, как будто бы дама и ее поклонник здесь только что обменивались влюбленным шепотом.

– Теперь, – сказал он, – опять за работу! Я иду на поиски!

Вдруг он услышал тяжелые шаги в оставленных им комнатах. Они приблизились, и Адриан увидел две огромные зловещие фигуры, которые вошли в комнату. Они были закутаны в черную грубую одежду, руки их были голы, лица покрыты большими безобразными масками, которые доходили до груди и имели только по три малых круглых отверстия для дыхания и зрения. Адриан наполовину обнажил меч, потому что вид этих посетителей не предвещал ничего доброго.

– О! – сказал один из них. – В палаццо новый гость сегодня. Не бойся нас, незнакомец; здесь довольно места и богатства для всех людей, оставшихся теперь во Флоренции! Per Vasso! Здесь остался еще один серебряный кубок –

как это случилось? – С этими словами он схватил кубок, только что опорожненный Адрианом, и сунул его за пазуху. Потом обратился к Адриану, рука которого все еще лежала на рукоятке меча, и сказал со смехом, выходящим глухо и тяжело из-под маски:

– О, мы не режем людей, синьор, невидимое существо избавляет нас от этого труда. Мы люди честные, должностные, и пришли посмотреть, нужна ли будет здесь телега ночью.

– Так вы...

– Беккини!

Кровь Адриана застыла в жилах. Беккини продолжал:

– Вы будете жить в этом доме, покуда останетесь во Флоренции, синьор?

– Да, пока его не потребует законный владелец.

– Ха! Ха! Законный владелец! Теперь чума владеет всем! Да, я видел три блестящие компании, которые жили в этом дворце последнюю неделю, и похоронил их всех – всех! Это довольно веселый дом и дает нам хорошую работу. Вы один?

– В настоящее время один.

– Покажите нам, где вы спите, чтобы мы могли знать, куда прийти за вами. Я вижу, что в эти три дня вы не будете иметь в нас нужды.

– Ваши приветствия забавны! – сказал Адриан. – Но послушайте. Не можете ли вы отыскивать живых, так же как вы хороните мертвых? Я ищу в этом городе одну особу: если вы найдете ее, то получите столько, сколько за целый год похорон.

– Нет, нет! Это не по нашей части. Отыскивать живых среди этих запертых домов и зияющих склепов все равно, что отыскивать упавшую песчинку на морском берегу. Но если вы заплатите бедным могильщикам вперед, то, я обещаю вам, вы первый будете положены в новый склеп для мертвых; он будет окончен как раз к вашему времени.

– Вот! – сказал Адриан, бросая этим несчастным несколько золотых монет. – Вот! И если вы хотите оказать мне добрую услугу, то оставьте меня, по крайней мере, до тех пор, пока я жив; впрочем, я могу избавить вас от этого беспокойства. – И он вышел из комнаты.

Говоривший с ним беккини пошел за ним.

– Вы щедры, синьор, погодите. Вы нуждаетесь в более свежей пище, чем эти гадкие объедки. Я буду доставлять вам самую лучшую провизию, пока – пока она вам будет нужна. Послушайте, кого вам надо отыскать?

Этот вопрос остановил Адриана. Он назвал имя и все подробности, какие мог, об Ирене; с болью в сердце он описал волосы, черты и рост этой милой

и обожаемой девушки, которые могли бы послужить темой для поэта, а теперь служили указанием для гробокопателя.

Когда Адриан кончил, беккини покачал головой.

– Я слышал пятьсот таких описаний в первые дни чумы, когда еще были во Флоренции влюбленные; но это лакомое описание, синьор, и для бедного беккини будет гордостью открыть или даже похоронить столько прелестей! Я сделаю, что только могу; а между тем, чтоб ваше время не пропадало даром, я могу рекомендовать вас многим хорошеньким личикам, и...

– Прочь, дьявол! – пробормотал Адриан. – Я глупец, что трачу время с таким, как ты! – И он ушел, сопровождаемый смехом могильщика.

Весь этот день Адриан бродил по городу, но поиски и расспросы его были одинаково бесполезны. Все, кого он встречал и спрашивал, казалось, смотрели на него, как на сумасшедшего; да и в самом деле не было вероятности, чтобы эти люди могли помочь ему. Дикая толпа беспутных, пьяных гуляк, кое-где процессии монахов, и люди, которые, спеша, удалялись от всякого и избегали всяких разговоров, были единственными прохожими на этих печальных улицах. Наконец, солнце, желтое и подернутое мглой, скрылось за холмами, и тьма окружила беззвучный путь моровой язвы.

III

ЦВЕТЫ СРЕДИ МОГИЛ

Возвратясь домой, Адриан увидел, что беккини позаботились о том, чтобы голод не опередил чумы. Кушанья, оставленные умершими, были убраны, свежие яства и вина всякого рода, которых и тогда было много во Флоренции, украшали стол. Он закусил, хотя умеренно и, содрогаясь при мысли об отдыхе на какой-нибудь постели, на простынях которой так недавно работала смерть, тщательно запер дверь и окно, завернулся в свой плащ и лег на подушках комнаты, где ужинал. Усталость навеяла на него беспокойный сон, но он вдруг проснулся от стука телеги на улице и звона колоколов. Он стал прислушиваться: телега медленно двигалась от одной двери к другой, и наконец стук ее замер в отдалении. Адриан уже не спал в эту ночь более!

С восходом солнца он возобновил свои поиски; и было еще рано, когда в то самое время, как он проходил мимо церкви, две богато одетые дамы вышли из портика и, казалось, с напряженным вниманием смотрели сквозь

свои маски на молодого кавалера. Этот пристальный взгляд остановил его, и одна из двух женщин сказала:

– Прекрасный господин, вы чересчур смелы: вы не носите маски и не нюхаете цветов.

– Синьора, я не ношу маски потому, что хочу, чтобы меня видели: я пришел в эти несчастные места искать одну особу, которую потерять для меня значит то же, что расстаться с жизнью.

– Он молод, красив, очевидно благородного происхождения, и чума не коснулась его: он хорошо послужит для нашей цели, – прошептала одна из дам другой.

– Ваши слова отголосок моих собственных мыслей, – отвечала ее спутница и, обращаясь к Адриану, сказала: – Если вы ищете с таким жаром, то значит вы ищете не жену.

– Это правда.

– Молодая и прекрасная, с темными волосами и белоснежной шеей? Я провожу вас к ней.

– Синьора!

– Идите за нами.

– Знаете ли вы, кто я и кого ищу?

– Да.

– Вы в самом деле можете мне что-нибудь сказать об Ирене?

– Могу: идите за мной.

– К ней?

– Да, да: идите за нами!

Дамы пошли, как будто не желая больше разговаривать. Изумленный, в нерешимости и как бы во сне, Адриан последовал за ними. Их одежда, манеры и чистый тосканский выговор той, которая говорила с ним, указывали в них женщин знатного происхождения и состояния: но все остальное было загадкой, которую он не мог разрешить.

Они пришли к одному из мостов, где их ожидали носилки и слуга верхом на лошади, державший другого коня за узду. Дамы сели в носилки, а та, которая говорила с Адрианом, попросила его ехать за ними верхом.

– Но скажите мне... – начал он опять.

– Никаких вопросов, кавалер, – отвечала она с нетерпением, – следуйте за живыми молча или оставайтесь с мертвыми.

Носилки двинулись, а удивленный Адриан сел на коня и поехал за странными путеводительницами, которые продолжали путь довольно скоро. Они переехали мост, оставили реку в стороне и поднялись на отлогую возвышенность, где, вместо унылых стен и пустых улиц начали появляться

деревья и цветы того климата. Проехав таким образом около получаса, они повернули в зеленую аллею в стороне от дороги и вдруг очутились у портиков прекрасного и величественного палаццо. Здесь дамы вышли из носилок. Адриан, напрасно старавшийся заставить слугу говорить, также слез с лошади и, идя за ними через обширный двор, украшенный с обеих сторон вазами цветов и померанцевыми деревьями, а потом через обширную залу в дальнем конце четырехугольника, очутился в одном из прекраснейших мест, которые когда-либо видел глаз или воспевал поэт. Посреди луга сидели четыре дамы без масок и богато одетые, из которых старшей, казалось, было едва ли больше двадцати лет, и пять кавалеров молодых и красивых, камзолы которых, украшенные дорогими камнями, и золотые цепи свидетельствовали об их знатности. Возле стоял стол с винами и плодами; там и сям были рассеяны музыкальные инструменты, шахматные доски и игорные столы. Такую прекрасную группу и такую грациозную сцену Адриан видел впервые – и именно среди ужасной моровой язвы в Италии! Наше воображение может представить это при чтении страниц блистательного Боккачио.

Увидев Адриана и его спутниц, компания встала, и одна из дам, голова которой была украшена лавровым венком, выступив вперед других, сказала:

– Вы сделали хорошо, моя Марианна! Добро пожаловать, мои прекрасные подданные. И вы, синьор, добро пожаловать.

Между тем провожатые Адриана скинули свои маски, и та из них, которая говорила с ним, откинула свои длинные черные кудри и обратилась к нему прежде, чем он мог ответить на приветствие.

– Синьор кавалер, – сказала она, – теперь вы видите, куда я вас заманила. Признайтесь, что это место привлекательнее тех видов и звуков, которые представляет город. Вы смотрите на меня в удивлении. Взгляните, моя королева, каким безгласным сделали нашего нового обожателя чудеса вашего двора. Уверяю вас, он довольно скоро заговорил, когда увидел, что ему не с кем говорить, кроме нас.

– А! Так вы еще не объяснили ему обычаев и происхождения двора, в который он вступает? – сказала дама в лавровом венке.

– Нет, моя королева; я думала, что всякое описание, сделанное в таком месте, какова теперь наша бедная Флоренция, не достигло бы своей цели. Мое дело сделано, я передаю его вашей светлости.

С этими словами она легко отошла в сторону и начала кокетливо приглаживать свои волосы, смотрясь в гладкое зеркало мраморного бассейна, вода которого бежала через край на траву.

– Во-первых, синьор, позвольте нам спросить ваше имя, звание и место рождения, – сказала дама, носившая звание королевы.

– Синьора, – отвечал Адриан, – я приехал сюда, мало думая о том, чтобы отвечать на вопросы, касающиеся меня самого; но мне будет приятно ответить на то, о чем вам угодно было спросить меня. Мое имя Адриан ди Кастелло, я принадлежу к римской фамилии Колоннов.

– Благородная колонна благородного дома! – отвечала королева. – Что касается нас, о которых, может быть, вам любопытно узнать, то мы, шесть флорентийских дам, будучи оставлены нашими родственниками и покровителями или потеряв их, решили удалиться в это палаццо. Если смерть придет сюда, то она не принесет с собой и половины своих ужасов. Ученые говорят, что печаль производит страшную болезнь: и потому вы видите в нас заклятых врагов печали. Шестеро знакомых нам кавалеров согласились присоединиться к нам. Мы проводим наши дни во всяких развлечениях, какие можем найти и придумать. Каждая из нас поочередно бывает королевой нашего волшебного двора; сегодня моя очередь. Наша конституция состоит из одного закона – у нас не допускается ничто грустное. Один из наших рыцарей безрассудно оставил нас на один день, обещая вернуться: больше мы его не видали. Появилась необходимость заместить его; мы бросили жребий, кому из нас искать ему преемника; жребий, пал на двух дам, которые и привели вас сюда. Прекрасный синьор, мое объяснение кончено.

– Увы, прекрасная королева, – сказал Адриан, – я не могу принадлежать к вашему кружку. Моя душа наполнена одной грустной и тревожной мыслью, при которой всякое веселье показалось бы нечестным. Я ищу между живыми и мертвыми одно существо, о судьбе которого я не знаю, и только слова моей прекрасной проводницы отвлекли меня от моей печальной заботы и заманили сюда. Позвольте мне, великодушная синьора, возвратиться во Флоренцию.

Королева в безмолвной досаде посмотрела на темноглазую Марианну, которая отвечала на этот взгляд другим, столько же выразительным, и потом, вдруг подходя к Адриану, сказала:

– Но, синьор, если я исполню свое обещание, если я в состоянии уверить тебя в здоровье и безопасности... Ирены?

– Ирены! – повторил Адриан с удивлением, забыв в эту минуту, что он сам прежде называл имя той, которую искал. – Ирены, Ирены ди Габрини, сестры знаменитого Риенцо!

– Именно, – отвечала Марианна с живостью, – я знаю ее, как уже сказала вам. Синьор, я не хочу вас обманывать. Правда, я не могу отвести вас к ней, но она давно уже отравилась в один из городов Ломбардии, куда, говорят, чума еще не проникла. Облегчилось ли теперь ваше сердце, синьор? И

неужели вы захотите так скоро оставить этот двор красоты и, может быть, любви, – прибавила она с нежным взглядом.

– Могу ли я в самом деле верить вам, синьора? – сказал Адриан в восторге, но все еще сомневаясь.

– Неужели я стану обманывать верного влюбленного, каким вы мне кажетесь? Будьте уверены в истине моих слов. Прошу тебя, королева, прими своего подданного.

Королева протянула руку Адриану и повела его к группе, стоявшей по-прежнему на траве, недалеко от них. Все приветствовали его, как брата, и скоро извинили его рассеянное поведение, принимая во внимание его приятную наружность и знатное имя.

Королева хлопнула руками, и компания опять разместилась на лугу. Каждая из дам села возле своего обожателя.

– Если вы не устали, Марианна, – сказала королева, – то возьмите лютню и заставьте замолчать этих звонких кузнечиков, которые трещат вокруг нас с такой претензией, как будто бы они соловьи. Пойте, милая подданная, пойте; и выберите для этого песню нашего дорогого друга синьора Висдомини, сочиненную в виде вступительного гимна для тех, кого мы принимаем к своему двору.

Марианна наклонилась к Адриану, взяла лютню и, после короткой прелюдии, пропела:

О веселись, когда не знаешь.
Что завтра ждет тебя... поверь.
Своим уныньем отворяешь
Ты для угрюмой смерти дверь!
К чему ж страдать в тоске напрасной.
Прочь горе! Будем веселей:
Покровы туч, мрача день ясный.
Приводят только ночь скорей
Смерть в дружбе с радостью: старайся
Веселым быть; гони печаль.
Люби, пируй и наслаждайся –
Вот гроба вечная мораль!

За этой песнею, заслужившей большое одобрение, последовали те легкие и остроумные рассказы, в которых итальянские новеллисты послужили для Вольтера и Мармонтеля образцом. Каждый говорил поочередно, с одинаковой ловкостью избегая печальных картин и размышлений, которые

могли бы напомнить, этим изящным празднующим о близости смерти. Наконец, пришло время, когда компания удалилась в палатку на время полуденного жара, с тем, чтобы выйти опять при закате солнца, танцевать, петь и веселиться до тех пор, пока настанет час отдыха. Но Адриан, не желавший участвовать более в подобных забавах, как только пришел в комнату, куда его провели, решился тайно уйти. Когда все, казалось, было безмолвно и спокойно среди отдыха, которому в этот час обыкновенно предаются южные жители, он вышел из своей комнаты, спустился с лестницы, прошел внешний двор и был уже у ворот, как вдруг услышал, что его кто-то зовет голосом, выразившим досаду и тревогу. Он обернулся и увидел Марианну.

– Как, что это значит, синьор ди Кастелло? Разве наше Общество так неприятно, что вы бежите, как бежит путник от ведьм, на которых он наткнулся у Беневенто? Нет, не может быть, чтобы вы думали оставить нас теперь!

– Прекрасная синьора, – возразил кавалер, – я напрасно стараюсь разогнать свои печальные мысли или сделаться годным для двора, к которому ничто грустное не пристало. Ваши законы тяготееют надо мной, как над преступником; бегство вовремя лучше сурового изгнания.

Говоря это, он пошел дальше и уже проходил через врата, но Марианна схватила его за руку.

– Однако, – сказала она нежно, – разве здесь нет черных глаз и шей снежной белизны, которые могут вознаградить тебя за отсутствие твоей милой? Поживи здесь и забудь, как, без сомнения, сам ты будешь забыт в отсутствии!

– Синьора, – отвечал Адриан очень серьезно, – я не так долго жил среди вздохов и звуков скорби для того, чтобы мое сердце огрубело и чтобы моя душа сделалась нечувствительна ко всему окружающему. Наслаждайтесь, если можете; что же касается меня, то красота теперь не радует меня, и любовь, даже святая любовь – как будто помрачена тенью смерти. Извините меня и прощайте.

– Так иди, – сказала флорентинка, – иди и ищи свою милую там, куда влечет тебя твоя философия. Я обманула тебя, слепой безумец, сказав тебе, что Ирена выехала из Флоренции. Я о ней ничего не знаю и ничего не слыхала, кроме того, что ты сам мне сказал. Иди назад, разыщи ее гроб и удостоверься, любишь ли ты ее по-прежнему!

IV

МЫ НАХОДИМ, ЧТО ИЩЕМ, И НЕ ЗНАЕМ ЭТОГО

В самый жестокий дневной жар, пешком, Адриан возвратился во Флоренцию. Дневной жар, продолжительная усталость, изнурение в соединении с крайним отчаянием в возможности придумать какой-нибудь систематический способ розысков, все это вызвало горячку, которая быстро начала распространяться по его телу. Виски его отяжелели, губы засохли от нестерпимой жажды; сила, казалось, вдруг оставила его; и он с большим трудом и усилием волочил ноги.

«Я чувствую заразу, – думал он со страшной тошнотой и с содроганием, с которым природа всегда борется против смерти, – я чувствую, что пожирающий и невидимый недуг овладел мною, я погибну и не спасу ее; и мы будем лежать не в одной могиле!»

Эти мысли быстро усилили болезнь, которая начала им овладевать; и прежде чем он вошел в город, сознание его начало путаться, он стал бредить и шел, бормоча прерывистые и несвязные фразы. Немногие встречавшиеся с ним люди в ужасе бежали от него.

– Ирена, Ирена! – говорил он то тихим шепотом, то дико и пронзительно крича. – Где ты? Где ты? Я пришел вырвать тебя у них; ты не достанешься им, нечистым и безобразным дьяволом! Фи! Как воздух пахнет мертвыми телами! Ирена, Ирена, мы уедем в мое палаццо к очаровательному озеру – Ирена!

Между тем как он восклицал таким образом, две женщины вдруг вышли из соседнего дома в масках и плащах.

Более высокая и изящная, была одета в темно-голубой плащ, (здесь это необходимо заметить), богато вышитый серебром, цвет и фасон были редки во Флоренции, но обыкновенны в Риме, где женщины высшего звания носили одежду чрезвычайно светлых цветов и широкую, не похожую на простую и узкую одежду тосканского покроя.

– Напрасное благоразумие, – сказала эта женщина, – бежать от неумолимой и верной участи!

– Ирена, Ирена! Если ты в Милане или другом ломбардском городе, то зачем я остаюсь здесь? На коня, на коня! О, нет! Нет! Мне не нужно лошади с колокольчиками! Не нужно погребальной телеги!

С криком и воплем, более громким, чем вопль больного, произнесшего эти слова, молодая женщина бросилась прочь от своей спутницы. Казалось, сделав один только шаг, она очутилась возле Адриана. Она схватила его

руку, она взглянула ему в лицо, она встретила бессознательный взгляд его глаз, сверкавших страшным огнем.

– Он заразился! – вскричала она, потом прибавила печальным, но спокойным голосом: – Чума!

– Прочь, прочь! Вы с ума сошли! – вскричала ее спутница. – Не дотрагивайтесь до меня теперь, когда вы уже дотронулись до него. Идем отсюда!

– Помогите мне перенести его куда-нибудь, посмотрите, он лишается чувств, он шатается, он падает! Помогите мне, милая синьора, во имя сострадания, ради Бога!

Но попав под влияние эгоистического страха, овладевшего всеми в это несчастное время, старшая из двух женщин, хотя от природы добрая. Сострадательная и сговорчивая, быстро побежала прочь и исчезла из виду. Молодая девушка осталась таким образом одна с Адрианом, который, в припадке горячки, упал на землю. Но силы и энергия не оставили ее. Она сбросила с себя тяжелый плащ, который мешал свободному движению ее рук, и тогда, подняв вверх лицо своего милого (кто, кроме Ирены, мог быть этой женщиной, которая не боялась смертельной заразы?), она прислонила его к своей груди и громко начала звать на помощь. Наконец, беккини, бывшие в шалаше, о котором мы уже упоминали, лениво подошли к ней.

– Скорей, скорей, ради Христа! – сказала им Ирена. – У меня много золота; я хорошо заплачу вам: помогите мне перенести его в ближайший дом.

– Оставьте его нам, молодая синьора; мы знакомы с ним, – сказал один из могильщиков. – Мы исполним нашу обязанность при нем, первую и последнюю.

– Нет, нет! Не трогайте его за голову; это моя забота. Я помогу вам. Вот так; теперь идем, только потише!

С помощью их Ирена перенесла Адриана в соседний дом и положила его на кровать. Сохраняя, как только могут одни женщины в подобных обстоятельствах, присутствие духа и бдительную предусмотрительность, она прежде всего велела беккини сбросить простыни и одеяла, которые могли содержать в себе заразу. Потом она послала их за новым бельем а также за доктором, которого только деньгами можно было привлечь к исполнению обязанности, тогда главным образом предоставленной монашеским братствам.

А между тем по улице, где наконец встретились Адриан и Ирена, с песнями и криком шла в беспорядке беспутная и развратная толпа, поселившаяся в монастыре Санта-Мария де Пацци. Во главе их шел атаман, под руку с двумя монахинями, которые были уже не в монашеской одежде.

– Да здравствует чума! – кричал разбойник.
– Да здравствует чума! – повторяли его неистовые вакханки.
– Гоп-ля! – вскричал атаман, останавливаясь. – Вот, Маргарита, славный плащ для тебя: на нем серебра довольно для того, чтобы наполнить твой кошелек, если он когда-нибудь опустеет, что может случиться, если чума станет ослабевать.

Говоря это, он схватил плащ, бесцеремонно набросил его на ее полунагие плечи; и, как прежде, потащил ее под руку.

V ОШИБКА

В течение трех роковых дней Адриан оставался без сил и чувств. Но он не был убит болезнью, которую победила его преданная и великодушная сиделка. Это была жестокая и опасная горячка, следствие большой усталости, бессонницы и страстного волнения, которое он перенес.

Для оказания ему помощи невозможно было найти врача; но его ежедневно посещал один очень добрый монах, который, быть может, был искуснее в медицине, нежели многие, имевшие претензию на ее знание.

Ирена почти не отходила от больного, она принимала пищу только для того, чтобы силы не оставили ее, она была не в состоянии сомкнуть глаза, хотя, во время сна Адриана, охотно желала бы отдохнуть. Но странно, при всем напряжении, которого требовало это одинокое бодрствование, при всем изнеможении тела и души, она казалась удивительно бодрой. Монах посетил больного поздно на третью ночь и дал ему сильное успокаивающее лекарство.

– В эту ночь, – сказал он Ирене, – будет кризис: если он проснется, как я надеюсь, в сознании и со спокойным пульсом, то он будет жить; если же нет, то приготовьтесь, дочь моя, к худшему.

Монах ушел, и Ирена снова стала бодрствовать у постели больного.

Сон Адриана был беспокоен и прерывист. Его черты, его восклицания, жесты, все обнаруживало сильную агонию – душевную и телесную. Терпеливо, безмолвно, сдерживая дыхание, Ирена сидела у изголовья. Лампа была отодвинута в дальний конец комнаты. При свете ее, заслоненном занавесками, она могла видеть только очертание лица Адриана. В страшном ожидании все мысли, которые прежде тревожили ее ум, замерли и замолкли. Вся судьба ее зависела от случайностей этой одной ночи! В ту самую минуту,

когда сон Адриана стал наконец, по-видимому, крепче и спокойнее, колокольчики похоронной телеги нарушили тишину улиц своим зловещим звоном, и Ирена услышала, что тяжелые колеса остановились под самым окном. Густой и глухой голос громко закричал:

– Выносите мертвого!

Она встала и неслышными шагами пошла затворить дверь, как вдруг тусклая лампа осветила темные и закутанные фигуры беккини.

– Вы не сделали знака на двери и не вынесли тела, – сказал один сурово, – а это уже третья ночь! Он готов для нас.

– Тише, он спит, уйдите скорей, он болен не чумой.

– Не чумой? – проворчал беккини тоном обманутого ожидания. – Я думал, что никакая другая болезнь не осмелится нарушать прав этого мора!

– Уйди, вот деньги, оставь нас.

И страшный возница с угрюмым видом удалился.

Телега двинулась; колокол снова зазвонил; наконец, этот страшный набат мало-помалу замер в отдалении.

Прикрыв лампу рукой, Ирена подкралась к постели, в страхе, чтобы этот звук и внезапный приход беккини не разбудили спящего.

Засветило утро не пасмурно и не длинно, как на севере, но тем внезапным блеском, с которым появляется день в том климате, подобно гиганту, воспрянувшему от сна. Адриан все еще спал. Казалось, ни один мускул его не шевелился; сон его был еще глубже, чем прежде; безмолвие давило воздух. Это крайнее оцепенение, так похожее на смерть, встревожило и испугало Ирену. Солнце совершило половину своего пути, – монах не приходит; она опять прикоснулась к пульсу Адриана, – он не бился. Она пристально посмотрела на больного в смущении и страхе: живой не мог бы быть так неподвижен и бледен. Сон это или?.. Она отвернулась, сердце ее болезненно сжалось, холод пробежал по жилам, язык прилип к губам. Что так замешкался монах? Она пойдет к нему, она узнает худшее, она не может терпеть долее. Монастырь был довольно далеко, но она знала где, а страх должен был придать легкости ее ногам. Она пристально взглянула на спящего и бросилась из дому. «Я скоро опять увижу тебя», – прошептала она. Увы! Какая надежда может рассчитывать далее минуты? Кто может сказать, что все зависит от него самого?

Несколько минут спустя – после того как Ирена оставила комнату, Адриан с долгим вздохом открыл глаза совсем другим человеком: горячка его прошла, пульс бился тихо, но спокойно. Ум опять сделался господином над телом, и хотя больной был очень слаб, но опасность миновала, жизнь и сознание возвратились к нему.

– Я долго спал, – прошептал он, – о, какие сны! Мне привиделась Ирена, но я не мог говорить с нею, и когда хотел дотронуться до нее, то лицо ее изменилось, фигура ее увеличилась в объеме, и я очутился в лапах отвратительного могильщика. Теперь поздно, солнце уже высоко, я должен встать и идти. Ирена в Ломбардии. Нет, нет; это была ложь, злая ложь; она во Флоренции, я должен возобновить свои поиски.

Вспомнив об этой обязанности, он встал с постели и изумился слабости своего тела. Сначала он не мог стоять, не прислонясь к стене; однако же мало-помалу он так овладел собой, что мог передвигаться, хотя с усилием и трудом. Многодневный голод томил его; он нашел кое-какую скудную и легкую пищу, которую съел с жадностью. Почти с таким же нетерпением он умылся. Теперь он чувствовал себя свежее и крепче и начал надевать свое платье, которое кучей лежало возле постели. Он с удивлением и с каким-то состраданием к себе смотрел на свои исхудалые руки и только теперь стал понимать, что вытерпел какую-то жестокую болезнь, хотя ничего не помнил.

«И я был один, – думал он, – никого не было возле меня, чтобы ходить за мною! Натура была единственной моей сиделкой! Но, увы! Как много времени, может быть, потеряно даром, а моя обожаемая Ирена... Скорей, скорей! Не буду терять ни минуты».

Адриан вышел на улицу; воздух оживил его. Он шел очень медленно и с большим трудом и наконец добрался до широкого сквера, откуда видны были в перспективе одни из главных ворот Флоренции, а за ними фиговые деревья и оливковые рощи. Со стороны этих ворот к нему приближался пилигрим высокого роста. Капор его был отброшен назад и открывал лицо, отличавшееся повелительным, но грустным видом. В его благородных чертах, на широком его челе и в гордом, бесстрашном взгляде, оттененном выражением более суровой, чем нежной меланхолии, природа, казалось, начертала величие, а судьба – несчастье. И когда в этом безмолвном и печальном месте встретились эти два человека, единственные прохожие на пустой улице, Адриан вдруг остановился и сказал встревоженным и нерешительным тоном:

– Не во сне ли я, или в самом деле вижу Риенцо?..

Услыхав это имя, пилигрим тоже остановился и, устремив долгий, пристальный взгляд на изнуренные черты молодого человека, сказал:

– Да, я – Риенцо! А ты, бледная тень, неужели в этой могиле Италии я вижу веселого, благородного Колонну? Увы, молодой друг, – прибавил он более тихим и приветливым голосом, – неужели чума не пощадила цвета римских нобилей? Я, жестокий и суровый трибун, буду твоей сиделкой: тот, кто мог быть мне братом, может требовать от меня братских попечений.

С этими словами он нежно обнял Адриана, и молодой человек, тронутый сто состраданием и взволнованный неожиданной встречей, молча склонился на грудь Риенцо. – Бедный юноша, – продолжал трибун, – я всегда любил молодых людей, а тебя в особенности. Какими судьбами ты здесь?

– Ирена! – отвечал Адриан прерывающимся голосом.

– Неужели это так? Неужели тебе, принадлежащему к дому Колоннов, еще дороги павшие? То же самое привело меня в этот город смерти. Я пришел сюда с отдаленного юга, через горы, наполненные разбойниками, пробрался через толпу моих врагов, через города, где собственными ушами слышал, как город объявлял цену за мою голову. Я пришел пешком, один, охраняемый всемогущим видением. Молодой человек, тебе бы следовало предоставить это дело тому, чья жизнь заколдована, кого небо и земля берегут еще для назначенной цели!

Трибун сказал это тоном глубокого искреннего убеждения; в его выразительных глазах и в торжественном выражении его лица можно было прочесть, что несчастья усилили его фанатизм и увеличили пылкость его надежд.

– Но, – спросил Адриан, тихонько освобождаясь из рук Риенцо, – значит, ты знаешь, где можно найти Ирену? Пойдем вместе. Не теряй ни минуты в разговорах; время дорого, и одна минута в этом городе часто ведет к вечности.

– Правда, – сказал Риенцо, вспомнив о своей цели. – Но не бойся, я видел во сне, что спасу ее, эту жемчужину и любимицу моего дома. Не бойся; я не боюсь.

– Знаете ли вы, где нужно ее искать? – сказал Адриан с нетерпением. – Монастырь наполнен теперь совсем другими гостями.

– А! Мой сон известил меня об этом!

– Не говорите о снах, – возразил Адриан, – и если у вас нет других указаний, то пойдем сейчас же расспрашивать о ней. Я пойду по той улице, вы пойдете в противоположную сторону, а при закате солнца сойдемся в одном месте.

– Легкомысленный человек! – сказал трибун с большой торжественностью. – Не насмехайся над видениями, из которых небо делает притчу для вразумления своих избранников. Да, встретимся здесь при закате солнца и увидим, чей путь будет более безошибочен. Если сон сказал мне правду, то я увижу сестру в живых, прежде чем солнце дойдет до того холма, возле церкви св. Марка.

Трибун удалился гордой и величественной поступью, которой его длинная, колышущаяся одежда придавала еще более важное достоинство.

Тогда Адриан пошел по улице направо. Он не сделал и половины пути, как почувствовал, что его кто-то дернул за плащ. Он обернулся и увидел безобразную маску беккини.

– Видя, что вы не возвращаетесь во дворец старого патриция, – сказал могильщик, – я боялся, что вы исчезли и что другой перебил у меня мою работу. Я вижу, что вы не отличаете меня от других беккини, но я тот, которого вы просили отыскать...

– Ирену!

– Да, Ирену ди Габрини; вы обещали большую награду.

– Ты получишь ее.

– Идите за мной.

Беккини пошел и скоро остановился у одного дома. Он дважды постучал в дверь привратника; какая-то старуха осторожно отворила ее.

– Не бойся, тетушка, – сказал могильщик, – это тот молодой синьор, о котором я тебе говорил. Ты сказала, что в этом палаццо есть две синьоры, которые пережили всех других жильцов, что одна из них называется Бианка ди Медичи, а другая – как?

– Ирена ди Габрини, римская синьора. Но я сказала тебе, что пошел уже четвертый день, как они оставили этот дом, испуганные соседством мертвых.

– Да, ты говорила, но не было ли чего-нибудь примечательного в одежде синьоры ди Габрини?

– Я уже сказала тебе: синий плащ, какие редко я видала, вышитый серебром.

– На нем вышиты звезды, серебряные звезды, с солнцем в середине? – вскричал Адриан.

– Да!

– Увы! Это герб семьи трибуна! Я помню, как я хвалил этот плащ в первый день, когда она надела его, – день, когда мы были обручены! – И Адриан тотчас угадал тайное чувство, заставившее Ирену так тщательно сохранить одежду, столь дорогую по этому воспоминанию.

– Тебе больше ничего не известно об этих дамах?

– Ничего.

– Так это ты узнал, негодяй? – вскричал Адриан.

– Терпение. Я поведу вас от следа к следу, от одного звена к другому, для того, чтобы заслужить свою награду. Идите за мной, синьор.

И беккини, через разные переулки и улицы, пришел к другому дому, не столь большому и великолепному. Опять он трижды стукнул в дверь, и на этот зов вышел дряхлый, совсем слабый старик, которого, казалось, смерть не хотела поразить из презрения.

– Синьор Астужио, – сказал беккини, – извини меня, но я говорил тебе, что, может быть, опять тебя побеспокою. Этому господину нужно знать то, что часто лучше бывает не знать; но это не мое дело. Не приходила ли в этот дом одна молодая и прекрасная женщина с темными волосами, с тонким станом, три дня тому назад, с первыми признаками заразы?

– Да. Ты это знаешь довольно хорошо, и даже знаешь более, именно, что она умерла два дня тому назад: с нею скоро было покончено, скорее, чем с большей частью!

– Было на ней надето что-либо особенно заметное?

– Было, несносный человек; синий плащ с серебряными звездами.

– Не имеешь ли ты каких-нибудь догадок относительно ее прежних обстоятельств?

– Нет, кроме того, что она много бредила о монастыре Санта-Мария де Пацци, о святотатстве...

– Довольны ли вы, синьор? – спросил могильщик с торжествующим видом, обращаясь к Адриану. – Но нет, я еще более удовлетворю твое, если в вас достанет храбрости. Хотите вы идти за мной?

– Я понимаю тебя; веди. Храбрость! Чего теперь мне бояться на земле?

Проводник повернулся к Адриану, лицо которого было спокойно и решительно в отчаянии.

– Прекрасный синьор, – сказал он с некоторым оттенком сострадания, – ты в самом деле хочешь убедиться собственными своими глазами и сердцем? Это зрелище может устроить, а зараза погубить тебя, если смерть еще не написала на тебе «мой»...

– Зловещий ворон! – отвечал Адриан. – Разве ты не видишь, что я боюсь только твоего голоса и вида? Покажи мне ту, которую я ищу, мертвую или живую.

– Хорошо, я покажу ее вам, – сказал беккини угрюмо, – в том виде, как две ночи тому назад она была отдана в мои руки. Черты ее, может быть, уже нельзя разобрать, потому что метла чумы метет быстро; но я оставил на ней то, по чему вы узнаете, что беккини не обманщик. Принесите сюда факелы, товарищи, и подымите дверь. Не пяльте глаза; это прихоть синьора, и он хорошо за нее заплатит.

Адриан машинально следовал за своими проводниками.

Беккини подняли тяжелую решетку, опустили свои факелы и дали Адриану знак подойти. Он стал над пропастью и пристально посмотрел вниз.

Это было глубокое, широкое и круглое пространство, подобное дну высохшего колодца. В углублениях, вырытых в земляных стенах вокруг,

лежали в гробах те, которые были ранними жертвами моровой язвы, когда рынок беккини не был еще полон, когда священник провожал и друзья оплакивали покойника. Но пол внизу представлял отвратительный и ужасный вид. Сваленные в кучу, кто нагой, кто в саване, уже сгнившем и почерневшем, лежали более поздние «гости» этой пропасти, умершие без покаяния и благословения!

И среди всего этого многочисленного кладбища одна фигура привлекала глаза Адриана. Отдельно от других лежала после всех опущенная в эту яму покойница. Темные волосы покрывали ее грудь и руку, лицо ее, несколько отклонившееся в сторону, не могло быть узнано даже матерью ее. Но она была завернута в роковой плащ, на котором виден был уже черный и потускневший, звездный герб гордого римского трибуна. Адриан не видел больше ничего и упал на руки могильщиков. Он очнулся все еще за воротами Флоренции. Он лежал, прислонившись к зеленому валу, а его проводник стоял возле, держа за узду его лошадь, которая терпеливо паслась на запущенном лугу. Другие могильщики по-прежнему сидели под навесом.

– Вы ожили! А я думал, что ваш обморок произошел от испарений, немногие выдерживают их, как мы. Так как ваши поиски кончились и вы теперь, вероятно, оставите Флоренцию, если только в вас осталось сколько-нибудь рассудка, то я привел вашу лошадь. Я кормил ее с тех пор, как вы оставили палаццо. Надеюсь, вы довольны мною теперь, когда я, служа вам, доказал некоторую сметливость; и так как я исполнил мое обещание, то и вы исполните ваше.

– Друг мой, – скачал Адриан, – здесь довольно золота для того, чтобы сделать тебя богатым, здесь также есть драгоценные камни; купцы скажут тебе, что князья наперебой пожелали бы купить их; ты кажешься мне честным человеком, несмотря на твое ремесло, иначе ты мог бы давно убить и ограбить меня. Сделай мне еще одну услугу.

– Сделаю, клянусь в том душой моей матери.

– Возьми это... это тело из страшного места. Похорони его в каком-нибудь тихом и уединенном месте – отдельно, одну! Обещаешь? Клянешься? Хорошо. Теперь помоги мне сесть на лошадь. Прощай, Италия! И если я не умру от этого удара, то я желал бы умереть так, как прилично чести и отчаянию: при звуке труб, среди знамен, развевающихся вокруг меня, в доблестной битве с достойным врагом, – кроме рыцарской смерти не осталось у меня никакой цели в жизни!

Книга VII ТЮРЬМА

I

АВИНЬОН. ДВА ПАЖА. ПРИЕЗЖАЯ КРАСАВИЦА

Прошло пять лет со времени событий, о которых я рассказывал. Моя история переносит нас к папскому двору в Авиньоне – этому спокойному обиталищу власти, куда наследники св. Петра пересадили роскошь, пышность и пороки императорского города. Защищенные от казней и насилий могущественного и варварского дворянства, придворные святого престола предались вечному празднику удовольствий – их отдых был посвящен наслаждению, и Авиньон в это время представлял, может быть, самое веселое и сладострастное общество в Европе. Изящество Климента VI придало просвещенную утонченность более грубым удовольствиям Авиньона, и дух Петрарки по-прежнему пробивал свою дорогу среди интриг партий и оргий разврата.

Иннокентий VI недавно наследовал Клименту, и каковы бы ни были его собственные права на звание ученого, он по крайней мере ценил знания и ум в других; так что грациозное педантство того времени по-прежнему примешивалось к наслаждению удовольствиями. Всеобщая испорченность здесь слишком окрепла, чтобы уступить примеру Иннокентия, человека простых привычек и образцовой жизни. Хотя он, подобно своему предшественнику, был покорен политике Франции, но обладал сильным и обширным честолюбием. Глубоко сочувствуя интересам церкви, он составил план утверждения и восстановления ее поколебавшегося владычества в Италии и смотрел на тиранов различных государств, как на главное препятствие для своего честолюбия.

В это время появилась в Авиньоне женщина удивительной и несравненной красоты. Она с богатой, хотя небольшой свитой приехала из Флоренции, но объявила себя неаполитанской уроженкой, вдовой одного нобиля при блистательном дворе несчастной Иоанны. Имя ее было Чезарини. Едва появилась она в этом месте, где, среди столицы христианства, Венера сохранила свое древнее господство, где любовь составляла первую заботу жизни, синьора Чезарини увидела у своих ног половину знати и цвета Авиньона. Ее прислужницы были засыпаны подарками и записками, и ночью

под ее окном раздавались жалобные серенады. Она предалась веселым развлечениям города, и ее прелести разделяли славу со стихами Петрарки. Хотя ни на кого она не смотрела сурово, но никто не имел исключительного права на ее улыбки. Ее честное имя было ещё незапятнанно, но если кто-либо мог надеяться на преимущество перед другими, то, казалось, выбором ее будет руководить скорее честолюбие, нежели любовь, и Жиль, воинственный кардинал Альборнос, всемогущий при папском дворе, уже предчувствовал нас своего торжества.

Было уже за полдень. В передней комнате прекрасной синьоры находились два изящно и богато одетые пажа, любимая в те времена прислуга знатных людей обоего пола.

– Клянусь, – сказал один из этих двух молодых слугителей, отталкивая от себя кости, за которыми он и его товарищ старались убить время, – это скучная работа! Лучшая часть дня прошла. Наша госпожа замешкалась.

– А я надел мой новый бархатный плащ, – отвечал другой, с состраданием посматривая на свою щеголеватую одежду.

– Тс, Джакомо, – сказал его товарищ, зевая, – оставь свои фантазии. Какие есть новости, желал бы я знать? Возвратился ли рассудок к его святейшеству?

– Рассудок! Как, разве он сошел с ума? – прошептал Джакомо с серьезным и удивленным видом.

– Мне кажется, что да, если, будучи папой, он не замечает, что может наконец снять свою маску и покрывало. Воздержный кардинал – распутный папа, говорит старая пословица. Что-нибудь, должно быть, сделалось с мозгом этого добряка, если он продолжает жить, как отшельник.

– А! Теперь я вас понимаю. Но, право, его святейшество имеет довольно людей, которые заменяю! его в этом отношении. Епископы заботятся о том, чтобы женщины не вышли из моды, а его преосвященство Альборнос не подтверждает вашей пословицы относительно кардиналов.

– Правда, но Жиль – воин, он кардинал в церкви и солдат в городе.

– Не хочет ли он взять здесь крепость? Как ты думаешь, Анджеоло?

– Эта крепость – женщина, но...

– Что?

– Синьора расположена более к власти, нежели к любви, она видит в Альборносе князя, а не любовника. Как она ступает по полу! Она презирает даже золотую парчу!

– Тс! – вскричал Джакомо, подбегая к окну. – Слышишь внизу топот копыт? Блестящая компания!

– Которая возвращается с соколиной охоты, – отвечал Анджело, пристально смотря на кавалькаду, проезжавшую по тесной улице.

После того, как веселая процессия медленно проехала мимо, блуждающим взглядам пажей представилась мрачная массивная башня прочной постройки одиннадцатого столетия. Солнце грустно освещало ее обширный и угрюмый фасад, в котором только кое-где были видны скорее бойницы и узкие щели, нежели окна.

– Я знаю ваши мысли, Джакомо, – сказал Анджело, красивейший и старший из двух. – Вы думаете, что эта башня мрачное жилище?

– И благодарю свои звезды за то, что они не создали меня довольно высоким для такой большой клетки, – прибавил Джакомо.

– Однако же, – отвечал Анджело, – в ней сидит человек, который не выше нас по своему происхождению.

– Расскажите мне что-нибудь об этом странном человеке, – сказал Джакомо, садясь, – вы римлянин, и должны знать.

– Да! – отвечал Анджело, гордо выпрямляясь. – Я действительно римлянин! И был бы недостойн своего происхождения, если бы не знал, какая честь принадлежит имени Кола ди Риенцо.

– Но, кажется, ваши земляки чуть не побили его камнями, – пробормотал Джакомо. – Не можете ли вы сказать мне, – продолжал паж более громким голосом, – правда ли, что он явился к императору в Праге и предсказал, что покойный папа и все кардиналы будут умерщвлены, что будет избран новый итальянский папа, который подарит императору золотую корону, как государю Сицилии, Калабрии и Аулии[27], а сам примет серебряную корону, как король Рима и всей Италии, что...

– Пойдите, – прервал Анджело с нетерпением. – Послушайте меня, и вы узнаете, как это было на самом деле. Оставив Рим в последний раз (ты знаешь, что он был на юбилее инкогнито), трибун, – здесь Анджело остановился, осмотрелся кругом и потом с пылающими щеками и возвысив голос продолжал: – да, трибун путешествовал под видом пилигрима, ночь и день, по горам и лесам, подвергаясь дождю и буре, не имея другого убежища, кроме пещеры, он, который был, говорят, настоящий баловень роскоши! Придя, наконец, в Богемию, он открылся одному флорентийцу в Праге и с его помощью добился аудиенции у императора Карла.

– Благоразумный человек, этот император! – сказал Джакомо, – скупой, как скряга, он совершает завоевания посредством торга и ходит на рынок за лаврами, как говорил мой брат, служивший у него.

– Правда, но я слышал также, что он любит ученых, что он мудр и воздержан и что в Италии еще многие надеются от него! Риенцо пришел к императору. «Знай, великий государь, – сказал он, – что я тот Риенцо, которому Бог дал счастье управлять Римом в мире, справедливости и свободе. Я обуздал нобилей, я изгнал разврат, я исправил закон. Сильные преследовали меня, гордость и зависть изгнали меня из моих владений. При всем вашем величии и моем теперешнем падении, я, подобно вам, держал скипетр и мог бы носить корону. Знайте также, что я побочным образом происхожу из вашего рода: мой отец был сыном Генриха VII[28], в моих жилах течет тевтонская кровь, как бы ни было ничтожно мое имя! У вас, король, ищю я покровительства и требую справедливости»[29].

Джакомо, который знал слабую сторону своего друга, ограничился тем, что снял соломинку со своего плаща и сказал довольно нетерпеливым тоном:

– Гм! Продолжай! Император прогнал его?

– Нет, Карл был поражен его видом и умом, оказал ему благосклонность и гостеприимство. Риенцо оставался некоторое время в Праге и удивлял всех ученых своими знаниями и красноречием.

– Но если ему был оказан такой почет в Праге, то как он сделался арестантом в Авиньоне?

– Некоторые говорят, будто бы он был выдан Карлом папскому легату, другие утверждают, что он добровольно оставил двор императора и без оружия, без денег отправился в Авиньон!

– Настоящее сумасшествие!

– Но, может быть, это его единственная дорога при каких бы то ни было обстоятельствах, – возразил старший паж. – Риенцо отправился в Авиньон, чтобы освободить себя от направленных против него обвинений, и без сомнения он надеялся, что от оправдания ему останется только один шаг к восстановлению своего прежнего положения. Ему предстоял выбор (рано или поздно это должно было случиться), идти свободным или в оковах, как преступнику или как римлянину. Он выбрал последнее. Везде, где он проходил, народ восставал в каждом городе, в каждой деревушке. Его умоляли побереечь себя для страны, которую он хотел возвысить. «Я иду, чтобы оправдаться и восторжествовать», – отвечал трибун. Говорят, ни один посол, князь или барон не въезжал в Авиньон с такой длинной свитой, какая следовала в стены этого города за Колой ди Риенцо.

– А после того?

– Он попросил аудиенции, чтобы иметь возможность опровергнуть возводимые на него обвинения. Он сделал вызов гордым кардиналам, которые отлучили его. Он требовал суда.

– А что сказал папа?

– Ничего – словами. Тюрьма была его ответом!

– Суровый ответ!

– Но бывали дороги длиннее тех, которые ведут из тюрьмы во дворец; и Бог не создал людей, подобных Риенцо, для цепей и темницы.

Когда Анджело произнес эти слова громким голосом и со всем энтузиазмом, которым вдохновила римского юношу слава павшего трибуна, он услышал позади себя вздох. Он с некоторым смущением обернулся. У двери стояла Чезарини.

– Извините меня, синьора, – сказал Анджело нерешительно, – я говорил громко, я обеспокоил вас; но я римлянин и моей темой был...

– Риенцо! – сказала дама, подходя. – Тема, способная взволновать римское сердце. Полно – извинений не нужно. Ах, если судьба возвратит Риенцо счастье, то он узнает твое суждение о нем.

Говоря это, синьора смотрела долго и пристально на склоненное и краснеющее лицо пажа взглядом человека, привыкшего узнавать душу по наружности.

– Синьора, – сказал Джакомо, щеголевато драпируясь своим плащом, – я вижу слуг монсиньора кардинала д'Альборноса – а вот и сам кардинал.

– Хорошо! – сказала синьора, и глаза ее засверкали. – Я жду его! – с этими словами она вышла в дверь, через которую подслушала римского пажа.

II

СВИДАНИЕ. ИНТРИГА И КОНТРИНТРИГА ДВОРОВ

Жиль (или Эджидио) кардинал д'Альборнос был одним из самых замечательных людей того замечательного времени, столь обильного гениями. Мирная карьера, как бы ни была она блистательна, не удовлетворяла его честолюбию. Он не мог довольствоваться церковными почестями, если это не были почести церкви воинствующей. Смелый, проникательный, предприимчивый и обладающий холодным сердцем при храбрости рыцаря и хитрости попа, – таков был характер Жилия, кардинала д'Альборноса.

Оставив свою дворянскую свиту в передней, Альборнос был введен в комнату синьоры Чезарини.

– Прекрасная синьора, – сказал кардинал, целуя руку Чезарини с грацией, которая показывала в нем более князя, чем духовника, – приказания его святейшества, боюсь, заставили меня опоздать к часу, в котором вы удостоили назначить изъявление моей преданности; но мое сердце было с вами постоянно, с тех пор как мы расстались.

– Кардинал д'Альборнос, – возразила синьора, тихонько отнимая свою руку и садясь, – имеет так много занятий, по своему сану и значению, что, отвлекая свое внимание на несколько минут к менее благородным мыслям, он, мне кажется, изменяет своей славе.

– Ах, синьора, – отвечал кардинал, – мое честолюбие никогда не имело такого благородного направления, как теперь. Быть у твоих ног – этот жребий выше всех почестей.

Синьора ответила не сразу. Устремив свои большие гордые глаза на влюбленного испанца, она сказала тихим голосом:

– Монсиньор кардинал, я не стану притворяться, будто бы не понимаю ваших слов; я также не приписываю их обыкновенной вежливости. Я довольно тщеславна и верю, что вы считаете ваши слова справедливыми, когда говорите, что любите меня. Слушайте меня, – продолжала синьора. – Женщина, которую кардинал Альборнос удостоивает своей любви, имеет право требовать от него доказательств этой любви. При папском дворе – чья власть равняется вашей? Я прошу вас употребить ее в мою пользу.

– Говорите, очаровательная синьора! Не захвачены ли ваши поместья варварами этих незаконных времен? Или кто-нибудь осмелился оскорбить вас? Ты желаешь земель и поместий? Моя власть в твоём распоряжении.

– Нет, кардинал! Есть одна вещь, которая для итальянца и для женщины дороже богатства и состояния – это мщение!

Кардинал отодвинулся перед устремленным на него пылающим взглядом, но смысл ее речи нашел в нем сочувствие.

– Это, – сказал он после некоторого колебания, – говорит в вас высокое происхождение. Мщение – роскошь знатных. Пусть рабы и сволочь прощают обиду. Продолжайте, синьора.

– Знаете вы последние новости о Риме? – спросила синьора.

– Конечно, – отвечал кардинал. – Но почему ты спрашиваешь меня о Риме? Ты...

– Римлянка! Знайте, монсиньор, что я с умыслом называю себя неаполитанкой. Вверяю мою тайну вашей скромности: я из Рима! Расскажите мне о его положении.

– Прекрасная женщина, – сказал кардинал, – я должен был бы догадаться, что твое лицо и вид не принадлежит ветренной Кампанье Рассудок должен был сказать мне, что на них лежит отпечаток властителя вселенной. Состояние Рима, – продолжал Альборнос, – можно описать в коротких словах. Ты знаешь, что после падения умного, но дерзкого Риенцо Пепин, граф Минорбинский (ставленник Монреаля), помогавший изгнать его, хотел передать Рим Монреально, но он не был ни довольно силен, ни довольно благоразумен, и бароны изгнали его, как он изгнал трибуна. Несколько времени спустя, в Капитолии поселился новый демон, Джиованни Черрони. Он опять изгнал нобилей. Произошли новые революции – и бароны были призваны опять. Слабый наследник Риенцо призывал народ к оружию, но напрасно; в ужасе и отчаянии он отрекся от своей власти и оставил город в добычу нескончаемым распрям Орсини, Колоннов и Савелли.

– Все это я знаю, монсиньор; но когда его святейшество наследовал Клименту VI...

– Тогда, – сказал Альборнос, причем бледно-желтый лоб его нахмурился, – тогда наступил более мрачный период истории. Два сенатора были избраны папой для совокупного управления Римом.

– Имена их?

– Бертольд Орсини и один из Колоннов. Несколько недель спустя дороговизна съестных припасов раздражила подлые желудки черни; она восстала, закричала, вооружилась и осадила Капитолий.

– Хорошо, хорошо, – вскричала синьора, всплеснув руками и обнаруживая в каждой черте своего лица интерес, с каким она слушала кардинала.

– Колонна избежал смерти только тем, что переоделся. Бертольд Орсини побит камнями.

– Избит камнями! Один из них погиб?

– Да, синьора. Теперь все в Риме – неурядица и анархия. Споры нобилей колеблют город до основания, и вельможи и народ, утомленные столь многочисленными опытами установить правительство, не имеют теперь никакого правителя, кроме страха меча. Риму нужно помочь, и я, синьора, может быть, буду счастливым орудием для восстановления мира в вашем родном городе.

– Есть только одно средство восстановить там мир, – отвечала синьора отрывисто, – это средство – восстановление Риенцо!

Кардинал вздрогнул.

– Синьора, – удивился он, – что я слышу? Да благородного ли вы происхождения? Неужели вы можете желать возвышения плебея? Не говорили ли вы о мщении: а теперь просите о помиловании?

– Синьор кардинал, – сказала прекрасная Чезарини с жаром, – я не прошу помилования: это слово не пристало тому, кто просит справедливости. Мой дом так же, как дома других, был подавлен игом Орсини и Колоннов; против них-то я ищу мщения. Но я – более чем просто итальянка, я римлянка – я плачу кровавыми слезами о беспорядках моей несчастной родины. Я скорблю, что даже вы, монсиньор, вы, чужеземец, хотя великий и знаменитый, должны сожалеть о Риме. Я желаю восстановить его благоденствие.

– Но Риенцо восстановит только свое собственное.

– Нет, монсиньор кардинал, нет. Может быть, он горд, честолюбив и тщеславен, это свойство великих людей, но он никогда не имел ни одного желания, которое было бы в разладе с благосостоянием Рима. Вы желаете восстановить папскую власть в Риме. Один Риенцо может преуспеть в этом. Освободите, восстановите Риенцо – и папа возвратит себе Рим.

Кардинал несколько минут не отвечал. Отняв, наконец, руку от глаз, он посмотрел на внимательное лицо синьоры и сказал с принужденной улыбкой:

– Извините меня, синьора; но за то время, что мы играем роль политиков, не забудьте, что я ваш обожатель. Ваши советы, может быть, благоразумны, но чем они вызваны? Что означает это заботливое участие к Риенцо? Если, освободив его, церковь приобретет союзника, то могу ли я быть уверен, что Жиль д'Альборнос не возвысит своего соперника?

– Монсиньор, – сказала Чезарини, привстав, – вы ухаживаете за мной, но ваш ранг не соблазняет меня, ваше золото не может купить. Если я когда-нибудь уступлю исканиям влюбленного, то это будет человек, который возвратит моей родине ее героя и спасителя.

– Но послушайте, очаровательная синьора, вы преувеличиваете мою власть, я не могу освободить Риенцо, он обвинен в восстании, он отлучен от церкви за ересь. Его оправдание зависит от него самого.

– Можете вы выхлопотать для него суд?

– Может быть, синьора.

– Суд уже есть для него оправдание. А особую аудиенцию у его святейшества?

– Без сомнения.

– Это – его восстановление! Позаботьтесь обо всем, о чем я прошу!

– А затем, милая римлянка, будет моя очередь просить, – сказал кардинал страстно, опускаясь на колени и взяв руку синьоры. Она равнодушно дала свою руку кардиналу, который покрыл ее поцелуями.

– Вдохновленный таким образом, – сказал Альборнос вставая, – я не сомневаюсь в успехе. Завтра я явлюсь к тебе опять.

Он прижал ее руку к своему сердцу – синьора не чувствовала этого. Он со вздохом простился – она не слышала это. Не видя, смотрела она, как медленно он удалился. Прошло несколько минут прежде чем, придя в себя, синьора поняла, что она одна.

– Одна! – вскричала она вполголоса со страстной выразительностью. – Одна! О, что я перенесла, что я сказала! Быть неверной ему, хотя бы в мыслях! О, никогда! Никогда! Мне, которая ощущали поцелуй его губ, которая засыпала на его великодушном сердце. Мне! Святая мать! Помогите мне и укрепит меня! – продолжала она, горько плача и упав на колени. На несколько минут синьора предалась молитве, целом, встав, несколько успокоилась. Мрачной массой стояла перед ней башня, в которой заключен был Риенцо, как преступник; она смотрела на нее долго и пристально; потом, отойдя от окна, она вынула из складок своего платья маленький кинжал и прошептала:

– Лишь бы спасти мне его для славы, а этот кинжал спасет меня от бесчестия.

III

СВЯТЫЕ ЛЮДИ. МУДРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ. СПРАВЕДЛИВЫЕ РЕШЕНИЯ. НИЗКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ ВО ВСЕМ

В воинственном кардинале, влюбленном в красоту и высокий ум синьоры Чезарини, любовь не была столь господствующей страстью, как честолюбие, которое составляло его характер. Простясь с синьорой и размышляя о желании ее восстановить римского трибуна, быстро просчитал он все выгоды, которые могут возникнуть для его собственных политических планов от этого восстановления. Такой человек, как Риенцо, в лагере кардинала мог быть магнитом для привлечения молодых и предприимчивых людей Италии. С другой стороны, кардинал видел, что никакого добра не может произойти от заключения Риенцо.

Как влюбленный, он чувствовал некоторые неприятные и неутешительные предзнаменования в горячем участии своей властительницы к Риенцо. Он охотно бы приписал беспокойство синьоры Чезарини какой-нибудь патриотической фантазии или мысли о мщении. Но он должен был признаться самому себе в каком-то ревнивом опасении недоброго и сокроуенного побуждения, которое задевало его тщеславие и тревожило его любовь. Впрочем, думал он, я могу воздействовать на нее собственным ее

оружием, я могу выхлопотать освобождение Риенцо и потребовать награды. В случае отказа рука, отворившая тюрьму, может опять наложить оковы.

Эти мысли еще занимали кардинала и дома, как вдруг он был потребован к первосвященнику.

Его святейшество сидел перед небольшим столом грубой работы, заваленным бумагами; лицо его было скрыто в руках. Комната была меблирована просто; в небольшом углублении возле окна стояло распятие из слоновой кости; внизу его лежал череп с костями, украшение, которое находилось в жилищах большей части тогдашних монахов. На полу ниши лежала карта папских владений, на которой в особенности резко и ясно были обозначены крепости. Папа тихо поднял голову, когда ему доложили о кардинале, и открыл таким образом свое пропое, но одухотворенное и довольно интересное лицо.

– Сын мой! – сказал он с ласковой вежливостью в ответ на смиренный привет гордого испанца, – после наших продолжительных совещаний этого утра ты едва ли воображал, что новые заботы потребуют так скоро помощи и твоих советов. Право, терновый венец сильно терзает голову под тройной короной.

– Бог смягчает ветер для остриженных ягнят, – заметил кардинал с благочестивой и сострадательной важностью.

Иннокентий едва мог удержаться от улыбки и отвечал:

– Ягненок, который несет крест, должен иметь силу льва. После того, как мы расстались, сын мой, я получил неприятные известия. Наши курьеры прибыли из Кампаньи, язычники неистово беснуются, сила Иоанна ди Вико страшно увеличилась, и под его знамя вступил самый страшный авантюрист Европы.

– Ваше святейшество говорит о Фра Мореале, рыцаре св. Иоанна? – вскричал кардинал с беспокойством.

– Да, – отвечал первосвященник. – Я боюсь огромного честолюбия этого авантюриста.

– И имеете причину, ваше святейшество, – сказал кардинал сухо.

– Несколько писем его попало в руки служителя церкви; вот они, прочти их, сын мой.

Альборнос взял и медленно прочел письма; затем положил их на стол и безмолвно погрузился в размышления.

– Что думаете вы об этом, сын мой? – спросил наконец папа нетерпеливым и даже брюзгливым тоном.

– Я думаю, что при горячем уме Монреалья и холодной низости Иоанна ди Вико ваше святейшество может дожить до того, что будет завидовать если не спокойствию, то, по крайней мере, доходам профессорской кафедры.

– Что такое, кардинал? – встрепенулся папа, причем краска гнева показалась на его бледном лице. Кардинал спокойно продолжал:

– Из этих писем можно заключить, что Монреаль писал ко всем начальникам вольных воинов в Италии, предлагая самое большое жалованье солдата и самую богатую добычу разбойника каждому, кто присоединится к его знамени. Значит, он замышляет огромные планы! Я знаю его!

– Хорошо, а что мы должны делать?

– Ясно что, – сказал кардинал величаво, и глаза его засверкали воинственным огнем. – Нельзя терять ни минуты. Твой сын должен немедленно выйти на поле битвы. Поднимем знамя церкви!

– Но довольно ли мы сильны? Наше войско малочисленно. Усердие слабеет, благочестие Балдуинов уже не существует!

– Вашему святейшеству хорошо известно, – сказал кардинал, – что для толпы существуют два военных лозунга: свобода и религия. Если религии начнет становиться недостаточно, то мы должны употребить более мирское слово. Поднимем знамя церкви и ниспровергнем тиранов! Мы объявим равные законы и свободное правление, и при таких обещаниях наш лагерь с помощью Божией будет процветать более, нежели палатки Монреалья с их грубым криком: плата и добыча!

– Жиль Альборнос, – сказал папа выразительно; и воспламененный духом кардинала, он выпустил обычный этикет фразы. – Я вверяю вам это запутанное дело.

Кардинал смиренно наклонил свою гордую голову и отвечал:

– Дай Бог, чтобы Иннокентий VI жил долго для славы церкви! Что касается Жилия Альборноса, то он более воин, нежели духовник. Единственные стремления, которым он осмеливается предаваться, внушаются ему шумом лагеря и ржанием боевого коня.

– Нет, – прервал Иннокентий, – я имею еще другие столь же зловещие известия. Иоанн ди Вико, – да постигнет его чума! – этот отлученный от церкви злодей, так наполнил этот несчастный город своими эмиссарами, что мы почти потеряли столицу апостола. Правда, нобили опять усмирены, но как? Какой-то Барончелли, новый демагог, кровожаднейший из любимцев дьявола, возвысился; чернь облекла его властью, которую он употребляет на то, чтобы убивать народ и оскорблять первосвященника. Истерзанный преступлениями этого человека, народ день и ночь кричит на улицах о трибуне Риенцо.

– Да? – воскликнул кардинал. – Значит ошибки Риенцо забыты в Риме, и в этом городе чувствуют к нему тот же энтузиазм, как и в остальной Италии?

– Увы, да.

– Это хорошо. Я думаю вот о чем: Риенцо может сопровождать меня...

– Может! Этот мятежник, еретик?

– Милость вашего святейшества может превратить его в спокойного подданного и правоверного католика, – сказал Альборнос. – Неужели ваше святейшество не видит, что освобождение Риенцо будет принято с восторгом, как доказательство вашей искренности, что великого демагога Риенцо следует употребить для уничтожения незначительного демагога Барончелли?

– Вы всегда прозорливы, – сказал папа задумчиво, – и правда, мы можем воспользоваться этим человеком, но с осторожностью. Его ум страшен.

– И потому надо его задобрить; если мы его оправдаем, то мы должны сделать его нашим. Опыт научил меня правилу, что если нельзя уничтожить демагога законным судом, то надо раздавить его почестями. Дайте ему патрицейский титул сенатора, и он тогда сделается наместником папы!

– Я подумаю об этом, сын мой, ваши советы нравятся мне, но вместе тревожат меня: его по крайней мере надо подвергнуть следствию, но если будет доказано, что он еретик...

– То он должен быть объявлен святым, таково мое смиренное мнение.

Папа на минуту склонил голову, но усилие было слишком велико для него, и после минутной борьбы он громко расхохотался.

– Полно, сын мой, – сказал он с любовью, потрепав кардинала по бледно-желтой щеке. – Полно. Что сказали бы люди, если бы услышали твои слова?

– Они сказали бы: Жиль д'Альборнос имеет религии именно на столько, чтобы помнить, что государство есть церковь, но не слишком много для того, чтобы забывать, что церковь есть государство.

Этими словами совещание закончилось. В тот же вечер папа постановил, чтобы Риенцо допустить к суду, которого тот требовал.

IV

ГОСПОЖА И ПАЖ

Только в три часа Альборнос, приняв на себя роль обожателя, отправил к синьоре Чезарини записку следующего содержания:

«Ваши приказания исполнены. Дело Риенцо будет рассмотрено. Хорошо было бы приготовить его к этому. Для вашей цели, о которой я имею такие слабые сведения, может быть, полезно, чтобы вы явились заключенному тем, что вы для него на самом деле – испросительницей этой милости. С подателем этой записки я посылаю приказ, который дает одному из ваших слуг пропуск в келью заключенного. Пусть вашим делом будет известить его о новом переломе в его судьбе, если вам угодно. Ах, синьора, если бы фортуна была так же благосклонна ко мне и дала того же ходатая! Я ожидаю приговора из твоих уст!»

Кончив послание, Альборнос потребовал своего доверенного слугу.

– Альварес, – сказал кардинал, – эти записки должны быть доставлены синьоре Чезарини через другие руки; тебя не знают в ее доме. Отправляйся в государственную тюрьму; вот тебе пропуск к губернатору. Посмотри, кто будет допущен к арестанту Коле ди Риенцо! Узнай его имя и откуда он пришел. Будь расторопен, Альварес. Узнай, что заставляет Чезарини интересоваться судьбой заключенного. Собери также всевозможные сведения о ней самой, об ее происхождении, состоянии, родстве. Ты понимаешь меня? Хорошо. Еще одна предосторожность: я не давал тебе никакого поручения, никаких сношений со мной. Ты один из должностных лиц тюрьмы, или папы, – как хочешь. Дай мне четки, зажги лампаду перед распятием; положи вон ту власяницу под оружием. Я хочу, чтобы казалось, будто бы я намеренно ее скрываю! Скажи Гомезу, что доминиканский проповедник может войти.

– Эти монахи усердны, – говорил кардинал сам с собой, когда, исполнив его приказания, Альварес удалился. – Они готовы сжечь человека, только бы на библии! Они стоят того, чтобы их задобрить, если тройная корона действительно стоит того, чтобы приобрести ее. Если бы она была на мне, то я бы прибавил к ней орлиное перо.

И погруженный в пламенные мечты о будущем, этот отважный человек забыл даже предмет своей страсти.

Чезарини была одна, когда от кардинала прибыл посланный; она тотчас же отпустила его с запиской, состоявшей из нескольких строк благодарности, которая, казалось, преодолела всю осторожность, какой холодная синьора обыкновенно ограждала свою гордость. Она потребовала к себе пажа Анджело.

Молодой человек вошел. Комната была темна от теней приближающейся ночи, и он смутно различал очертание величавого стана синьоры; но по тону ее голоса заметил, что она глубоко взволнована.

– Анджело, – сказала она, когда он подошел, – Анджело, – и голос ее оборвался. Она замолчала, как бы для того, чтобы перевести дух и затем продолжала: – Только вы служили нам верно; только вы разделяли наше бегство, наши странствования, наше изгнание, только вы знаете мою тайну, только вы римлянин из всей моей свиты! Римлянин! Некогда это было великое имя. Анджело, имя это пало, но пало единственно потому, что прежде пала природа римской расы. Римляне горды, но непостоянны; свирепы, но трусливы; пламенны в своих обещаниях, но испорчены в своей честности. Вы – римлянин, и хотя я испытала вашу верность, но самое ваше происхождение заставляет меня бояться от вас лжи.

– Синьора, – отвечал паж, – я был еще ребенком, когда вы приняли меня к себе на службу, и теперь я еще слишком молод. Но будь я еще мальчиком, я не побоялся бы самого страшного копья рыцаря или разбойника, чтобы доказать верность Анджело Виллани его госпоже и родине.

– Увы! – сказала синьора с горечью. – Так же говорили тысячи людей твоего племени. А каковы были их дела? Но я буду тебе верить, как верила всегда. Я знаю, что ты жаждешь почестей, что в тебе есть светлое и привлекательное юношеское честолюбие.

– Я сирота и незаконнорожденный, – сказал Анджело отрывисто. – И это обстоятельство сильно подстрекает меня к деятельности; я бы хотел приобрести себе имя.

– Ты приобретешь, – сказала синьора. – Мы еще будем жить для того, чтобы наградить тебя. Теперь поторопись. Принеси сюда один из твоих пажеских костюмов, плащ и шляпу. Скорей! И никому не проговорись о том, чего я у тебя просила.

V

ЖИТЕЛЬ ТЮРЬМЫ

Заботы, время, несчастье совершили перемену в наружности Риенцо. Он чуть-чуть располнел, не было сжатой силы раннего мужественного возраста, чистая бледность его щек была покрыта чахлым и обманчивым румянцем. По временам он беспокойно двигался, вздрагивал, садился снова и издавал отрывистые восклицания, подобно человеку грезящему.

Анджело в главных чертах правильно рассказал о последних приключениях Риенцо после его падения.

Трибун с Ниной и Анджело сперва отправился в Неаполь, и нашел кратковременное покровительство у Людовика, короля Венгрии. Этот суровый, но честный монарх отказался выдать своего знаменитого гостя по требованию Климента, но откровенно объявил, что он не в состоянии обеспечить ему безопасность.

Воспользовавшись римским юбилеем, Кола в одежде пилигрима, через горы и долины, богатые грустными развалинами древнего Рима, добрался до этого города, где его беспокойный и честолюбивый дух работал над составлением новых заговоров, но напрасно. Отлученный вторично кардиналом Чеккано, и опять спасаясь бегством, он, в одежде пилигрима, отважно прошел через Италию ко двору императора Карла богемского, где ему был оказан прием, о котором правильно рассказал паж, бывший, вероятно, его свидетелем. Однако ж можно сомневаться в том, действительно ли поведение императора относительно его было так великодушно, как представляется из рассказа Анджело, или же Карл предал Риенцо папским эмиссарам. По крайней мере известно, что от Праги до Авиньона дорога павшего трибуна была дорогой триумфа. Отказываясь от всяких предложений помощи, презирая всякий случай к бегству, вдохновленный своей неукротимой надеждой и неизменной верой в блеск своей судьбы, трибун отправился в Авиньон, и там нашел тюрьму!

– Да, – прошептал узник, – да, эти повествования утешительны. Правые не всегда бывают угнетены. – С долгим вздохом, он медленно положил библию в сторону, поцеловал ее с благоговением, замолчал и несколько минут предавался размышлениям.

Он так был занят этим делом, что не слышал шагов на спиральной лестнице, которая вела в его келью, и только тогда, когда тюремные сторожа повернули в замочной скважине огромный ключ и дверь заскрипела на своих петлях, Риенцо поднял глаза, изумившись этому приходу не в обычный час. Дверь опять затворилась, и при бледном свете одинокой лампы он увидел фигуру, прислонившуюся, как бы для поддержки, к стене. Человек был закутан с головы до ног в длинный плащ, который, вместе с широкой шляпой, покрытой перьями, скрывал даже черты посетителя.

Риенцо смотрел на него долго и пристально. Он видел, что грудь незнакомца тяжело подымалась под плащом; громкие всхлипывания говорили о рыданиях. Наконец, как бы сделав напряженное усилие, он бросился вперед и упал к ногам трибуна. Шляпа, длинный плащ упали на пол. Риенцо увидел лицо женщины, которая смотрела на него сквозь страстные и блистающие слезы; почувствовал руки женщины, которая обнимала его колени. Риенцо смотрел, безмолвен и неподвижен, как камень.

– Святые силы небесные! – прошептал он наконец. – Не испытания ли посылаете вы мне? Неужели это?.. Нет, нет – но говори.

– Возлюбленный, обожаемый! Неужели ты не узнаешь меня?

– Это она! Это она! – вскричал Риенцо порывисто. – Это моя Нина, моя жена, моя... – Голос прервался.

Наконец, когда они пришли в себя, когда первые прерывистые восклицания, первые бурные ласки любви кончились, Нина подняла голову от груди мужа и грустно посмотрела ему в лицо.

– О, что с тобой было с тех пор, как мы расстались, с того часа, когда, увлекаемый своим сердцем и прихотливой судьбой, ты оставил меня при императорском дворе и отправился искать венца, но нашел оковы! Ты здоров, мой Кола, мой господин? Твой пульс бьется скорее, чем прежде, лоб твой в морщинах. Ах! Скажи мне, что ты здоров!

– Здоров! – отвечал Риенцо машинально. – Мне кажется, да! Больной ум притупляет всякое чувство телесного страдания. Здоров – да! А ты, ты, по крайней мере, не переменялась, только красота твоя еще более расцвела.

– Я принесла тебе радостные вести. Завтра тебя выслушают. Суд исходатайствован. Ты будешь оправдан.

– А! Продолжай.

– Тебя выслушают, и ты оправдаешься!

– И Рим будет свободен! Великий Боже, благодарю тебя!

Трибун опустился на колени, и никогда его сердце, в самую чистую минуту его жизни, не изливало более пламенной и бескорыстной благодарности. Когда он встал, то, казалось, совершенно изменился. Его взгляд принял давнишнее выражение глубокой и спокойной повелительности. Величие показалось на его челе.

Нина смотрела на него с тем внимательным и преданным обожанием, которое расплавляло ее более суетные и жесткие качества в любящую нежность самой кроткой женщины.

– Да, Нина! – сказал Риенцо, обернувшись и встретив ее взгляд. – Душа моя говорит мне, что час мой близок. Если меня будут судить открыто, то не посмеют обвинить, если же оправдают, то не посмеют сделать ничего, кроме моего восстановления. Завтра, говоришь ты, завтра?

– Завтра, Риенцо; будь готов!

– Я готов к торжеству! Но скажи мне, какой счастливый случай привел тебя в Авиньон?

– Случай, Кола? – сказала Нина с нежным упреком. – Могла ли я, зная, что ты заключен в папской тюрьме, оставаться в праздной безопасности в Праге! Я легко достала деньги, отправилась во Флоренцию, переменяла имя и

приехала сюда составлять планы и замыслы, чтобы добиться для тебя свободы или умереть с тобой.

– Добрая Нина! Но в Авиньоне сила не уступает красоте без награды. Вспомни, есть смерть худшая, нежели прекращение жизни.

Нина побледнела.

– Не бойся, – сказала она тихим, но решительным голосом, – не бойся: люди не будут говорить, что Риенцо обязан свободой своей жене.

Послышался легкий стук в дверь. Нина в одну минуту надела плащ и шляпу.

– Скоро будет полночь, – сказал тюремщик, показавшись на пороге.

– Иду, – сказала Нина.

– А ты должен собраться с мыслями, – прошептала она Риенцо, – вооружись всем своим знаменитым умом. Увы! Мы опять расстаемся! Как замерло мое сердце!

Присутствие тюремщика смягчило горечь разлуки, сократив ее. Мнимый паж прижал губы к руке узника и вышел из комнаты.

Тюремщик, помедлив немного, положил на стол пергамент. Это был вызов трибуна в суд.

VI

ЧУТЬЕ НЕ ОБМАНЫВАЕТ. ДУХОВНИК И СОЛДАТ

Сходя с лестницы, Нина встретила с Альваресом.

– Прекрасный паж, – сказал испанец весело, – ты сказал, что твое имя Виллани? Анджело Виллани, я, кажется, знаю твоего родственника. Удостои, молодой юноша, взойти в эту комнату и выпить ночной кубок за здоровье твоей госпожи; мне бы очень хотелось узнать вести о моих старых друзьях.

– В другое время, – отвечал мнимый Анджело, – теперь поздно, я спешу.

– Нет, – сказал испанец, – ты не отделаешься от меня так легко. – И он крепко схватил пажа за плечо.

– Пустите меня! – сказала Нина. – Тюремщик, отоприв врага, не то ты будешь отвечать.

– Как вспыхнул! – сказал Альварес, удивленный большим запасом достоинства в паже. – Полно, я не думал тебя обидеть. Могу я побывать у тебя завтра?

– Да, завтра, – отвечала Нина, стараясь поскорее отделаться от него.

– А между тем, – скачал Альварес, – я провожу тебя домой – мы можем поговорить дорогой.

Паж не отвечал, но пошел так скоро через узкую площадь между тюрьмой и домом синьоры Чезарини, что неповоротливый испанец почти задохнулся; и, несмотря на все старания, Альварес не мог добиться от своего молчаливого товарища ни одного слова за всю дорогу до самых ворот. Там паж скрылся, без церемонии оставив его на улице.

Нисколько не обольщаясь предстоящим свиданием с Альборносом, испанец медленно воротился домой. Пользуясь предоставленным ему дозволением, он вошел в комнату кардинала несколько неожиданно и застал его в жарком разговоре с кавалером, длинные усы которого, закрученные вверх, и светлые латы под плащом показывали в нем военного человека. Довольный этой отсрочкой, Альварес поспешно удалился.

Однако же перерыв, сделанный приходом Альвареса, сократил разговор между Альборносом и его гостем. Последний встал.

– Кажется, – сказал он, – монсиньор кардинал, ваши слова подают мне надежду, что наши отношения будут приведены к счастливому заключению. Тысяча флоринов – и мой брат оставляет Витербо и бросает громовые стрелы Кампаньи в земли римлян. С вашей стороны...

– С моей стороны решено, – сказал кардинал, – что войско церкви не мешает движению армии вашего брата: между нами мир. Один воин понимает другого!

– А слово Жиля Альборноса ручается за верность кардинала, – отвечал кавалер с улыбкой.

– Вот моя правая рука, – отвечал Альборнос. Кавалер почтительно ее поцеловал, и его твердые шаги скоро послышались на лестнице.

– Победа! – вскричал Альборнос, размахивая руками, – победа, ты теперь в моих руках!

С этими словами он поспешно встал, положил свои бумаги в железный сундук и, отворив потайную дверь, вошел в комнату, которая была более похожа на монашескую келью, чем на жилище князя. Не требуя к себе Альвареса, кардинал разделся и через несколько минут уже спал.

VII

ВОКЛЮЗ И ЕГО GENIUS LOCI. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТАРОГО ЗНАКОМСТВА

На следующий день, ровно в полдень, кавалер, которого мы видели в последней главе, медленно ехал на сильной норманнской лошади по извилистой зеленой и веселой дорожке, в нескольких милях от Авиньона. Наконец он очутился в дикой и романтической долине, где протекала быстрая река, имени которой стихи Петрарки дали такую славу. Прикрытая утесами и в этом месте извиваясь между зеленых берегов, усеянных множеством диких цветов и водорослей, текла кристальная Сорджия. Всадник находился в Воклюзской долине, и перед его глазами был сад и дом Петрарки.

Предаваясь совершенно другим размышлениям, нежели какие пробуждают воспоминания о Петрарке, кавалер продолжал свой путь.

Долина осталась далеко позади, и тропинка делалась все незаметнее, пока наконец она не окончилась лесом, сквозь сплетенные ветви которого весело пробивалось солнце. Наконец открылась обширная поляна, на которой возвышался крутой подъем горы, увенчанной развалинами старого замка. Путешественник сошел с лошади, повел ее на гору и, достигнув развалин, оставил ее в одной из комнат без кровли, заросших высокой травой и множеством дикого кустарника. Оттуда взобравшись с некоторым трудом по узкой лестнице, он очутился в небольшой комнате.

На полу, в плаще, склонив задумчиво голову на руку, лежал человек высокого роста и средних лет. Он проворно приподнялся на руке при входе кавалера.

– Ну, Бреттоне, я считал часы – какие новости?

– Альборнос соглашается.

– Радостные вести! Ты даешь мне новую жизнь. *Pardieu*, тем лучше я позавтракаю, брат. Вспомнил ли ты о том, что я голоден?

Бреттоне вытащил из-под плаща довольно большую фляжку с вином и небольшую корзинку, порядочно нагруженную припасами, на которые обитатель башни набросился с большим рвением.

– Я говорю, Бреттоне, ты играешь нечестно; ты съел уже больше половины пирога: подвинь его сюда. Так кардинал согласен? Что это за человек? Говорят, умен?

– Живой, проворный и пылкий, с огненным взглядом. Он не любит тратить много слов и прямо приступает к делу.

– Значит, не похож на духовника, – это хороший разбойник, только испорченный. Что ты слышал о его войске? Стой, стой, – потише с вином.

– Теперь его войско невелико. Он надеется усилить его рекрутами в Италии.

– Какие у него планы относительно Рима? Туда, брат, туда направлены тайные стремления моей души! Рим должен быть моим, – городом новой империи, завоеванием нового Аттилы! Там все обстоятельства мне благоприятствуют. Отсутствие папы, слабость среднего сословия, бедность черни, глупое и свирепое варварство баронов уже издавна способствуют тому, чтобы сделать Рим самой легкой, хотя в то же время и самой славной добычей!

– Брат, моли Бога, чтобы твое честолюбие тебя, наконец, не погубило; ты всегда увлекаешься. Право, с огромным богатством, которое мы приобретаем, нам можно...

– Желать сделаться чем-нибудь побольше вольных компаньонов, военачальниками сегодня и искателями приключений завтра? Вспомни, как норманнский меч завоевал Сицилию, как незаконнорожденный Вильгельм на гастингском поле превратил свой жезл в скипетр. Я решился. Я сформирую лучшую армию в Италии и с ней добуду престол в Капитолии. Как глуп я был шесть лет тому назад! Если бы вместо того, чтобы посылать этого сумасшедшего олуха Пепина Минорбина, я сам оставил Венгрию и пошел с моими солдатами к Риму, то за падением Риенцо последовало бы возвышение Монреалья.

– Вальтер, ты говоришь о судьбе Риенцо, пусть она послужит тебе предостережением!

– Риенцо, – возразил Монреаль, – я знаю этого человека! В мирное время и с честным народом он основал бы великую династию. Но он говорил о законе и свободе для людей, которые презирают первый и не хотят защитить последнюю. Посредством толпы гордый трибун приобрел силу, через толпу он потерял ее; я же добуду ее мечом и мечом поддержу!

– Риенцо был слишком жесток; ему не следовало раздражать баронов, – сказал Бреттоне.

– Нет! – сказал Монреаль. – Он был недостаточно жесток. Он старался только быть справедливым и не делать различия между благородным и мужиком, а должен бы делать! Ему следовало бы истребить нобилей с корнем. Но ни один итальянец на это не способен. Это оставлено для меня.

– Ты, конечно, не думаешь перерезать знатнейшие фамилии Рима?

– Перерезать? Нет. Но я захвачу их земли и пожалую ими новое дворянство, – суровое и свирепое дворянство севера, которое хорошо умеет охранять своего государя и охранит его, как источник своей собственной силы. Теперь довольно об этом. Ну, а Риенцо? Он все еще гниет в тюрьме?

– Утром, прежде чем я оставил город, я слышал странные новости. Народ был в волнении; во всяком закоулке собирались группы людей. Говорят,

сегодня назначен суд над Риенцо и по именам судей заключают, что оправдание его уже решено.

– А! Ты должен был сказать мне об этом прежде.

– Если его восстановят в Риме, то разве это будет противодействовать твоим планам?

– Гм! Не знаю – но потребуется глубокое размышление и искусная распорядительность. Мне бы очень не хотелось уезжать отсюда, пока я не услышу, чем это кончится.

– Конечно, Вальтер, тебе благоразумнее оставаться с твоими солдатами и предоставить мне вести все это дело.

– Нет, – возразил Монреаль, – ты довольно смел и хитер, но моя голова для этих целей лучше твоей. Сверх того, – продолжал рыцарь, понизив голос и прикрывая лицо, – я дал обет сходить на поклонение этой дорогой для меня реке, месту моих прежних тревог. Кроме того, мне нужны деньги. В этой стране есть немцы, которые могут съесть целую итальянскую армию за обедом; мне очень бы хотелось их завербовать, а их предводителям нужно дать задаток, – жадные каналы! Как будут уплачиваться флорины кардинала?

– Половина теперь, а половина тогда, когда войско будет у Римини.

– Римини! Мысль об этой стране точит мой меч. Помнишь ли ты, как проклятый Малатеста выгнал меня из Аверсы[30], ворвался в мой лагерь и заставил меня отдать ему всю мою добычу? Я огнем и мечом заплачу долг прежде наступления осени.

Прекрасное лицо Монреалья сделалось ужасным при этих словах; обеими руками он схватился за рукоятку меча, и его сильный стан затрепетал от прерывистого дыхания.

Таков был страшный человек, который теперь стал соперником Риенцо за обладание Римом.

VIII

ТОЛПА. СУД. ПРИГОВОР. СОЛДАТ И ПАЖ

На следующий вечер большая толпа собралась на улицах Авиньона. Это был второй день допроса Риенцо, и каждую минуту ожидали объявления приговора. Дело его возбуждало сильный интерес у иностранцев всех земель,

собранных в этой столице папского блеска. Итальянцы, даже принадлежавшие к высшей знати, были за трибуна, французы – против него.

Среди толпы находился высокий человек в простой и ржавой броне, но с рыцарской осанкой, которая несколько противоречила неуклюжему виду его кольчуги.

Много было сказано шуток насчет оборванного воина, которыми этот живой народ развлекал свое нетерпение, и хотя зонтик шишака скрывал его глаза, но лукавая и веселая улыбка на устах показывала, что он умел выносить направленные против него насмешки.

– Я, – сказал один из толпы, – родился в городе, который был свободен, и уверен, что любимцу народа будет оказано правосудие.

– Аминь, – отвечал важный флорентинец.

– Говорят, – прошептал молодой студент из Парижа, обращаясь к ученому доктору прав, – что его защита была мастерская.

– В ней не было постепенности, – отвечал доктор нерешительно.

В это время высокий солдат почувствовал, что его кто-то нетерпеливо хлопнул по спине.

– Прошу тебя, высокий господин, – сказал резкий и повелительный голос, – отодвинуть свою высокую фигуру несколько в сторону – я не могу видеть сквозь тебя; а я очень хочу в числе первых увидеть Риенцо, когда он будет идти из суда.

– Прекрасный паж, – отвечал солдат весело, пропуская Анджело Виллани, – ты не всегда будешь того мнения, что дорога к свету приобретается посредством приказаний сильным. Когда ты сделаешься постарше, то будешь обижать слабых, а к сильным станешь ластиться.

– Значит, мне придется переменить мою натуру, – отвечал Анджело.

– Ты говоришь хорошо, – сказал солдат после паузы, – извини бесцеремонность моего вопроса: но ты из Италии? – в твоём языке слышен римский диалект; однако же я видел черты, подобные твоим, по эту сторону Альп.

– Может быть, – сказал паж гордо, – но я благодарю Бога, что я римлянин.

В эту минуту послышались громкие крики из той части толпы, которая ближе всех была к зданию суда. При звуке труб папская гвардия, выстроенная вдоль площади, ведущей от суда, выпрямилась и подалась на шаг или два назад на толпу.

Когда трубы умолкли, послышался голос герольда, но звуки его не могли достигнуть того места, где стояли Анджело и солдат; и только по громкому клику, который в одну минуту пробежал торжественно по толпе, по

отрывистым восклицаниям, передаваемым из уст в уста, паж узнал, что Риенцо оправдан.

– Я хотел бы видеть его лицо! – печально вздохнул паж.

– Ты увидишь, – сказал солдат; и он схватил мальчика на руки и начал пробиваться с силой гиганта сквозь живой поток народа к месту, где стояла гвардия и где должен был проходить Риенцо.

Паж, полудовольный, полурассерженный, несколько времени сопротивлялся, но видя, что его усилия напрасны, безмолвно согласился на то, что считал оскорблением своего достоинства.

– Полно, – сказал солдат, – ты первый, кого я охотно поднял над собой; и я делаю это теперь ради твоего прекрасного лица: оно напоминает мне одну особу, которую я любил.

Но эти последние слова были сказаны тихо, и мальчик, в своем нетерпении видеть героя Рима, не слышал их, или не обратил внимания. Скоро показался Риенцо; два патриция из собственной папской свиты шли с ним рядом. Он продвигался медленно среди приветствий толпы, не глядя ни направо, ни налево. Его поступь была тверда и спокойна, и за исключением румянца щек, на его лице не видно было никаких внешних признаков радости или волнения.

Риенцо вернулся не в тюрьму. Ему приготовлено было помещение во дворце кардинала д'Альборноса. На следующий день он был допущен к папе, а вечером того дня объявлен римским сенатором.

Между тем солдат поставил Анджело на землю, и когда паж бормотал свою не совсем вежливую благодарность, он прервал его слова грустным и ласковым голосом, который сильно поразил пажа: там мало тон его согласовался с грубой и простой наружностью этого человека.

– Мы расстаемся, – сказал он, – как чужие, прекрасный мальчик, и так как ты говоришь, что ты из Рима, то моему сердцу не было причины полюбить тебя, как оно полюбило. Но если ты когда-нибудь будешь нуждаться в друге, то ищи его, – голос солдата понизился до шепота, – в Вальтере де Монреале.

Прежде чем паж опомнился от изумления при этом грозном имени, рыцарь св. Иоанна исчез в толпе.

IX

АЛЬБОРНОС И НИНА

Глазам, которые более всех жаждали взглянуть на Риенцо, было запрещено это удовольствие. Одна в своей комнате, Нина ожидала результата суда.

Возвратившийся Анджело скоро уведомил ее обо всем, что произошло, но ее радость была несколько охлаждена тем, что Риенцо поселился у страшного кардинала. Удар, которым обыкновенно сопровождается известие, хотя и счастливое после долгой неизвестности, и опасение визита кардинала так сильно на нее подействовали, что она три дня была опасно больна, и только на пятый день после того, как Риенцо получил звание римского сенатора, Нина была в состоянии принять Альборноса.

Кардинал ежедневно присылал узнать об ее здоровье, и ее встревоженному уму представлялось, что эти расспросы заключали в себе намек на право делать их. Между тем Альборносу было чем развлечь и занять свои мысли. Переманив страшного Монреала от Иоанна ди Вико, одного из способнейших и свирепейших врагов церкви, он решился как можно скорее идти к владениям этого тирана, чтобы не дать ему времени получить помощь от какой-нибудь шайки наемных авантюристов. Между тем он вступал в переговоры с Риенцо и, под видом вежливости к оправданному трибуну, Альборнос принял его у себя, чтобы вполне узнать характер и наклонности того, которого он хотел сделать своим агентом и орудием. Во время аудиенции у первосвященника Риенцо воспользовался тем удивительным и волшебным искусством, которым, по уверению историков, он обладал более всех людей, имевших с ним сношения, как ни были они различны по характеру, целям или состоянию. Он так верно описал действительное состояние Рима, он говорил с таким жаром о своей способности к управлению его делами, что Иннокентий, несмотря на свою проницательность, хитрость и некоторый скептицизм в оценке людских шансов, был совершенно очарован красноречием римлянина.

Говорят, будто бы он сказал: «Неужели это тот человек, с которым целый год мы обращались как с узником и преступником? Хорошо было бы, если бы единственно на его плечах держалась христианская империя!»

По окончании аудиенции он, со всевозможными знаками благосклонности и отличия, возвел Риенцо в звание сенатора, которое в сущности значило то же, что звание римского вице-короля.

Альборнос, которому папа в подробности передал этот разговор, несколько позавидовал благосклонности, которую новый сенатор приобрел так внезапно. Возвратясь домой, он тотчас же пожелал увидеться со своим гостем. Кардинал в душе считал Риенцо более хитрым, чем умным, более удачливым, нежели великим. Но после продолжительного и пытливого

разговора с новым сенатором даже он поддался очарованию его замечательного и необыкновенного ума.

Присутствие знаменитого трибуна в лагере, столь скудном войсками, было весьма кстати. И кардинал, более чем когда-либо, надеялся посредством влияния Риенцо расположить римлян в пользу своего предприятия относительно завоевания земли св. Петра.

Риенцо, при всем нетерпеливом желании еще раз увидеться с Ниной, не мог узнать имени, под которым жила она в Авиньоне.

Несколько насмешливых намеков Альборноса относительно участия, принимаемого в его судьбе знаменитейшей красавицей Авиньона, наполнили его душу неопределенной тревогой, в которой он боялся признаться даже самому себе. Но *volto sciolto*, – открытое лицо, которое у него, как и у всех итальянских политиков, замаскировало его *pensieri scretti*, – тайные мысли, – дало ему возможность обмануть ревнивую и прозорливую наблюдательность кардинала. Альварес тоже не был способен удовлетворить любопытство своего господина. Он уверился только в том, что действительный Анджело Виллани был не тот Анджело Виллани, который посетил Риенцо.

Надеясь, однако же, что узнает все, и воспламененный страстью, какую только он способен был чувствовать, Альборнос отправился во дворец Чезарини.

С надлежащей церемонией он был введен в комнату синьоры. При его входе она встала и, когда кардинал приблизился к ней, приложила его руки к своим губам. Удивленный и обрадованный таким небывалым приемом, Альборнос старался предупредить ее ласки и, взяв обе руки ее, старался тихо привлечь их к своему сердцу.

– Прекраснейшая, – прошептал он, – если бы ты могла знать, как твоя болезнь печалила меня! О! Я счастлив, если я исполнил твое желание и если с этих пор могу найти в тебе моего ангела-руководителя и рай, где мне приготовлена награда?

Нина, высвободив свою руку, тихо указала ею кардиналу на стул. Сев сама на небольшом расстоянии от него, она заговорила с большой серьезностью, опустив глаза.

– Монсиньор, ваше заступничество вместе с невиновностью Риенцо освободило из тюрьмы этого избранного правителя римского народа. Но свобода есть самый меньший из даров, которые вы ему дали; еще больший дар – оправдание честного имени и возвращение справедливых почестей. В этом я навсегда остаюсь у вас в долгу; за это историк, рассказывая о деяниях этого века и о судьбе Колы Риенцо, добавит новый венец к тем, которые вы уже приобрели. Синьор кардинал, может быть, я сделала ошибку. Может

быть, я оскорбила вас – и вы вправе обвинять меня в женской хитрости. Когда я говорю, что за исключением бесчестия, я считала дозволенными всякие средства для спасения жизни и восстановления благополучия Колы ди Риенцо, то имею только одно извинение. Знайте, монсиньор, что я жена его.

Кардинал остался безмолвен и неподвижен. Но его желто-бледное лицо вспыхнуло от лба до шеи, и тонкие губы в первый момент задрожали, а потом искривились горькой улыбкой. Наконец он встал со стула, очень медленно, и сказал голосом, дрожавшим от волнения:

– Хорошо, синьора. Итак, Жиль Альборнос был куклой в руках, ступенью для возвышения римского плебея – демагога! Синьора, вы и ваш муж можете справедливо быть обвинены в честолюбии.

– Перестаньте, монсиньор, – сказала жена с невыразимым достоинством, – каково бы ни было нанесенное вам оскорбление, оно сделано мной. Даже после нашего последнего свидания Риенцо ничего не знал о моем пребывании в Авиньоне.

– При нашем последнем свидании, синьора, кажется, был заключен безмолвный и подразумеваемый контракт. Я исполнил мою часть и требую исполнения вашей. Я могу так же легко, как эту перчатку, разорвать пергамент, который объявляет вашего мужа сенатором Рима. Тюрьма – не смерть, и дверь ее может быть отперта дважды.

– Монсиньор, монсиньор! – вскричала Нина, пораженная ужасом. – Не оскорбляйте таким образом вашей благородной природы, вашего великого имени, вашей доблестной крови. Вы происходите из рыцарского поколения Испании, вам не свойственны угрюмые, низкие и неумолимые пороки, которые позорят мелких тиранов этой несчастной страны. Вы – не Висконти, не Кастракани: вы не можете, запятнать свои лавры мщением женщине. Послушайте, – продолжала она вдруг, упав к его ногам, – мужчины дурачат, обманывают наш пол для эгоистических целей, и им прощают даже их жертвы. Но обманывала ли я вас ложной надеждой? Какая у меня цель, какое извинение? Свобода моего мужа, спасение моей родины!

Альборнос как будто прирос к полу. Изумление, волнение, обожание – все поднимало тревогу в его сердце. Он смотрел на сверкающие глаза Нины и на волнующуюся ее грудь, как воин древности на вдохновенную пророчицу-прорицательницу. Его глаза были прикованы к ее глазам как будто какими-то чарами. Он пытался заговорить, но голос ему изменил. Нина продолжала:

– Да, монсиньор; это не пустые слова! Если ты ищешь мщения, – оно в твоей власти. Уничтожь то, что ты сделал. Возврати Риенцо темнице и опале, и ты отомстишь, только не ему. Все сердца Италии сделаются для него второй Ниной. Я одна виновата и должна пострадать. Клянусь, что в то

мгновение, когда Риенцо будет нанесена новая обида, моя рука будет моим палачом – монсиньор, более я не стану умолять вас!

Альборнос был глубоко тронут. Нина правильно судила о нем, когда отличила честолюбивого испанца от грубых и закоренелых сластолюбцев Италии. Несмотря на распутство, запятнавшее его священную одежду, в его душе оставалось еще много рыцарской чести, свойственной его племени и отечеству. В первый раз в жизни он почувствовал, что встретил женщину, которой он вполне был бы доволен даже в супружестве. Он вздохнул и, все еще смотря на Нину, приблизился к ней почти с благоговением; стал на колени и поцеловал полу ее платья.

– Синьора, – сказал он, – мне хотелось бы думать, что вы вполне правильно поняли мою натуру, но я поистине погиб бы для всякой чести и был бы недостоин своего благородного происхождения, если бы еще имел хоть одну мысль против спокойствия и добродетели женщины, такой, как вы. Не бойся меня. Не думай обо мне, и лишь впоследствии, когда услышишь о Жиле д'Альборносе, скажи в душе своей, – здесь на губах кардинала показалась презрительная улыбка, – скажи: он не лишен был человеческих чувств даже тогда, когда честолюбие и судьба облекли его мантией духовной.

И прежде чем Нина успела ответить, испанец вышел.

Книга VIII ВЕЛИКАЯ КОМПАНИЯ

I ЛАГЕРЬ

Был прекраснейший день в самом разгаре итальянского лета. По холму, господствовавшему над одним из самых красивых ландшафтов Тосканы, ехал небольшой отряд всадников. Во главе их был кавалер, одетый с ног до головы в кольчугу, звенья которой были так тонки, что казались нежной и любопытной сеточной работой, но вместе с тем так плотны, что могли бы противиться копьём и мечу с неменьшим успехом, как и самые тяжелые латы, и притом нисколько не стесняли движений легкой и грациозной фигуры

всадника. Он носил на голове шляпу из темно-зеленого бархата, с длинными перьями; из ехавших за ним двух оруженосцев один держал его шлем и копье, а другой вел его сильного боевого коня, полностью покрытого кольчугой, которая, однако же, казалось, почти не затрудняла его гордой и легкой поступи. Лицо кавалера было приятно, но солнце многих стран наложило на него резкий отпечаток и покрыло его темно-бронзовым цветом. Взгляд его рассеянно блуждал по этому очаровательному ландшафту, озаренному самым ярким светом тосканского неба, и потом, с более напряженным вниманием, остановился на серых и угрюмых стенах отдаленного замка, который, стоя на самой крутой возвышенности соседних гор, господствовал над долиной.

– Вот, – прошептал он про себя, – всякий эдем в Италии имеет свое проклятие! Во всех самых прекрасных местах ее можно быть уверенным – найдешь палатку разбойника или замок тирана!

Едва эти мысли промелькнули в его голове, как вся группа вздрогнула от пронзительного и внезапного звука рога, раздавшегося близко между виноградниками возле тропинки. Кавалькада приостановилась. Предводитель дал знак оруженосцу, который вел его боевого коня. Оруженосец, не обремененный тяжелой немецкой броней, бросился в самую густую чащу и исчез. Через несколько минут он воротился, задыхаясь от жара и усталости.

– Мы должны быть осторожны, – прошептал он, – я видел блеск стали за виноградными листьями.

– Наша позиция неудачно выбрана, – сказал рыцарь и, указав рукой на более широкое место дороги, он со своим маленьким отрядом поспешно направился туда.

Пространство, на которое указал кавалер, представляло довольно обширный зеленый полукрут, защищенный с тыла густым кустарником, спускающимся оттуда на долину. Они доехали туда безопасно и выстроились друг возле друга; все опустили свои наличники, кроме рыцаря, который беспокойно и зорко оглядывал окрестность.

– Не слышал ли ты, Джулио, – сказал он своему любимому оруженосцу (единственному итальянцу в группе), – появлялись ли в последнее время разбойники в этих местах?

– Нет, синьор. Напротив, я слышал, что все они оставили страну, чтобы присоединиться к Большой Компании Фра Мореля. Большая плата и добыча переманили к нему наемных солдат от всех тосканских синьоров.

Едва сказаны были эти слова, как снова раздался звук рога почти в том же месте, где прежде. На него отвечал короткий военный сигнал, как раз сзади всадников. В ту же минуту между находившимися в тылу кустарниками

засияли копья и кольчуги. Оттуда показались вооруженные люди, между тем как спереди из-за виноградных лоз устремилось еще большее число воинов с громкими и дикими криками.

– За Бога, императора и Колонну! – вскричал рыцарь, опуская наличник; и небольшой отряд, плотно сомкнувшись, с копьями наперевес, бросился на передний строй врагов. Несколько десятков их, опрокинутые стремительной атакой, очистили дорогу для всадников, и, не ожидая нападения остальных, рыцарь повернул своего коня и поехал с холма почти полным галопом, несмотря на трудность спуска. Туча стрел, пущенная в них, не могла повредить их железным кольчугам.

– Если у них нет лошадей, то мы спасены! – вскричал рыцарь.

И в самом деле неприятель, казалось, не думал их преследовать; но, собравшись на вершине холма, довольствовался тем, что смотрел на их бегство.

Вдруг внезапный поворот дороги привел бегущих в широкую и пустую долину, в начале которой они увидели длинный ряд всадников. Солнце озаряло латы воинов, стоявших безмолвным и неподвижным строем.

Маленький отряд вдруг остановился. Взглянув сперва на этого нового неприятеля, который был подобен туче, все обратили глаза свои на рыцаря.

– Если ты хочешь, синьор, – сказал предводитель немецких солдат, заметив нерешимость вождя, – мы будем биться до конца.

Это простое изъявление преданности сопровождалось знаками сочувствия со стороны остальных, и солдаты плотнее сомкнулись вокруг рыцаря.

– Нет, храбрые товарищи, – сказал Колонна, поднимая наличник, – нам не суждено погибнуть в такой бесславной битве, после столь разнообразных приключений. Если это разбойники, как надо предполагать, то мы можем купить у них пропуск. Если это войско какого-нибудь синьора, то мы чужды его распрям. Дайте мне это знамя. Я поеду к ним.

– Нет, монсиньор, – сказал Джулио, – эти мародеры не всегда уважают парламентарский флаг. В этом есть опасность.

– Твой предводитель презирает ее. Скорей!

Рыцарь взял знамя и медленно поехал к всадникам. Приблизясь к ним и окинув их взглядом воина, он не мог не удивиться совершенству их оружия, силе и красоте их лошадей и твердой дисциплине их длинного и блестящего строя.

Когда он подъезжал, держа в руках великолепное знамя, сиявшее в лучах полудня, солдаты приветствовали его. Это было хорошим знаком, решил он.

– Я приехал, – сказал он им, – как герольд и предводитель маленького отряда, который только что спасся от неожиданного нападения вооруженных

людей на том холме; – я прошу помощи, как рыцарь у рыцаря и солдат у солдата, и отдаю моих воинов под покровительство вашего начальника. Позвольте мне увидеться с ним.

– Господин рыцарь, – отвечал один, по-видимому, главный из них, – мне неприятно арестовывать человека, имеющего такой благородный вид, как ваш, тем более, что на вашем знамени я вижу девиз одного из самых могущественных домов Италии. Но нам отданы строгие приказания, и мы должны отводить всех вооруженных людей в лагерь нашего вождя.

– Позвольте мне узнать имя вождя, о котором вы говорите, и врага, против которого вы сражаетесь.

Капитан слегка улыбнулся.

– Начальник Великой Компании – Вальтер де Монреаль, а его теперешний враг – Флоренция.

– Значит, мы попали в дружеские, хотя и жесткие руки, – сказал рыцарь после минутной паузы. – Я давно знаком с Вальтером де Монреалем. Позвольте мне вернуться к моим товарищам и сказать им, что если случай сделал нас пленниками, то по крайней мере мы вынуждены покориться одному из самых искусных воинов нашего времени.

И итальянец повернул свою лошадь, чтобы поехать к своим спутникам.

– Благородный рыцарь и смелый у него вид, – сказал капитан товарищам своему соседу, – хотя едва ли это тот отряд, который нам велено захватить. Однако же, слава Богу, кажется, его люди с севера. Может быть, есть надежда завербовать их в наши ряды.

Рыцарь со своими товарищами подъехал к войску. Взяв с них слово не делать попытки к бегству, капитан отрядил тридцать человек, чтоб отвести пленников в лагерь Великой Компании.

Поворотив с большой дороги, рыцарь увидел себя в узком ущелье между холмами, которые, сменяясь мрачной тропинкой среди дикой лесистой местности, привели путников к неожиданному и открытому виду обширной равнины. Там расположились в палатках войска, которые тогда считались достаточно сильными, чтобы вести войну в Италии.

– Благородное зрелище! – сказал пленный кавалер, осаживая коня и глядя на красивые ряды палаток, образующих вдоль и поперек широкие и правильные улицы.

Один из начальников Великой Компании, ехавший с ним рядом, самодовольно улыбнулся.

– Мало есть мастеров военного искусства, равных де Монреалю, – сказал он. – Его войска грубы, ленивы и собраны из всех мест и стран, из пещер,

рынков, из тюрем и из дворцов, и однако же он успел уже довести их до дисциплины, которая могла бы пристыдить солдат империи.

Рыцарь не отвечал, но прищпорив коня и переехав через один из грубых мостов, он очутился среди лагеря. Но та часть, в которую он въехал, мало оправдывала похвалы, расточаемые дисциплине армии. Кавалер, привыкший к строгой регулярности английской, французской и немецкой дисциплины, подумал, что ему никогда не случалось видеть более беспорядочной и неугомонной толпы. Там и сям видны были свирепые, небритые, полунагие разбойники, которые гнали перед собой скот, только что добытый грабежом. Кое-где стояли группы развратных женщин, которые, болтая и ругаясь, толпились вокруг диких и косматых воинов.

– Вы не преувеличили порядок Великой Компании? – спросил рыцарь у своего нового знакомого.

– Синьор, – отвечал тот, – вы не должны судить о зерне по скорлупе. Мы едва только доехали до лагеря. Это край его, занимаемый скорей сволочью, чем солдатами. Представьте себе, что двадцать тысяч человек всякого сброда со всех городов Италии сопровождают лагерь, чтобы сражаться в случае нужды, но более для добычи и грабежа. Этот сброд вы теперь видите. Скоро вы увидите людей другого сорта.

Сердце рыцаря облилось кровью. «И Италия отдана в добычу таким людям!» – думал он.

Через несколько минут, перескочив через узкий окоп, всадники очутились в части лагеря, которая тоже была оживлена, но совершенно другим образом. Длинные ряды вооруженных людей были выстроены по обе стороны дороги, которая вела к большой палатке с голубым флагом, стоявшей на маленьком пригорке. По этой дороге вооруженные солдаты ходили взад и вперед в большом порядке, с веселым и довольным выражением на загорелых лицах. Шедшие к палатке несли узлы и тюки на плечах; возвращавшиеся оттуда, казалось, освободились от своих нош, но по временам, нетерпеливо открывая ладонь, казалось, считали и пересчитывали про себя находившие там монеты.

Рыцарь вопросительно взглянул на своего спутника.

– Эта палатка купцов, – сказал капитан, – они имеют свободный доступ в лагерь, их собственность и личность строго уважаются. Они покупают у каждого солдата часть добычи за настоящие цены, и обе стороны довольны сделкой.

– Значит, у вас соблюдается нечто вроде грубой справедливости, – сказал кавалер.

– Грубой! Diavolo! Нет в Италии города, который не был бы рад обладать такой равной справедливостью и такими беспристрастными законами. Вон

там находятся палатки судей, назначенных для разбора всех проступков солдата против солдата. Направо в палатке с золотым шаром живет казначей армии. Фра Мореале не допускает никаких недоимок в уплате солдатам жалованья.

В той части, в которую они теперь въехали, все было спокойно и торжественно. Кое-когда солдат, переходивший им дорогу, молчаливо и украдкой пробирался к какой-нибудь соседней палатке и, казалось, едва обращал внимание на них.

– Вот мы перед палаткой вождя, – сказал спутник кавалера.

Украшенная пурпуром и золотом палатка Монреалья стояла несколько в стороне от других.

Люди рыцаря остались снаружи, а сам он был введен к страшному авантюристу.

II

АДРИАН ОПЯТЬ В ГОСТЯХ У МОНРЕАЛЯ

Монреаль сидел во главе стола, окруженный людьми, частью военными, частью гражданскими, которых он называл своими советниками, и с которыми, по-видимому, совещался обо всех своих планах. Эти люди, взятые из разных городов, были близко знакомы с внутренними делами государств, к которым принадлежали. Они могли в подробности рассказать о силе вельмож, о богатстве купцов и о могуществе черни. И таким образом в своем лагере Монреаль председательствовал как в качестве полководца, так и в качестве государственного человека.

Совещание было в полном разгаре, когда вошел офицер и прошептал несколько слов на ухо Монреально. Глаза вождя засверкали.

– Введи его, – сказал он поспешно. – Господа, – прибавил он, обращаясь к советникам и потирая руки, – кажется, наша птица попалась к нам в сети. Посмотрим.

В эту минуту драпировка была поднята, и рыцарь вошел.

– Как! – пробормотал Монреаль, изменившись в лице и очевидно обманутый в своих ожиданиях. – Неужели мне суждено всегда терпеть такие неудачи?

– Синьор Вальтер де Монреаль, – сказал пленник, – я еще раз у вас в гостях. В моих изменившихся чертах вы вероятно не узнаете Адриана ди Кастелло.

– Извините меня, благородный синьор, – отвечал Монреаль, вставая с большой вежливостью, – ошибка моих холопов расстроила на минуту мою память. Я рад еще раз пожать руку, которая приобрела так много лавров со времени нашего последнего свидания. Ваша слава была приятна для моего слуха. Эй! – продолжал он, хлопнув руками. – Позаботьтесь о закуске и отдыхе этого благородного кавалера и его свиты. Синьор Адриан, я сейчас приду к вам.

Адриан вышел. Монреаль, забыв о своих советниках, начал ходить по палатке скорыми шагами, потом, позвав офицера, который ввел Адриана, сказал:

– Граф Ландау все еще занимает проход?

– Да, генерал.

– Так скорей поезжай туда – засада должна оставаться там до ночи. Мы поймали не ту лисицу.

Офицер отправился и скоро после того Монреаль распустил совет. Он пошел к Адриану, которого поместили в палатке, стоявшей рядом с его собственной.

– Синьор, – сказал Монреаль, – это правда, что мои люди получили приказ задерживать всякого на дороге во Флоренцию: я в войне с этим городом. Но я ожидал не вас, а совсем другого пленника. Нужно ли мне добавлять, что вы и ваши люди свободны?

– Я принимаю ваши слова с такой же искренностью, с какой они сказаны. Между тем, позвольте мне, не нарушая уважения к вам, сказать, что я избрал бы другой путь, если бы знал, что Великая Компания находится в этой стороне. Я слышал, что ваше оружие было направлено против Малатесты, тирана Римини.

– Да, он был моим врагом, теперь он мой данник. Он купил у нас свободу. Мы шли через Ашьяно на Съенну. За шестнадцать тысяч флоринов мы пощадили этот город, и теперь мы висим, как громовая туча над Флоренцией, которая осмелилась послать слабую помощь на защиту Римини.

– Я слышал, что Большая Компания в союзе с Альборносом и что ее начальник, втайне, есть воин церкви. Правда это?

– Да; Альборнос и я понимаем друг друга, – отвечал Монреаль небрежно, – тем более, что мы имеем одного общего врага, которого оба поклялись уничтожить. Это – Висконти, миланский архиепископ.

– Висконти! Самый могущественный из итальянских князей! Я знаю, что гнев церкви, который он навлек на себя, справедлив. Но я не совсем ясно вижу, к чему Монреалю добровольно вызывать этого грозного и опасного врага.

Монреаль сурово засмеялся.

– Разве вы не знаете, – сказал он, – безмерного честолюбия Висконти? Клянусь св. гробом, он именно тот враг, с которым встретиться жаждет моя душа! Ум его достоин того, чтобы бороться с умом Монреалья. Я узнал его тайные планы: гигантские планы! Одним словом, архиепископ намерен завоевать всю Италию. Это именно тот князь, успехи которого Монреаль должен остановить. Потому что именно этот князь, если позволить ему усилиться, разрушит планы и уничтожит могущество Вальтера де Монреалья.

Адриан промолчал, и в первый раз в его душе мелькнуло подозрение о действительном свойстве планов провансальца.

– Но, благородный Монреаль, – сказал он потом, – сообщите мне, если знаете, последние известия о моем родном городе. Я римлянин и постоянно думаю о Риме.

– И справедливо, – отвечал Монреаль с живостью. – Вы знаете, что Альборнос, как легат первосвященника, вел армию церкви в папские земли. Он взял с собой Колу ди Риенцо. Когда они прибыли к Монте-Фиасконе, толпы римлян всякого звания поспешили туда, чтобы отдать честь трибуну. Посредством его он официальным путем возвратил подданство Рима папе и, обратив трибуна в приманку, усилил свой лагерь римскими рекрутами. На пути к Витербо Риенцо блистательно отличился в сражениях против тирана Иоанна ди Вико. Мало того, он сражался как человек, достойный принадлежать к Великой Компании. Это усилило рвение римлян, и половина обитателей города бросилась к смелому трибуну. На мольбы этих достойных граждан хитрый легат отвечал: вооружитесь против Иоанна ди Вико, победите тиранов церковной территории, восстановите наследие св. Петра и тогда Риенцо будет объявлен сенатором и возвратится в Рим. Эти слова вдохновили римлян таким усердием, что они охотно помогли легату, Аквапенденте и Больцена сдались, Иоанн ди Вико частью убеждениями, частью угрозами доведен до покорности, а потом покорился и Габриелли, тиран Агоббийский. Слава досталась кардиналу, а заслуга принадлежит Риенцо.

– А потом?

– Альборнос продолжал угощать сенатора большим блеском и прекрасными словами, но ни слова не говорил о возвращении его в Рим. Устав ждать, Риенцо, как меня секретно уведомили, оставил лагерь и с несколькими приверженцами своими отправился во Флоренцию, где имеет друзей, которые хотят снабдить его оружием и деньгами для вступления в Рим.

– А! Теперь я знаю, – сказал Адриан с полуулыбкой, – за кого вы меня приняли.

Монреаль слегка покраснел.

– Справедливая догадка! – сказал он.

– Между тем в Риме, – продолжал провансалец, – и ваш достойный дом, и дом Орсини, будучи избраны для верховного управления, поссорились между собой и не могли поддержать власть, которую приобрели. Франческо Барончелли, новый демагог, рабский подражатель Риенцо, возвысился на развалинах мира, разрушенного нобилиями, получил титул трибуна и носил те самые знаки, какие носил его предшественник. Но не будучи так благоразумен, как Риенцо, он принял сторону, противную нам. И таким образом он дал легату возможность противопоставить папского демагога узурпатору. Барончелли был человек слабый; сыновья его совершали всякие сумасбродства из подражания высокородным тиранам Падуи и Милана. Разврат их, не щадивший чести замужних и незамужних женщин, составлял контраст с важным и величественным приличием правления Риенцо; наконец Барончелли был убит народом. А теперь, если вы спросите, кто управлял Римом, я отвечу: надежда на возвращение Риенцо.

– Странный человек и странный деятель! Каков-то будет конец обоих?

– Скорое умерщвление первого и вечная слава последнего, – отвечал Монреаль спокойно. – Риенцо будет восстановлен; этот доблестный феникс через бури и облака пойдет сам к своему погребальному костру: я предвижу, я сострадаю, я поклоняюсь ему! А затем, – прибавил Монреаль, – я смотрю далее!

– Но почему вы так уверены, что в случае восстановления Риенцо должен пасть?

– Не ясно ли это для всякого, кроме Риенцо, которого ослепляет честолюбие? Как может человеческий ум, как бы ни был он велик, управлять этим в высшей степени испорченным народом, опираясь на популярные средства? Явится какой-нибудь новый демагог, и Риенцо станет жертвой. Запомните мое пророчество!

– Ну, а это далее, куда вы смотрите?

– Совершенное ниспровержение Рима на много веков. Бог не создаст двух Риенцо, – отвечал Монреаль, – или, – прибавил он гордо, – вливание новой жизни в это изношенное и больное тело, основание новой династии.

Здесь их разговор был прерван звуком трубы, и вслед за тем вошедший офицер возвестил о прибытии послов из Флоренции.

– Еще раз извините меня, благородный Адриан, – сказал Монреаль, – и позвольте вас просить быть моим гостем по крайней мере на эту ночь.

Адриан, будучи не прочь побыть дольше с таким знаменитым человеком, принял приглашение.

Оставшись один, он склонил голову на руку и погрузился в размышления.

III

ВЕРНАЯ И НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ. СТРЕМЛЕНИЯ ПЕРЕЖИВАЮТ ПРИВЯЗАННОСТИ

После страшного часа, когда Адриан Колонна видел безжизненное тело своей обожаемой Ирены, молодой римлянин перенес обыкновенные превратности бродячей и отважной жизни того тревожного времени. Отечество, казалось, утратило для него свою цену. Самый ранг его устранял его от участия, которое он думал принять в восстановлении свободы Рима, и он чувствовал, что если когда-нибудь совершится подобная революция, то ее произведет человек, к происхождению и привычкам которого народ может чувствовать симпатию и родство, и который бы мог поднять руку в его защиту, не делаясь отступником от своего сословия и судьей своей собственной семьи. Он посетил различные дворы и со славой служил в разных лагерях. Отсутствие, продолжавшееся несколько лет, в некоторой степени восстановило его ослабевшую и поколебавшуюся привязанность к родине, и он желал опять посетить город, где в первый раз увидел Ирену. Может быть, думал он, время выработало какие-то неожиданные перемены, и я еще могу помочь восстановлению моей родины.

Погруженный в свои думы и бессознательно бросая камни в шумный ручей, Адриан очнулся от звука шагов.

– Хорошее место для того, чтобы слушать лютни и баллады Прованса, – сказал голос Монреалья, когда рыцарь св. Иоанна бросился на траву возле молодого Колонны.

– Так в вас сохранилась прежняя любовь к вашим национальным мелодиям? – сказал Адриан.

– Да, я не пережил еще всей моей молодости, – отвечал Монреаль с легким вздохом.

– Извините меня, – сказал Адриан с большим участием, – но я очень желал бы спросить вас о той прекрасной даме, с которой семь лет тому назад мы смотрели на лунный свет, сиявший на душистых апельсиновых рощах и розовых водах Террачины.

Монреаль отвернул свое лицо, положил руку на плечо Адриана и прошептал низким и хриплым голосом:

– Я теперь одинок.

– И у вас не было детей, кроме сына, которого вы потеряли? – спросил Адриан.

– Ни одного! – отвечал Монреаль, и лицо его снова омрачилось. – Ни одному милому наследнику не достанется состояние, которое я еще надеюсь создать. Никогда я не увижу подобия Аделины в ее ребенке! Но в Авиньоне я видел одного мальчика, которого я мог бы назвать своим: его глаза были так похожи на ее глаза, что мне казалось, будто бы я в них вижу отражение ее души.

Сходство судьбы сильно влекло Адриана к Монреалю, и два рыцаря разговаривали между собой с большей дружбой и откровенностью, нежели прежде. Наконец Монреаль сказал:

– Кстати, я еще не спросил у вас, куда вы едете!

– В Рим, – отвечал Адриан. – А известия, которые я услышал от вас, еще более заставляют меня спешить туда. Если Риенцо возвратится, то я с успехом, может быть, сыграю роль посредника между трибуном, сенатором и нобилями. И если я найду моего кузена, молодого Стефанелло, теперешнего главу нашей семьи, более сговорчивым, чем ее отцы, то не буду отчаиваться в примирении менее могущественных баронов с обстоятельствами. Риму нужен отдых, и всякий, кто бы ни управлял, если только он управляет справедливо, должен быть поддержан и вельможами, и плебеями.

Монреаль слушал с большим вниманием, и потом прошептал про себя:

– Нет, этого не может быть! – Закрыв лицо рукой, он на некоторое время предался размышлениям и наконец сказал громко: – Вы едете в Рим. Итак мы скоро встретимся среди его развалин. Между прочим знайте, что здесь моя цель уже достигнута. Эти флорентийские купцы уже согласились на мои условия; они купили у меня двухлетний мир; завтра мой лагерь снимается, и Великая Компания двигается в Ломбардию. Там, если мои планы удадутся и венецианцы заплатят, я соединю негодяев с морским городом против Висконти и мирно проведу осень среди римского великолепия.

– Синьор Вальтер де Монреаль, – сказал Адриан, – ваша откровенность, может быть, делает меня дерзким; но слушая, как вы, подобно корыстолюбивому купцу, говорите о продаже вашей дружбы и пощады, я спрашиваю себя: неужели это великий рыцарь св. Иоанна и неужели люди говорили о нем правду, утверждая, что единственное пятно на его лаврах есть его корыстолюбие?

Монреаль закусил губу, но спокойно отвечал:

– Моя откровенность сама навлекла на себя эпитимию, синьор. Однако же я не могу оставить такого почтенного гостя под полным влиянием впечатления, которое, должно сознаться, правдоподобно, но несправедливо. Я ценю золото, потому что оно строитель власти! Оно наполняет лагерь войском, берет города, закупает рынки, строит дворцы, основывает троны. Я ценю золото как средство, необходимое для моей цели.

– А цель...

– Какая бы ни была, – сказал рыцарь холодно. – Пойдемте в наши палатки. Роса падает крупными каплями, и вредные испарения носятся над этими пустынями.

Оба встали, но очарованные красотой этого часа, они несколько помедлили у ручья. Ранние звезды сияли над его извилистыми струйками, и приятный ветерок тихо шептал в блестящей траве.

Адриан рано лег в постель; но ему долго не давали заснуть собственные мысли и звуки громкого веселья, исходившие из палатки Монреалья. Вождь угощал начальников своего войска, – пир, от которого он имел деликатность освободить римского нобиля.

Утром, не успел Адриан одеться, как Монреаль вошел в его палатку.

– Я отрядил, – сказал он, – сотню копейщиков под начальством надежного человека для сопровождения вас, благородный Адриан, до пределов Романьи. Они ждут вас. Через час я отправляюсь; авангард уже двинулся.

Адриан охотно бы отказался от предлагаемого конвоя, но он видел, что это только оскорбило бы гордость вождя, который тотчас удалился. Он поспешно надел свое оружие. Свежий утренний воздух и веселое солнце, подымавшееся великолепно из-за холмов, оживило его утомленную душу. Он вошел в палатку Монреалья и застал его одного; перед вождем лежали письменные депеши, и на его лице играла торжествующая улыбка.

– Фортуна осыпает меня милостями! – сказал он весело. – Вчера флорентинцы избавили меня от хлопот осады, а сегодня она отдает вашего нового сенатора Рима в мою власть.

– Как! Ваши войска захватили Риенцо?

– Нет, еще лучше этого! Трибун изменил намерение и отправился в Перуджию, где теперь находятся мои братья. Он обратился к ним, они снабдили его деньгами и солдатами. Об этом пишет мне мой добрый брат Аримбальдо, ученый человек, которого трибун справедливо считает увлеченным древними рассказами о величии Рима и большими надеждами на возвышение. Вы видите, как я спешу выразить свое удовольствие по поводу этой сделки. Мои братья сами будут провожать трибуна к стенам Капитолия.

– Все-таки я не вижу, каким образом это отдает трибуна в вашу власть.

– Не видите? Его солдаты – мои ставленники, его товарищи – мои братья, его кредитор – я сам! Пусть он управляет Римом – скоро придет время, когда вице-правитель должен будет уступить...

– Вождю Великой Компании, – прервал Адриан с содроганием, которого не заметил Монреаль, слишком сильно и явно волнуемый собственными мыслями. – Нет, рыцарь Прованса, мы малодушно подчинялись своим тиранам, но я уверен, что никогда римляне не будут так низки, чтобы носить иго чужеземного узурпатора.

Монреаль пристально посмотрел на Адриана и сурово улыбнулся.

– Вы ошибаетесь во мне, – сказал он, – и притом у вас еще будет довольно времени разыграть роль Брута, когда я сделаюсь Цезарем. А пока мы не более как хозяин и гость. Поговорим о чем-нибудь другом.

Однако же последний разговор внес отчуждение между ними на все оставшееся время, пока они еще были вместе, и рыцари расстались с церемонностью, которая плохо ладила с их дружеским изливанием прошлой ночи, Монреаль чувствовал, что он неосторожно открыл свою душу. Но осторожность была чужда его характеру, когда он находился во главе армии и в полном приливе счастья.

Медленно, с чужим конвоем, Адриан продолжал путь. Когда он по крутому подъему из долины взобрался на гору, то поворот дороги открыл ему всю армию на походе. Адриан заметил высокую фигуру Монреала на вороном коне; его можно было отличить от других даже на этом расстоянии сколько по великолепной броне, столько и по высокому росту. Так ехал он, гордый своим военным Строем, в цвете надежд, он, предводитель сильной армии, ужас Италии, герой в настоящем и, может быть, монарх в будущем!

Через каких-нибудь три месяца шести футов земли будет достаточно для размещения всего этого величия.

Книга IX ВОЗВРАЩЕНИЕ

I ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЪЕЗД

Весь Рим был в движении! От Сент-Анджело до Капитолия окна, балконы, кровли были заполнены оживленными представителями народа. Только в угрюмых кварталах Колоннов, Орсини и Савелли царствовали мертвая пустота и мрачное уныние. На этих, скорее укреплениях, чем улицах, не было слышно даже обычных шагов иностранного часового. Запертые ворота, окна, закрытые решетками, угрюмое безмолвие кругом – свидетельствовали об отсутствии баронов. Они оставили город, как только наверно узнали о приближении Риенцо. За этими исключениями весь Рим волновался! Триумфальные арки из сукна, вышитого золотом и серебром, возвышавшиеся на каждой из главных улиц, были покрыты надписями привета и радости. Рим еще раз от рыл свои объятия, чтобы приветствовать трибуна!

Замешавшись в толпу, стоял Адриан Колонна. Среди всеобщего смятения его никто не замечал, потому что он был закутан в свой широкий плащ, скрыт теснотой, да и кроме того его забыла большая часть людей, знавших его прежде. Он не был в состоянии преодолеть своей симпатии к брату Ирены. Одинок среди своих сограждан стоял он, единственный человек из всего гордого дома Колоннов, бывший свидетелем торжества любимца народа.

– Говорят, в тюрьме он сделался плотнее, – сказал один из присутствующих, – он был довольно худощав, когда на рассвете вышел из Сент-Анджело.

– Да, – сказал другой маленький человек с хитрыми беспокойными глазами, – это правда; я видел его, когда он прощался с легатом.

Все глаза обратились к последнему из говорящих; он вдруг сделался значительным лицом.

– Да, – продолжал тот с важным видом, – как только, – вот видите, – он убедил мессера Бреттоне и мессера Аримбальдо, братьев Фра Мореале, сопровождать его из Перуджии в Монте Фиасконе, он тотчас же отправился к легату д'Альборносу. Толпа следовала за ним. В том числе был и я; и трибун кивнул мне, да, кивнул! И так, в своей красной мантии и красной шапке он встал пред лицом гордого кардинала еще с большей гордостью. «Монсиньор, – сказал он, – хотя вы мне не даете ни денег, ни войска для безопасности в пути и защиты против засады баронов, но я приготовился к отъезду. Его святейшество сделал меня сенатором Рима: согласно обычаю, я прошу вас, монсиньор, утвердить меня в этом звании!» Желал бы я, чтобы вы видели, как гордый испанец выпучил глаза, покраснел и нахмурился; но он закусил губу и дал очень короткий ответ.

– И утвердил Риенцо сенатором?

– Да, и благословив его, простился с ним.

– Сенатором! – воскликнул дюжий, но седой великан со сложенными руками, – мне не нравится титул, который носили патриции. Я боюсь, как бы в своем новом звании он не забыл старого.

– Фи, Чекко дель Веккио, ты всегда был ворчуном – сказал продавец сукна, на товар которого был большой спрос по случаю церемониала. – Фи! А мне кажется, что скорее титул трибуна можно назвать вновь выдуманным, чем титул сенатора. Я надеюсь, что теперь, наконец, будет много праздников. В Риме давно уже скука.

Едва сказаны были эти слова, как толпа с правой стороны беспокойно заволновалась и вслед за тем один всадник быстро поехал по улице.

– Дорогу! Осадите назад! Дорогу для знаменитейшего римского сенатора!

Толпа затихла, потом зашумела, потом затихла опять. Все зрители у окон и на балконах вытянули шеи. Вдали послышался топот коней, звук труб, потом в отдаленных изгибах улиц показались колышущиеся знамена; затем блистающие копья, – и вся толпа как будто бы одним голосом закричала: «Едет! Едет!»

Адриан еще более отодвинулся назад в толпу; и прислонясь к стене одного из домов, смотрел на приближающееся шествие.

Впереди ехали, по шести в ряд, встречавшие сенатора римские всадники с оливковыми ветвями в руках; каждой сотне их предшествовали знамена с надписью: свобода и мир восстановлены. Когда они проезжали возле Адриана, то каждый из более популярных граждан кавалькады был узнаваем и приветствуем громкими криками. По одежде и вооружению всадников Адриан видел, что они принадлежали большей частью к числу римских купцов, людей, которые, если только они не переменились каким-либо чудом, ценили свободу единственно как коммерческую спекуляцию, «Это плохая опора, – подумал Колонна, – а что дальше?» Затем ехали в блестящей броне немцы – 250 человек – бывшие прежде на жалованье у Малатесты риминского и теперь нанятые на золото провансальских братьев. Они были высокого роста, суровы, спокойны, дисциплинированы и смотрели на толпу частью с грубым любопытством, частью с наглым презрением. Ни один крик приветствия не встретил этих дюжих чужеземцев; было явно, что вид их обдал холодом всю толпу.

– Стыд! – проворчал Чекко дель Веккио вслух. – Разве другу народа нужны мечи, охраняющие какого-нибудь Орсини или Малатесту? Стыд!

Ни один голос на этот раз не возразил недовольному великану.

«Единственная защита против баронов, которую можно назвать действенной, – подумал Адриан, – если он им будет хорошо платить! Но их число недостаточно!»

Затем шли две сотни пехотинцев, – бодрый народ; их веселые взгляды и непринужденная осанка, казалось, выражали сочувствие к толпе, и в самом деле они сочувствовали ей, так как они были тосканцы и потому любили свободу. Римляне со своей стороны, казалось, тоже признавали в них естественных и законных союзников, и приветствовали их всеобщим криком: – *Vivano i bravi Toscani!*

«Жалкая защита! – подумал более проникательный Колонна, – бароны могут утешить, а чернь может испортить их».

Затем следовал ряд трубачей и знаменосцев. Гром музыки исчез в криках, которые, казалось, поднялись вдруг из всех частей города: – Риенцо! Риенцо! – Да здравствует! Да здравствует! – Свобода и Риенцо! – Риенцо и доброе государство!

Одетый в красную одежду, которая буквально была залита золотом, с обнаженной головой и склоняясь к луке седла, Риенцо медленно проезжал сквозь толпу. На его лице в этот час не было видно признаков болезни и заботы: сама располневшая талия, казалось, лишь придавала величия его виду. Надежда блистала в его глазах, торжество и власть видны были на его челе.

Толпа расступилась опять; сенатор поехал далее – и она опять сомкнулась. Возбужденному воображению этих людей казалось, что за трибуном следовала настоящая богиня древнего Рима.

На коне, покрытом золотой парчой, в белой, как снег, одежде, усеянной драгоценными камнями, ехала прекрасная царственная Нина. Ее гордость, ее тщеславие были забыты в эту минуту, и ее приветствовали и боготворили почти столько же, как и ее мужа.

Но не к этой великолепной фигуре прикован был взгляд Адриана. Бледный, задыхающийся, дрожащий, он прильнул к стене. Не сон ли это? Или умершая воскресла? Или это действительно его живая Ирена, нежная и меланхолическая красота которой грустно сияла возле Нины – звездой возле месяца? Великолепное зрелище исчезло из его глаз, все сделалось тускло и мрачно. На минуту он лишился чувств. Когда он пришел в себя, толпа спешила вперед, смешавшись с огромным потоком, который следовал за процессией. Среди движущейся массы он увидел грациозный образ Ирены; сдвинувшиеся знамена процессии опять скрыли ее от глаз его. Кровь отлила у него от сердца и бросилась по всем жилам. Он был похож на человека, который целые годы был в страшном беспамятстве и потом внезапно пробужден для небесного света.

Один человек из этой огромной толпы, не трогаясь с места, остался, с Адрианом. Это был Чекко дель Веккио.

II МАСКАРАД

Читатель уже знает, что произошло с Риенцо в промежутке между его оправданием в Авиньоне и возвращением в Рим. Когда впечатление, произведенное Ниной на более нежную и лучшую часть природы Альборноса, изгладилось, то он, естественно, стал смотреть на своего гостя, как на пешку большой шахматной доски, которую можно передвигать, следуя составленному плану игры. Когда возвращением папской территории, приведением Иоанна ди Вико к покорности, наконец умерщвлением Барончелли цель кардинала была достигнута, то он стал считать очень неблагоприятным возвращать Риму способного и честолюбивого Риенцо, и притом с таким высоким званием. Поэтому он, не думая его задерживать, отказался однако же помочь восстановить его. Таким образом Риенцо увидел, что ему открыт свободный путь в Рим, только у него не было ни одного солдата для защиты его в пути против баронов. Отправившись в Перуджию, он, как мы видели, достал через братьев Монреалья людей и денег для своего возвращения. Но рыцарь св. Иоанна очень ошибался, воображая, что Риенцо не сознавал об опасности и предательстве, скрывающихся в подкреплении, которое он получил. Зоркий глаз сенатора с первого же взгляда увидел цель братьев Монреалья; он знал, что под личиной услуг они намереваются управлять им.

Однако же, соединяя со своими более благородными качествами глубокое притворство, он, казалось, слепо доверял своим провансальским товарищам; и после триумфальной процессии его первым делом было наградить мессера Аримбальдо и мессера Бреттоне Монреалья самыми высокими званиями из тех, которые зависели от него.

Совсем другими были мысли Адриана Колонны, когда он сидел один в скучном дворце еще более скучного квартала своей семьи. Итак, Ирена жива; он, вероятно, каким-нибудь странным образом ошибся; она избежала губительной чумы и в грустном выражении ее бледного нежного лица даже в этот торжественный день было нечто, говорившее ему, что она о нем вспоминает. Но когда ум Адриана постепенно успокоился от своего первого дикого и бурного восторга, то он невольно задал себе вопрос: не предстоит ли им опять разлука? Молодой Стефанело Колонна, внук старого Стефана и глава этого могущественного дома, уже поднял свое знамя против сенатора. Укрепясь почти в неприступном замке Палестрины, он собрал вокруг себя

всех наемников своей семьи, и его не признающие законов солдаты повсюду опустошали теперь соседние равнины.

Адриан предвидел, что через несколько дней Колонна и сенатор вступят в открытую войну между собой. Может ли он действовать против людей, принадлежащих к его семейству? Сама любовь его к Ирене лишит подобный поступок всякого вида бескорыстного патриотизма, и еще сильнее и неизгладимее запятнает его рыцарскую славу там, где симпатия ему равных будет в пользу Колоннов. После долгого размышления он не увидел для себя другого выбора, кроме того же самого тягостного нейтралитета, на который он был осужден прежде. Но он решился по крайней мере, пользуясь своим происхождением и репутацией, сделать попытку к примирению враждующих сторон. Он видел, что для достижения этой цели ему следует начать со своего гордого родственника. Поэтому он решился на другой день отправиться в Палестрину; но нет ли (и сердце его громко забилось) возможности прежде увидеться с Иреной? Это было нелегко при окружавшей ее обстановке, но он решился сделать попытку. Он позвал Джулио.

– У сенатора собрание сегодня вечером. Как ты думаешь – много там будет народа?

– Я слышал, – отвечал Джулио, – что после обеда, который дается сегодня для послов и синьоров, последует завтра маскарад для людей всех званий.

Адриан подумал с минуту, и результатом его размышления было решение – воспользоваться случаем побывать на маскараде.

Этот вид увеселения, хотя и не обычный для того времени года, Риенцо выбрал, казалось, потому, что оно представляло наибольшие удобства для приема всей многочисленной и пестрой толпы его приверженцев. Тайная же и вместе с тем главная цель Риенцо состояла в том, что маскарад давал ему самому и его друзьям случай незаметно смешаться с толпой и узнать настоящее мнение римлян об его политике и силе лучше, чем можно было заключить о нем по публичному выражению энтузиазма во время торжественного въезда. Такое решение отсрочило до другого дня путешествие Адриана в Палестрину.

Для удобства многочисленных гостей и по случаю хорошей погоды не только парадные комнаты внутри, но и открытый двор Капитолия с площадью был назначен для праздника.

Когда Адриан, вместе с потоком толпы, вошел в этот двор, то среди горячего нетерпения некоторых замаскированных, более пылких, чем остальные, маска его была сдвинута. Он поспешно ее поправил, но один из гостей успел уже увидеть его лицо.

Из вежливости Риенцо и его семейство оставались сперва без масок. Они стояли на верху лестницы, которой древний египетский лев дал свое имя.

За Ниной стояла Ирена. На нее одну Адриан устремил свой взгляд. Годы, пролетая над прекрасным челом этой девушки, не испортили, но изменили характер красоты Ирены. Цвет ее лица уже не менялся с каждой минутой, стан, округлившийся до пропорций римской красоты, принял вид тихого и величавого спокойствия. Серьезное и печальное выражение придали милому лицу важность не по летам. Устремив свой взгляд на эти темные, глубокие глаза, которые выражали, что мысли ее теперь далеко от всего окружающего и заняты прошедшим, Адриан все более чувствовал, что он не забудет! Стоя вблизи нее, но давая толпе проходить вперед, он не заметил, что привлек к себе орлиный взор сенатора.

В самом деле один из участников маскарада, проходя возле Риенцо, шепнул ему:

– Берегитесь, между масками находится Колонна! Под плащом гостя часто скрывается кинжал убийцы. Вон там стоит ваш враг – заметьте его!

Эти слова были первым редким и заботливым предостережением против опасностей, окружавших сенатора-трибуна, которое он получил после своего возвращения. Он слегка изменился в лице; и на несколько минут вежливая улыбка и беглые приветствия, которыми он радовал каждого гостя, сменились угрюмой рассеянностью.

– Зачем этот странный человек стоит так безмолвно и неподвижно? – прошептал он Нине. – Он ни с кем не говорит и не подходит к нам – грубиян! За ним надо наблюдать!

– Должно быть, какой-нибудь немецкий или английский варвар, – отвечала Нина. – Не позволяйте, монсеньор, такому ничтожному облаку омрачать наше веселье.

– Ты права, моя дорогая; у нас здесь есть друзья, мы хорошо защищены.

Музыка заиграла громко и весело, когда сенатор и его свита смешались с толпой. Но его глаза все еще обращались к серому домино Адриана и он заметил, что это домино следовало за ним. Приблизившись к особому входу в Капитолий, он на несколько минут потерял из виду своего неприятного преследователя: но войдя и вдруг обернувшись, Риенцо увидел его опять близко возле себя; в следующий за тем момент незнакомец исчез в толпе. Но этого момента было довольно для Адриана – он дошел до Ирены:

– Адриан Колонна, – прошептал он, – ожидает тебя возле льва.

Занятый собственными мыслями, Риенцо, к счастью, не заметил внезапной бледности и волнения своей сестры. Войдя во дворец и надев маску и домино, сказал со своей обычной веселостью:

– Странно, что истина на празднествах говорит только из-за маски! Милая сестра, ты потеряла свою прежнюю улыбку, но, по-моему, это лучше, нежели... Что это? Ирены нет!

– Я думаю, она ушла только за тем, чтоб переменить платье и смешаться с гостями, – отвечала Нина. – Пусть моя улыбка вознаградит тебя за ее отсутствие.

– Твоя улыбка – солнечный свет, – сказал он, – но эта девушка меня беспокоит. Кажется, теперь, по крайней мере, она могла бы смотреть повеселее.

– Разве под пасмурным видом твоей прекрасной сестры не скрывается несколько любви? – отвечала Нина. – Разве ты не помнишь, как она любила Адриана Колонну?

– Разве у нее еще не прошла эта фантазия? – возразил Риенцо задумчиво.

– Однако же этот союз лучше, нежели союз с монархами, упрочил бы твою силу в Риме!

– Да, если бы он был возможен; но – это надменное племя! Может быть, этот замаскированный, который шел за нами по пятам, был Адриан. Я посмотрю. Выйдем, Нина. Хорошо я закрылся плащом?

– Превосходно.

Между тем Ирена, взволнованная и смущенная, уже переделась и пробиралась сквозь толпу к лестнице льва. С уходом сенатора это место опустело. Подходя к назначенному месту, Ирена увидела около статуи одинокую фигуру, прислонившуюся к пьедесталу.

– О, Ирена! Я узнал тебя даже в этой одежде, – сказал Адриан, схватывая ее дрожащую руку. – Разве я не видел тебя мертвой в страшном подвале, о котором я не могу вспомнить без трепета? Но каким чудом ты воскресла? Каким образом небо сохранило для земли ту, которую, казалось, приняло уже в число своих ангелов?

– Ты в самом деле так думал? – сказала Ирена прерывающимся голосом. – Так ты оставил меня против своего желания? Как я была несправедлива! Я оскорбляла твою благородную натуру и думала, что падение моего брата заставило тебя отказаться от Ирены.

– И в самом деле, ты была несправедлива, – отвечал Адриан. – Но я уверен, что видел тебя в числе мертвых! Твой плащ с серебряными звездами – кто, кроме тебя, носил герб римского трибуна?

– Так неужели этот плащ, который, упав на улице, вероятно был взят какой-нибудь более несчастной жертвой, неужели только этот плащ так скоро привел тебя в отчаяние? Ах, Адриан, – продолжала Ирена с нежным

упреком, – я не отчаивалась даже тогда, когда ты без всяких признаков жизни лежал на постели, от которой я не отходила три дня и три ночи!

– Как! Значит мое видение не обмануло меня! Так это ты сидела у моей постели в тот ужасный час! Ах, я презренный человек!

– Нет, – отвечала Ирена, – твоя мысль была естественна. Я оставила тебя, чтобы сходить к доброму монаху, который тебя лечил; возвращаюсь – тебя нет. В ужасе и отчаянии я искала тебя напрасно в опустевшем городе. И брат нашел меня лежащей без чувств на земле, возле церкви св. Марка.

– Церковь св. Марка! Так предсказал ему сон!

– Он сказал мне, что виделся с тобой; мы искали тебя напрасно, наконец узнали, что ты оставил город, и я радовалась, Адриан, но в то же время роптала!

На несколько минут молодые влюбленные предались радости свидания, между тем как новые объяснения вызывали новые восторги.

– А теперь, – прошептала Ирена, – теперь, когда мы встретились... – она остановилась; маска скрыла вспыхнувший на ее щеках румянец.

– Теперь, когда мы встретились, – прервал Адриан, – мы уже не расстанемся. Ты это хочешь сказать? Верь мне, что именно эта надежда оживляет мое сердце. Я отложил свою поездку в Палестрину только для того, чтобы насладиться этими короткими светлыми минутами с тобой. Если бы я мог надеяться склонить моего молодого кузена к дружбе с твоим братом, то никакая преграда не помешала бы нашему союзу.

– Если так, – сказала Ирена, – то стану надеяться на самое лучшее; а покамест довольно утешения и счастья уже в уверенности, что мы любим друг друга по-прежнему.

Влюбленные расстались; Адриан еще помедлил, а Ирена поспешила в свою комнату, чтобы скрыть свой восторг и свое волнение.

Когда она исчезла и молодой Колонна медленно повернулся, чтобы уйти, к нему вдруг подошел высокий человек в маске.

– Ты Колонна, – сказал он, – и ты во власти сенатора. Ты дрожишь?

– Если я Колонна, – отвечал Адриан холодно, – так ты должен знать, что я никогда не дрожу.

Незнакомец громко засмеялся и поднял свою маску: Адриан увидел перед собой самого сенатора.

– Синьор Адриан ди Кастелло, – сказал Риенцо, снова принимая на себя свою величавость, – как друг или как враг, вы почтили наш бал своим посещением?

– Сенатор римский, – отвечал Адриан с такой же величавостью, – я никогда не пользуюсь ничьим гостеприимством иначе, как в качестве друга.

По крайней мере, я надеюсь, что меня никогда нельзя будет считать вашим врагом.

– Я хотел бы, – сказал Риенцо, – чтобы эти в высшей степени лестные слова мне было можно отнести безусловно к себе самому. Вы питаете ко мне эти дружеские чувства как к правителю римского народа или же как к брату женщины, которая слышала слова вашей любви?

– Как к тому и другому.

– К тому и другому! – повторил Риенцо. – В таком случае, благородный Адриан, вы здесь приятный гость. Однако же, мне кажется, что если, по вашему мнению, нет причины к вражде между нами, то вы могли бы ухаживать за сестрой Колы ди Риенцо способом, более достойным вашего происхождения и, – позвольте мне прибавить, – сана, которым облекли меня Бог и моя родина.

– Я не более как рыцарь императора, но будь я даже самым императором, ваша сестра была бы мне равной, – отвечал Адриан с жаром. – Риенцо, я жалею, что вы меня уже успели раскрыть. Я надеялся в качестве посредника между баронами, и вами заслужить сперва ваше доверие, а потом потребовать своей награды. Знайте, что завтра, чуть свет, я отправляюсь в Палестрину для примирения моего молодого кузена с выбором народа и первосвященника.

Риенцо, привыкший читать в людских чертах, внимательно смотрел на Адриана, когда тот говорил. Когда же Колонна кончил, он пожал протянутую к нему руку и сказал с той чистосердечной и привлекательной ласковостью, которая иногда была так свойственна его манере:

– Я верю вам от души, Адриан. Вы были моим давнишним другом в более спокойные и, может быть, более счастливые годы.

Говоря это, он машинально отвел Колонну обратно к статуе льва; помолчав там, он продолжал:

– Знайте, что в это утро я отправил своего посла к вашему кузену Стефанелло. Со всей приличной вежливостью я уведомил его о моем возвращении в Рим и пригласил сюда его почтенную особу.

– Я желал бы, – отвечал Адриан, – чтобы ваше посольство к Стефанелло было отложено на день; мне очень хотелось бы предупредить его. Однако же вы усиливаете во мне желание отправиться; если удастся мне достигнуть почетного примирения, то я открыто буду свататься к вашей сестре.

– И никогда Колонна, – произнес Риенцо с гордостью, – не вводил в свою семью девушку, союз с которой более бы удовлетворял честолюбию. Я вижу, как всегда видел, в моих планах и судьбе карту римской империи!

– Не будь слишком пылок, храбрый Риенцо, – возразил Адриан, – вспомни, на какое множество предприимчивых голов эта безмолвная каменная статуя смотрела со своего пьедестала, на какое множество планов из песка и составителей их – из праха! Поверь мне, никогда величие человека не стояло на краю такой дикой и мрачной бездны!

– Ты честен, – сказал сенатор, – это первые слова сомнения и вместе симпатии, которые я слышал в Риме. Но народ любит меня, первосвященник одобряет, бароны бежали из Рима, и мечи северных воинов охраняют дороги к Капитолию. О, никогда, – продолжал Риенцо, – никогда, со времен древней римской республики, римлянин не мечтал о более чистых и светлых стремлениях, чем те, которые одушевляют и поддерживают меня теперь. С такими мечтами могу ли я дрожать и предаваться унынию? Нет, Адриан Колонна, как в счастье, так и в бедствии, я не уклонюсь от случайностей моей судьбы и не буду страшиться их!

Манера и тон сенатора так возвысили его язык, что Адриан был очарован и покорен. Он поцеловал руку Риенцо и сказал с жаром:

– Разделять эту судьбу я буду считать моей гордостью, облегчать это поприще – будет моей славой! И если я преуспею в предстоящем мне деле?

– Тогда вы – мой брат! – сказал Риенцо.

– А если мне не удастся?

– Вы все-таки можете требовать этого союза. Вы молчите, вы меняетесь в лице.

– Могу ли я оставить мою семью?

– Молодой синьор, – сказал Риенцо гордо, – скажите лучше, можете ли вы оставить свое отечество! Если вы сомневаетесь в моей честности, если вы боитесь моего честолюбия, то оставьте ваше намерение, не лишайте меня еще одного врага. Но если вы верите, что у меня есть желание и сила служить государству, если вы считаете меня человеком, которого, каковы бы ни были его недостатки, Бог сохранил ради Рима, то забудьте, что вы – Колонна и помните только, что вы римлянин. – Вы победили меня, странный и непреодолимый человек, – сказал Адриан тихим голосом, полностью отдаваясь чувству. – И как бы ни поступали мои родственники, я принадлежу вам и Риму.

III

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДРИАНА В ПАЛЕСТРИНЕ

Был еще полдень, когда Адриан увидел перед собой высокие горы, прикрывающие Палестрину.

Знамя Колонны, сопровождавшее отряд Адриана, обеспечило ему немедленный пропуск в Порта дель Соле. Когда он проезжал по узким и изогнутым улицам, которые подымались к цитадели, группы чужеземных наемников и полуоборванных развратных женщин, перемешанные местами с ливреями Колоннов, праздно стояли среди развалин древних дворцов и храмов.

Оставив свою свиту на дворе цитадели, Адриан потребовал доступа к своему кузену. Уезжая из Рима, он оставил Стефанелло ребенком и потому они были почти незнакомы друг с другом, несмотря на свое родство.

Стефанелло Колонна и два другие барона, беспечно прислонясь к спинкам стульев, сидели вокруг стола в углублении окна, из которого был виден тот самый ландшафт, оканчивающийся темными башнями Рима, которым некогда любовались Аннибал и Пирр в этой самой крепости.

Стефанелло, пребывая в первом цвете молодости, уже носил на своем безбородом лице те следы, которые обычно оставляются пороками и страстями в зрелые годы. Черты его лица имели ту же форму, что и черты старого Стефана; в их чистом, резком, аристократическом контуре можно было заметить ту правильную и грациозную симметрию, которую природа передает по наследству из поколения в поколение; но лицо было изнурено и худощаво. Возле него сидели (примиренные общей ненавистью к одному лицу) наследственные враги дома Колоннов: нежные, но хитрые и лукавые черты Луки ди Савелли составляли контраст с широким станом и свирепой физиономией князя Орсини.

Молодой глава Колоннов встал и принял своего кузена с некоторым радушием.

– Добро пожаловать, дорогой Адриан, – сказал он. – Вы приехали вовремя, чтобы помочь нам своим, хорошо известным, военным искусством. Как вы думаете: выдержим ли мы продолжительную осаду, если этот дерзкий плебей отважится на нее? Вы узнаете наших друзей Орсини и Савелли?

Говоря это, Стефанелло беспечно развалился на стуле, и пронзительный женский голос Савелли принял участие в разговоре.

– Я желал бы, благородный синьор, чтобы вы приехали несколькими часами раньше, нам еще до сих пор весело от воспоминаний – ха, ха, ха!

– О, превосходно, – вскричал Стефанелло, присоединяясь к этому хохоту, – наш кузен много потерял. Знаете, Адриан, что этот негодяй, которого папа имел бесстыдство сделать сенатором, осмелился, не далее как вчера, послать к нам холопа, которого он называл своим посланником!

– Если бы вы видели его плащ, синьор Адриан, – вмешался Савелли. – Это был красный бархат, вышитый золотом, с гербом Рима! Мы скоро, однако, испортили это щеголеватое платье.

– Как! – вскричал Адриан. – Надеюсь, вы не нанесли оскорбления герольду?

– Герольду, говоришь ты? – вскричал Стефанелло, нахмурившись до такой степени, что глаз его почти не было видно. – Право иметь герольдов принадлежит только государям и баронам.

– Что же вы сделали? – спросил Адриан холодно.

– Велел нашим свинопасам искупать его во рву и отвести ему на ночь жилище в тюрьме, чтобы просушиться.

– А сегодня утром – ха, ха, ха! – добавил Савелли, – мы велели привести его сюда и вырвали у него зубы один за другим. Желал бы я, чтобы вы слышали, как он жалобно просил о пощаде!

Адриан быстро встал и ударил по столу стальным нарукавником.

– Стефанелло Колонна, – сказал он, покраснев от гнева, – отвечайте мне: действительно ли вы осмелились нанести такой неизгладимый позор имени, которое мы оба носим? Вы не отвечаете! Дом Колонны! Неужели ты можешь иметь подобного человека своим представителем!

– Мне сказать эти слова! – вскричал Стефанелло, дрожа от бешенства. – Берегитесь! Мне кажется, что ты – изменник, находящийся, может быть, в союзе с этой подлой чернью. Я хорошо помню, что некогда ты, будучи, женихом сестры демагога, не хотел присоединиться к моему отцу и дяде, а низким образом оставил город во власти этого тирана-плебея.

– Да, он сделал это, – сказал свирепый Орсини, приближаясь с угрожающим видом к Адриану, между тем как трусливый Савелли напрасно старался оттащить его назад, дергая за плащ, – он сделал это! И если бы не твое присутствие, Стефанелло...

– Трус и буян! – прервал Адриан вне себя от стыда и негодования, бросая рукавицу прямо в лицо подходящему Орсини. – Плюю на тебя и вызываю тебя! С копьём или с мечом в руках, конный или пеший.

– Иди за мной, – сказал Орсини угрюмо, направляясь к порогу. – Эй! Мой шлем и нагрудник!

– Остановись, благородный Орсини! – сказал Стефанелло. – Оскорбление, нанесенное тебе, моя ссора! Я сделал дело, и против меня говорит этот выродок нашей семьи. Адриан ди Кастелло, которого некогда называли Колонной, отдайте ваш меч: вы мой пленник!

– О! – сказал Адриан, скрежеща зубами. – Кровь моих предков течет в твоих жилах, а то бы – но довольно! Меня! Меня вы не смеее задержать: я

вам равный, я рыцарь, пользующийся благосклонностью императора, который прибыл теперь к границам Италии. Что касается ваших друзей, то, может быть, я с ними встречу через несколько дней там, где никто нам не помешает. А между тем помни, Орсини, что ты будешь защищать честь свою против опытного воина!

Адриан с обнаженным мечом пошел к двери мимо Орсини, который стоял с угрожающим нерешительным видом посреди комнаты.

Савелли прошептал молодому Стефанелло:

– Он говорит – через несколько дней! Будь уверен, милый синьор, что он думает присоединиться к Риенцо. Берегись его! Можно ли выпустить его из замка? Имя Колонны, присоединившегося к черни, может отвлечь и отделить от нас половину нашей силы.

– Не пугай меня, – отвечал Стефанелло с лукавой улыбкой. – Прежде чем ты начал говорить, я уже решил.

Молодой Колонна приподнял драпировку, отворил дверь и вошел в низкую комнату, где находилось двадцать наемников.

– Живо! – сказал он. – Схватите и обезоружьте вон того человека в зеленом плаще, но не убивайте его. Велите сторожу приготовить тюрьму для его свиты. Скорей, пока он еще не дошел до ворот.

Адриан спустился уже в нижнюю залу, его свита и конь были от него недалеко во дворе, как вдруг солдаты Колонны, бросившись из другого прохода, окружили его и отрезали ему путь.

– Сдайся, Адриан ди Кастелло, – вскричал Стефанелло с верха лестницы, – или твоя кровь падет на твою собственную голову.

Адриан сделал три шага, пробиваясь через толпу, и трое из его неприятелей пали под его ударами. «На помощь!» – закричал он своей свите, и эти смелые кавалеры появились в зале. Колокол замка громко забил тревогу – и двор наполнился солдатами. Подавляемая многочисленностью неприятеля, скорее сбитая, чем покоренная, маленькая свита Адриана скоро была схвачена, и он, цвет фамилии Колонны, раненный, задыхающийся, обезоруженный, но все еще произносящий громкий вызов, сделался пленником в крепости своего родственника.

IV

ПОЛОЖЕНИЕ СЕНАТОРА. РАБОТА ЛЕТ. НАГРАДЫ ЧЕСТОЛЮБИЮ

Легко вообразить себе негодование Риенцо при возвращении изувеченного герольда. Его от природы суровый нрав ожесточился еще более от воспоминания о перенесенных им обидах и испытаниях.

Через десять минут по возвращении герольда колокол Капитолия позвал к оружию. Большое римское знамя развевалось на самой высокой башне; и вечером того самого дня, когда был арестован Адриан, войско сенатора под личным предводительством Риенцо шло по дороге в Палестрину. Но так как кавалеристы баронов делали набеги до самого Тиволи и существовало предположение, что им потворствовали жители, то Риенцо остановился в этом прекрасном месте, чтобы набрать рекрутов и принять присягу от вновь поступивших, между тем как его солдаты под начальством Аримбальдо и Бреттоне отправились отыскивать мародеров. Братья Монреалья возвратились поздно ночью с известием, что кавалеристы баронов укрылись в густоте Пантанского леса.

Краска выступила на лбу Риензи, он пристально посмотрел на Бреттоне, который сообщал ему эти вести и в голове его мелькнуло естественное подозрение.

– Как! Ушли! – сказал он. – Возможно ли? Довольно было уже пустых стычек с этими благородными разбойниками. Придет ли, наконец, час, когда я встречусь с ними в рукопашном бою? Бреттоне, – и брат Монреалья почувствовал, что темные глаза Риенцо проникают до самого сердца его. – Бреттоне! – сказал он, вдруг переменяя голос. – Можно ли положиться на ваших людей? Нет ли у них связи с баронами?

– Нет, – сказал Бреттоне угрюмо, но с некоторым смущением.

– Я знаю, что ты храбрый начальник храбрых людей. Ты и твой брат служили мне хорошо, и я тоже хорошо наградил вас. Так или нет? Говори!

– Сенатор, – отвечал Аримбальдо, – вы сдержали данное вами слово! Вы возвели нас в самое высокое звание, и это щедро вознаградило наши скромные заслуги.

– Я рад, что вы признаете это, – сказал трибун.

– Надеюсь, синьор, – продолжал Аримбальдо несколько надменнее, – что вы не сомневаетесь в нас?

– Аримбальдо, – отвечал Риенцо с глубоким, но сдержанным волнением, – вы ученый человек и вы, казалось, разделяли мои планы относительно возрождения Рима. Вы не должны изменять мне. Между нами есть что-то общее. Но не сердитесь на меня: я окружен изменой, и самый воздух, которым я дышу, кажется моим губам ядом.

Оставшись одни, братья несколько минут молча смотрели друг на друга.

– Бреттоне, – сказал наконец Аримбальдо шепотом, – у меня недостает духа. Мне не нравятся честолюбивые планы Вальтера. Со своими земляками мы откровенны и честны, зачем же мы играем роль изменников против этого великодушного римлянина?..

– Тс! – сказал Бреттоне. – Только железная рука нашего брата может управлять этим народом; и если мы предаем Риенцо, то также предаем и его врагов, баронов. Полно об этом! Я имею вести от Монреалья; он через несколько дней будет в Риме.

– А потом?

– Сенатор будет ослаблен баронами, а бароны – сенатором; и тогда наши северные воины захватят Капитолий и солдаты, рассыпанные теперь по Италии, стекутся под знамя великого вождя. Монреаль сперва должен быть подестой, а потом королем Рима.

Аримбальдо беспокойно задвигался на своем стуле, и братья больше уже не говорили о своих планах.

Положение Риенцо было именно такое, какое наиболее способствует раздражению и ожесточению самой прекрасной натуры. Обладая умом, способным на величайшие предприятия, и сердцем, которое билось возвышеннейшими чувствами; возведенный на светлую вершину власти и окруженный сладкоречивыми льстецами, он не знал между людьми ни одной души, на которую мог бы положиться. Войско состояло из торговцев и ремесленников, которые желали наслаждаться плодами свободы, не обрабатывая почвы; которые ожидали, чтобы один человек сделал в один день то, чего много даже для борьбы целого поколения. Рим не дал сенатору добровольной помощи ни натурой, ни деньгами. Риенцо хорошо понимал опасность, окружающую правителя, который защищает свое государство мечами чужеземцев. Его самым пламенным желанием и самой восторженной мечтой было – учредить в Риме войско из волонтеров, которые, защищая его, могли бы защищать себя. Он хотел, чтобы это было не такое войско, как во время прежнего его управления, а регулярная, хорошо дисциплинированная и надежная армия, довольно многочисленная, по крайней мере для обороны, если не для нападения.

Другой причиной горя и печали для человека, который, в силу опасностей своего общественного положения, имел особенную нужду в поддержке и симпатии своих личных друзей, было то, что он растерял своих помощников за время вынужденного своего отсутствия. Некоторые из них умерли; другие, утомленные бурями общественной жизни и охлажденные в своей горячности мятежными революциями, которым подвергался Рим при каждом усилии для улучшения своего состояния, удалились – кто совсем из города, кто же от

всякого участия в политических делах. Трибун-сенатор таким образом был окружен незнакомыми лицами и новым поколением.

Таково было положение Риенцо, и однако же, – странно сказать, – он, по-видимому, был обожаем толпой; закон и свобода, жизнь и смерть были в его руках!

Из всех находившихся при нем людей, Анджело Виллани пользовался больше всего его благосклонностью. Этот молодой человек, сопровождавший Риенцо в его Продолжительное изгнание, сопутствовал ему также, по желанию его, в походе из Авиньона, во время пребывания сенатора в лагере Альборноса. Смышленость, откровенная и очевидная привязанность пажа делали сенатора слепым к недостаткам его характера, и Риенцо все более чувствовал к нему признательность. Ему приятно было сознавать, что возле него бьется верное сердце, и паж, возвышенный в звание его камергера, всегда был при нем и спал в его передней комнате.

В упомянутую ночь в Тиволи, удалясь в приготовленную ему комнату, сенатор сел у отворенного окна, из которого были видны, при свете звезд, колеблющиеся темные сосны на вершинах холмов. Склонив лицо на руку, Риенцо долго предавался мрачным размышлениям, а подняв глаза, увидел светло-голубые глаза Виллани, устремленные на него с тревожным сочувствием.

– Синьор нездоров? – спросил молодой камергер нерешительно.

– Нет, мой Анджело, но несколько не в духе. Мне кажется, воздух холоден для сентябрьской ночи.

– Анджело, – опять заговорил Риенцо, который уже приобрел беспокойное любопытство, составляющее принадлежность непрочной власти. – Не слышал ли ты, что говорят люди о вероятности нашего успеха против Палестрины?

– Я слышал, как начальник немцев говорил, что крепость не будет взята.

– А что сказали начальники моего римского легиона?

– Монсиньор, они говорили, что боятся не столько поражения, сколько мщения баронов, в случае их успеха.

– Принеси мне мою библию.

С благоговением принеся Риенцо священную книгу, Анджело сказал:

– Как раз перед тем, как я оставил моих товарищей, пронесся слух, что синьор Адриан Колонна арестован своим родственником.

– Я тоже это слышал и верю этому, – сказал Риенцо. – Эти бароны заковали бы собственных детей в железо, если бы можно было ожидать, что их оковы могут заржаветь от недостатка добычи.

– Я желал бы, синьор, – сказал Виллани, – чтобы наши иностранцы имели других начальников, а не этих провансальцев.

– Почему? – спросил Риенцо отрывисто.

– Разве креатуры вождя Великой Компании были когда-нибудь верны человеку, предать которого полезно для жадности или честолюбия Монреалея? Разве не был он несколько месяцев назад правой рукой Иоанна ди Вико и не продал ли он свои услуги врагу Вико, кардиналу Альборносу? Эти воины меняют людей, как скотину.

– Монреаль действительно таков: опасный и страшный человек! Но, кажется, его братья люди более мелкого и непредприимчивого характера. Однако же, Анджело, ты тронул струну, которая в эту ночь не даст мне спать.

Утром, когда Риенцо сошел в комнату, где его ждали капитаны, он заметил, что лицо мессера Бреттоне все еще было мрачным. Аримбальдо, скрывшись в углублении окна, избежал его взгляда.

– Славное утро, господа, – сказал Риенцо. – Солнце улыбается нашему предприятию. Из Рима приехали гонцы, свежие войска придут к нам раньше полудня.

– Я радуюсь, сенатор, – отвечал Бреттоне, – что вы имеете утешительные известия, они сгладят неприятности, которые я сообщу вам. Солдаты громко ропщут: им не выдано жалованье, и я боюсь, что без денег они не пойдут в Палестрину.

– Как хотят, – возразил Риенцо небрежно, – они получили жалованье вперед. Если они требуют больше, то Колонна и Орсини могут сделать добавку. Берите ваших солдат, господин рыцарь, и прощайте.

Лицо Бреттоне помрачилось. Целью его было все больше и больше подчинять Риенцо своей власти, и он не хотел позволить ему увеличить свою славу взятием Палестрины.

– Этого не должно быть, – сказал брат Монреалея после смущенного молчания, – мы не можем оставить вас таким образом вашим врагам; правда, солдаты требуют жалованье...

– Они получили его, – сказал Риенцо. – Я знаю этих наемников, с ними постоянно одно и то же: бунт или деньги. Я обращусь к моим римлянам и восторжествую или паду с ними.

Едва были сказаны эти слова, как в дверях показался главный из старшин наемников.

– Сенатор, – сказал он с грубым подобострастием, – ваше приказание выступать было мне передано, я старался выстроить своих людей, но...

– Я знаю, что ты хочешь сказать, мой друг, – прервал Риенцо, махнув рукой: – Мессер Бреттоне скажет тебе мой ответ. В другой раз, господин капитан – поменьше фамильярности с сенатором Рима. Вы можете уйти.

Непредвиденный тон Риенцо, исполненный достоинства, остановил и смутил старшину; он взглянул на Бреттоне; тот дал ему знак удалиться, и он ушел.

– Что надо делать?

– Господин рыцарь, – отвечал Риенцо, – давайте пойдем друг друга. Хотите вы мне служить или нет? Если хотите, то вы не равный мне, а подчиненный, и должны повиноваться, а не приказывать; если не хотите, то я заплачу вам мой долг и тогда, – свет довольно просторен для нас обоих.

– Мы обещали быть верными вам, – отвечал Бреттоне, – и это должно быть исполнено.

– Прежде чем я опять приму вашу верность, – сказал Риензи медленно, – одно предостережение: для открытого врага у меня есть меч, а для изменника, – помните это, – Рим имеет топор. Первого я не боюсь; ко второму не знаю пощады.

– Эти слова не должны произноситься между друзьями, – сказал Бреттоне, побледнев от сдерживаемого волнения.

– Друзьями? Значит, вы – мои друзья! Ваши руки! Так вы друзья и докажете это! Милый Аримбальдо, ты, подобно мне, книжный человек, ученый солдат. Помнишь ли ты в римской истории один случай, когда в казне недоставало денег для солдат. Консул созвал патрициев и сказал: мы, люди начальствующие и должностные, должны первые пополнить этот недостаток. Вы слушаете меня, друзья мои? – Патриции поняли намек. Они нашли денег, и армии было заплачено. Этот пример как раз для вас. Я сделал вас предводителями моего войска, Рим осыпал вас своими почестями. Вы покажете пример щедрости, и римляне таким образом поучатся у вас этому. Не смотрите на меня, друзья мои! Я читаю в вашей благородной душе и благодарю вас наперед. Вы пользуетесь почестями и должностями. У вас есть и деньги, заплатите наемникам, заплатите.

Если бы гром разразился у ног Бреттоне, то он не был бы ошеломлен сильнее, чем при этом простом внушении Риенцо. Он посмотрел на лицо сенатора и увидел улыбку, которой научился уж бояться, несмотря на свою смелость. Он почувствовал, что попал в яму, которую вырыл для другого. По лицу сенатора он видел, что отказать, значит объявить открытую войну, а время еще не созрело для этого.

– Вы соглашаетесь, – сказал Риенцо, – и хорошо делаете.

Сенатор ударил в ладоши, вошел его телохранитель.

– Позови главных старшин.

Старшины вошли.

– Друзья мои, – сказал Риенцо, – мессер Бреттоне и мессер Аримбальдо имеют от меня поручение разделить между вами тысячу флоринов. Сегодня вечером мы станем лагерем под Палестриной.

Старшины удалились, заметно удивленные. Риенцо посмотрел на братьев, смеясь в душе; его саркастический нрав наслаждался своим торжеством:

– Вы не жалеете о вашем пожертвовании, друзья мои?

– Нет, – сказал Бреттоне, вставая, – эта сумма мало увеличивает наш долг.

– Откровенно сказано. Ваши руки еще раз! Добрый народ Тиволи ждет меня на площади. Надо сказать ему несколько слов! Прощайте до полудня.

Когда дверь затворилась за Риенцо, Бреттоне гневно ударил по рукоятке своего меча.

– Римлянин смеется над нами, – сказал он. – Но пусть только Вальтер де Монреаль явится в Риме, и гордый шут дорого заплатит нам за это.

– Тс! – сказал Аримбальдо. – У стен есть уши. Этот чертенок, молодой Виллани, кажется, постоянно ходит за нами по пятам!

Солдатам было заплачено. Армия двинулась. Красноречие сенатора увеличило войско его волонтерами из Тиволи, и беспорядочная полувооруженная толпа крестьян из Кампаньи и соседних гор присоединилась к его знамени.

Палестрину осадили. Риенцо продолжал искусно наблюдать за братьями Монреалья. Он удалил их наемных солдат под предлогом обучать итальянских волонтеров военному делу и дал им начальство над менее дисциплинированными итальянцами, которых, как он думал, они не осмелятся подстрекать. Сам он принял начальство над иностранцами. Но как охотники преследуют свою добычу на всех самых хитрых поворотах ее, так непреклонная и быстрая судьба гналась по пятам за Колой ди Риенцо.

V

ПРОИСШЕСТВИЯ ВЕДУТ К КОНЦУ

Между тем Лука ди Савелли и Стефанелло Колонна разговаривали наедине с гостем, который тайно пробрался в Палестрину накануне того дня, когда римляне разбили свои палатки под ее стенами. Этот посетитель, которому можно было дать несколько более сорока лет, сохранял еще вполне необыкновенную красоту фигуры и лица, которой он отличался в молодости. Но это был уже не тот характер красоты, который мы описывали, представляя читателю эту личность в первый раз. Почти женская нежность

черт и цвета лица, аристократический лоск, грациозная приятность манер, отличавшие Вальтера Монреалья, исчезли; жизнь из превратностей и войн сделала свое дело. Его манеры были теперь отрывисты и повелительны, как у человека, привыкшего управлять дикими умами: грация убеждения заменилась теперь суровостью приказа.

– Вам должно быть известно, – сказал Монреаль, продолжая речь, которая, по-видимому, производила большое впечатление на его собеседников, – вам должно быть известно, что в вашей борьбе с сенатором я один поддерживаю равновесие. Риенцо полностью в моих руках: мои братья командуют его войском, я его заимодавец. От меня зависит утвердить его на троне или отправить на эшафот. Мне стоит только приказать, и Великая Компания войдет в Рим, но, мне кажется, и без ее помощи наша цель может быть достигнута, если вы не измените мне.

– А между тем ваши братья осаждают Палестрину! – сказал Стефанелло резко.

– Но они имеют от меня приказание тратить попусту время под ее стенами. Разве вы не видите, что через эту самую осаду, которая будет бесплодна, если я захочу, Риенцо теряет свою славу в Италии и популярность внутри Рима?

– Господин рыцарь, – сказал Лука ди Савелли, – вы говорите, как человек, хорошо знакомый с глубокой политикой времени, и при угрожающих нам обстоятельствах ваше предложение кажется приличным и умеренным. Значит, вы беретесь восстановить наше положение, а Риенцо уничтожить...

– Нет, нет, – возразил Монреаль с живостью. – Я согласен или покорить и уменьшить его силу, так чтобы сделать его куклой в наших руках, а власть его – пустой тенью, или, если его гордая душа будет биться в своей клетке, дать ей больше простора в пустынях Германии. Я хочу или заковать, или изгнать его, но не убивать.

– Я понимаю ваши намерения, – сказал Лука ди Савелли со своей ледяной улыбкой, – и согласен с ними. Пусть бароны будут восстановлены, и я готов согласиться на долговечность трибуна. Вы обещаете сделать это?

– Обещаю.

– И взамен вы требуете нашего согласия на предоставление вам звания подесты на пять лет?

– Да.

– Я, по крайней мере, соглашаюсь на ваши условия, – сказал Савелли, – вот моя рука.

– А я, – сказал Стефанелло, – чувствую, что нам остается только выбирать из двух зол. Мне не нравится подеста-иностранец, но еще более мне не нравится сенатор-плебей; вот моя рука, кавалер.

– Благородные синьоры, – сказал Монреаль после короткой паузы и медленно обращая свой пронизательный взор то на того, то на другого из собеседников, – наш договор подписан; теперь одно слово добавления к нему. Вальтер де Монреаль – не то, что граф Пепин ди Минорбино. Прежде, признаюсь, не подозревая, что победа будет так легка, я поручил ваше и мое дело поверенному. Ваше дело он подвинул, а мое потерял. Он выгнал трибуна, а потом позволил баронам выгнать его самого. На этот раз я сам наблюдаю за своими делами, и помните, что в Великой Компании я научился одному: никогда не прощать шпиону или беглецу, каков бы ни был его ранг. Извините за намек. Переменим разговор. Вы держите в своей крепости моего друга Адриана ди Кастелло?

– Да, – сказал Лука ди Савелли. – Через это в совете трибуна одним нобилем меньше.

– Вы поступаете благоразумно. Но, прошу вас, обращайтесь с ним хорошо. А теперь, господа, мои глаза устали, позвольте мне уйти.

– С вашего позволения, благородный Монреаль, мы проводим вас в вашу спальню, – сказал Лука ди Савелли.

– Право, не нужно. Я не трибун, чтобы иметь великих синьоров своими пажами, а простой дворянин и дюжий солдат: ваши слуги могут провести меня в комнату, какую вы назначите.

Савелли однако же настаивал на том, чтобы проводить будущего подесту в его комнату. Потом он вернулся к Стефанелло, который ходил по зале большими и беспокойными шагами.

– Что мы сделали, Савелли! – сказал он с живостью. – Продали свой город варвару!

– Продали? – повторил Савелли. – Мне кажется, есть и другая сторона в договоре, в которой мы имеем свою долю. Мы купили, а не продали: мы выкупили нашу жизнь от осаждающей нас армии, выкупили нашу силу, богатство, замки от демагога-сенатора. Мало того, первое, что будет сделано по договору, служит в нашу пользу. Риенцо попадет в ловушку, и мы возвратимся в Рим.

– А затем провансалец делается деспотом города?

– Извините, подестой. Подесту, оскорбляющего народ, побивают камнями; подесту, оскорбляющего нобилей, часто закалывают, а иногда отравляют ядом, – сказал Савелли. – Покамест не говорите ничего этому

медведю, Орсини. Такие люди расстраивают всякие благоразумные планы. Полно, развеселитесь, Стефанелло!

– Лука ди Савелли, – сказал молодой синьор гордо, – вы не имеете в Риме такой большой ставки для риска, какую имею я; никакой подеста не может отнять у вас звания первого синьора итальянской митрополии.

– Если бы вы сказали это Орсини, то дело дошло бы до мечей, – отвечал Савелли. – Но успокойтесь! Повторяю вам, разве уничтожить Риенцо – не есть первая наша забота? Ободритесь, говорю вам, и на следующий год, если мы только будем в союзе между собой, Стефанелло Колонна и Лука ди Савелли будут совокупно римскими сенаторами, а эти великие люди – пищей червей!

Между тем, как бароны разговаривали таким образом, Монреаль, перед отходом ко сну, стоял у открытого окна своей комнаты и смотрел вниз на ландшафт, озаренный лунным светом. Вдали сияли бледно и неподвижно огни вокруг лагеря осаждающих.

– Обширные равнины и ущелья, – думал воин, – скоро вы будете мирно покоиться под новым владычеством, против которого мелкие тираны не осмелятся бунтовать. Как торжественна ночь! Как спокойны земля и небо! Такую же торжественность и тишину я чувствую в моей душе и неведомое мне до сих пор благоговение говорит мне, что я приближаюсь к перелому в моей отважной судьбе!

Книга X БАЗАЛЬТОВЫЙ ЛЕВ

I

СОЕДИНЕНИЕ ВРАЖДЕБНЫХ ПЛАНЕТ В ДОМ СМЕРТИ

На четвертый день осады, пригнав к этим, почти неприступным стенам, войско баронов, бывшее под предводительством князя Орсини, сенатор вернулся в палатку, где его ожидали депеши из Рима. Он наскоро пробежал их, пока дошел до последней; однако же каждая из них заключала в себе известия, которые могли бы на более долгое время остановить на себе внимание человека, менее его привыкшего к опасности. Из одной он узнал,

что Альборнос, утвердивший его в звании римского сенатора, принял с особенной благосклонностью послов от Орсини и Колонны.

Далее он узнал, что, несмотря на недавность его отсутствия, Пандульфо ди Гвидо уже дважды взывал к черни не в пользу сенатора, распространяясь в хитрых сожалениях об упадке римской торговли в отсутствие богатейших нобилей.

– Значит, он изменил мне, – сказал Риенцо про себя. – Пусть бережется!

Вести, заключавшиеся в следующей депеше, сильно его встревожили; Вальтер де Монреаль открыто прибыл в Рим. Жадный и безжалостный бандит, хищность которого наполнила разбойничьей добычей все углы Европы, Компания которого равнялась армии какого-нибудь короля, обширное, бесчестное и глубокое честолюбие которого он так хорошо знал, братья, которого более чем подозреваемые в измене, находились в его лагере, Вальтер де Монреаль был в Риме!

Сенатор оставался некоторое время в совершенном ошеломлении от этой новой опасности, а затем сказал, сжав зубы:

– Дикий тигр, ты в логовище льва! – После паузы он продолжал: – Один неверный шаг, Вальтер де Монреаль, и все руки Великой Компании, покрытые кольчугами, не вырвут тебя из бездны! Но что мне делать? Возвратиться в Рим – тогда планы Монреалья не обнаружатся, против него не будет никакой улики. Под каким предлогом могу я снять осаду с честью? Оставить Палестрину – значит уступить баронам победу, оставить Адриана – унижить мое дело. А между тем отсутствие мое в Риме каждый час порождает измену и опасность. Пандульфо, Альборнос, Монреаль, все действуют против меня. Теперь мне нужен хитрый и верный шпион... А, хорошая мысль! Виллани! Эй, Анджело Виллани!

Виллани явился.

– Кажется, – сказал Риенцо, – я не раз слышал от тебя, что ты сирота?

– Да, синьор; старая августинская монахиня, которая воспитывала меня в малолетстве, часто говорила мне, что мои родители умерли. Оба они были благородные, но я – дитя стыда. Я об этом говорю часто и думаю постоянно для напоминания себе, что Анджело Виллани должен сам приобрести себе имя.

– Молодой человек, служи мне, как ты всегда служил, и тогда, если я буду жив, ты не будешь иметь надобности называть себя сиротой. Слушай! Я имею нужду в друге, сенатор Рима нуждается в друге, только в одном друге; праведное небо! Только в одном!

Анджело опустил на колено и поцеловал плащ своего господина.

– Скажи: в приверженце. Я слишком ничтожен для того, чтобы быть другом Риенцо.

– Слишком ничтожен? Полно! Нет ничего ничтожного перед Богом, кроме низкой души под высоким титулом. Я признаю только одно благородство, и природа подписывает грамоту на него. Слушай: ты, конечно, слышал о Вальтере де Монреале, брате этих провансальцев – великом предводителе разбойников?

– Да, я видел его, монсиньор.

– Хорошо. Он в Риме. Только какая-то смелая мысль, какое-то глубоко задуманное злодейство, имеющее для него большое значение, могли заставить этого бандита открыто явиться в итальянский город, земли которого он опустошал огнем и мечом несколько месяцев назад. Он рассчитывает на мою предполагаемую слабость. Я знаю его давно. Я подозреваю – мало того, читаю его планы; но не могу доказать их. Без доказательства я не могу оставить Палестрину для того, чтобы обвинить и схватить его. Ты смышлен, хитер и рассудителен: не можешь ли ты отправиться в Рим? Там день и ночь следи за его действиями, наблюдай – не принимает ли он послы от Альборноса или от баронов, не имеет ли сношений с Пандульфо ди Гвидо; наблюдай за его жилищем ночь и день. Он не старается прятаться: твой труд будет легче, нежели кажется. Уведомляй синьору обо всем, что узнаешь. Сообщай мне вести ежедневно. Берешь ты на себя это поручение?

– Беру.

– Так скорее на коня!.. И смотри... Кроме жены, я не имею ни одного доверенного в Риме.

II

МОНРЕАЛЬ В РИМЕ. ПРИЕМ, СДЕЛАННЫЙ ИМ АНДЖЕЛО ВИЛЛАНИ

Тайно оставив Палестрину, переодетый, с маленькой свитой, Монреаль отправился в Рим.

Открытое появление Монреала возбудило в Риме немалое волнение. Друзья баронов распространяли слух, будто бы Риенцо был в союзе с Великой Компанией и что он хочет предать императорский город грабежу и хищности иностранных разбойников. Наглость, с какой Монреаль (против которого первосвященник не раз издавал указы) явился в столичный город

церкви, казалась еще более дерзкой при воспоминании о строгом правосудии, побудившем трибуна объявить открытую войну против всех разбойников Италии: и эту смелость связывали с бросавшимся в глаза фактом, что друзья смелого провансальца помогли возвращению Риенцо.

В пору возрастающего волнения Анджело Виллани приехал в Рим. Характер этого молодого человека сложился под влиянием особенных обстоятельств. Он имел качества, которые часто встречаются у незаконнорожденных. Он был дерзок, как большая часть людей сомнительного ранга; и стыдясь своего незаконного происхождения, в то же время высокомерно гордился предполагаемым благородством своего неизвестного родства. Подобно большей части итальянцев, хитрый и лукавый, он не совестился никакого обмана, который служил для какой-либо цели, или в пользу друга. Его сильная привязанность к Риенцо бессознательно увеличилась удовлетворением его гордости и тщеславия, которым льстила благосклонность такого знаменитого человека.

Когда Риенцо подробно излагал ему причины его настоящего посольства, то он вдруг вспомнил свою авиньонскую встречу с высоким солдатом в толпе.

«Если ты когда-нибудь будешь нуждаться в друге, то ищи его в Вальтере Монреале», – эти слова часто раздавались в его ушах и теперь пришли ему в голову с пророческой явственностью. Он не сомневался в том, что он видел самого Монреалея. Почему великий вождь принимал в нем участие, над этим Анджело не слишком задумывался. По всей вероятности, это было только хитрое притворство, которым вождь Великой Компании привлекал к себе молодых людей Италии, так же как и северных воинов. Теперь он думал только о том, каким бы образом ему воспользоваться обещанием рыцаря. Что может быть легче, как явиться к Монреалею, напомнить ему о его словах, поступить к нему в услужение и таким образом успешно наблюдать за его поступками. Должность шпиона не такова, чтобы нравиться всякому человеку, но она не оскорбляла брезгливости Анджело Виллани, и страшная ненависть, с которой его патрон часто говорил о жадном и свирепом разбойнике, биче его родины, заразила подобным же чувством и молодого человека, в котором было много надменного и ложного патриотизма римлян. Наконец, всякая выдумка казалась ему приличной и непередосудительной, если она спасала его господина, служила его родине и возвышала его самого.

Монреаль был один в своей комнате, когда ему сказали, что какой-то молодой итальянец желает его видеть. Доступный уже по своему ремеслу, он немедленно принял просителя.

Рыцарь св. Иоанна тотчас узнал пажа, которого он встретил в Авиньоне, и когда Анджело Виллани с развязной смелостью сказал: «Я пришел напомнить синьору Вальтеру де Монреалю об обещании», – рыцарь прервал его с приветливым радушием:

– Нет надобности, я помню его. Ты нуждаешься в моей дружбе?

– Да, благородный синьор, и я не знаю, где в другом месте мне искать покровителя.

– Умеешь ты читать и писать?

– Учился.

– Хорошо. Ты благородного происхождения?

– Да.

– Еще лучше. Твое имя?

– Анджело Виллани.

– Твои голубые глаза и низкий широкий лоб будут мне служить залогом твоей верности. С этих пор, Анджело Виллани, ты находишься в числе моих секретарей. В другой раз ты расскажешь мне о себе больше. Твоя служба начинается с этого дня.

Анджело вышел; Монреаль следовал за ним глазами.

– Странное сходство! – сказал он задумчиво и грозно. – Мое сердце рвется к этому мальчику!

III

БАНКЕТ МОНРЕАЛЯ

Через несколько дней после событий, описанных в последней главе, Риенцо получил вести из Рима, которые, казалось, радостно и сильно взволновали его. Войско по-прежнему стояло под Палестриной и по-прежнему знамена баронов развевались над ее непокоренными стенами. Итальянцы тратили половину своего времени на ссоры между собой; веллетретранцы имели распри с народом Тиволи, а римляне все еще боялись победы над баронами. Шмель, говорили они, жалит больнее перед своей смертью; а ни Орсини, ни Савелли, ни Колонна никогда не прощают.

Неоднократно начальники войска уверяли негодующего сенатора, что крепость нельзя взять и что время и деньги напрасно растрачиваются на осаду. Риенцо знал дело лучше, но скрывал свои мысли.

Теперь он позвал в свою палатку провансальских братьев и уведомил их о своем намерении немедленно возвратиться в Рим.

– Наемные войска будут продолжать осаду под начальством нашего наместника, а вы с моим римским легионом отправитесь со мной. И вашему брату, синьору Вальтеру, и мне нужно ваше присутствие; между нами есть дела, которые мы должны устроить. Через несколько дней я наберу рекрутов в городе и ворочусь.

Этого только и хотели братья; они с очевидной радостью одобрили предложение сенатора.

Риенцо послал за начальником своих телохранителей, тем самым Рикардо Аннибальди, с которым читатель познакомился уже прежде, как с противником Монреалья в единоборстве. Этот молодой человек, один из немногих нобилей, принявших сторону сенатора, выказал большую храбрость и военные способности и обещал, если бы судьба пощадила его жизнь[31], сделаться одним из лучших полководцев своего времени.

– Милый Аннибальди, – сказал Риенцо, – наконец я могу выполнить план, о котором мы тайно совещались. Я беру с собой в Рим двух провансальских начальников и оставляю вас предводителем войска. Палестрина теперь сдастся, да! Ха, ха, ха! Палестрина теперь сдастся!

– Клянусь, я думаю то же, сенатор, – отвечал Аннибальди.

Сенатор подробно изложил Аннибальди составленный им план взятия города, и искусный в военном деле Аннибальди тотчас же признал его реальность.

Со своим римским отрядом и братьями Монреалья, из которых один ехал от него справа, а другой слева, Риенцо отправился в Рим.

В эту ночь Монреаль давал пир Пандульфо ди Гвидо и некоторым из главнейших граждан.

Пандульфо сидел по правую руку рыцаря св. Иоанна, и Монреаль осыпал его знаками самого вежливого внимания.

– Выпейте со мной этого вина – оно из Кьянской долины, близ Монте Пульчьяно, – сказал Монреаль. – Помните, ученые говорят, что это место было знаменито издавна. В самом деле, вино имеет превосходный букет.

– Я слышал, – сказал Бруттини, один из меньших баронов, – что в этом отношении сын содержателя постоянного двора употребил свою книжную ученость в некоторую пользу: он знает каждое место, где растет лучший виноград.

– Как! Сенатор сделался пьяницей! – воскликнул Монреаль, выпивая залпом большой кубок. – Это должно делать его неспособным к делам. Жаль.

– Поистине так, – сказал Пандульфо, – человек, стоящий во главе государства, должен быть воздержан.

– О, – прошептал Монреаль, – если бы ваш спокойный, здравый смысл управлял Римом, то действительно столица Италии могла бы наслаждаться миром. Синьор Вивальди, – прибавил он, обращаясь к богатому скупщику, – эти беспорядки вредят торговле.

– Очень, очень, – простонал тот.

– Бароны – ваши лучшие покупатели, – проговорил один незначительный нобиль.

– Именно, именно! – сказал суконщик.

– Жаль, что их так грубо выгнали, – сказал Монреаль меланхолическим тоном. – Неужели сенатор не сумел быть настолько ревностен, чтобы соединить свободные учреждения с возвращением баронов?

– Конечно, это возможно, – отвечал Вивальди.

– Не знаю, возможно это или нет, – сказал Бруттини, – но чтобы сын содержателя гостиницы мог сделать римские дворцы пустыми, это ни на что не похоже.

– Правда, в этом как будто видно слишком пошлое желание заслужить благосклонность черни, – сказал Монреаль. – Впрочем, я надеюсь, мы уладим все эти раздоры. Риенцо, может быть, имеет хорошие намерения.

– Я бы желал, – сказал Вивальди, который понял его намек, – чтобы у нас образовалась смешанная конституция. Плебеи и патриции, каждое сословие само по себе.

– Но, – сказал Монреаль со значением, – этот новый опыт потребовал бы большой материальной силы.

– Да, правда, но мы можем призвать посредника-иностранца, который не был бы заинтересован ни в какой партии, который мог бы защищать новое *Buono Stato*, подесту, как мы делали это прежде. Подесту навсегда! Вот моя теория.

– Вам нет надобности далеко искать председателя вашего совета, – сказал Монреаль, улыбаясь Пандульфо, – направо от меня сидит гражданин и популярный, и благородный, и богатый одновременно.

Пандульфо кашлянул и покраснел.

Монреаль продолжал:

– Торговый комитет может дать почетное занятие синьору Вивальди, а управление иностранными делами, военная часть и прочее могут быть отданы нобильям.

– Но, – сказал Вивальди после некоторой паузы, – на такую умеренную и стройную конституцию Риенцо никогда не согласится.

– К чему же его согласие? Какая нужда до Риенцо? – вскричал Бруттини. – Риенцо может опять прогуляться в Богемию.

– Тише, тише, – сказал Монреаль, – я не отчаиваюсь. Всякое открытое насилие против сенатора может увеличить его могущество. Нет, нет, смирите его, примите к себе баронов и тогда настаивайте на своих условиях. Тогда вам можно будет установить надлежащее равновесие между двумя партиями. А чтобы оградить вашу конституцию от преобладания какой-либо из крайностей, для этого есть воины и рыцари, которые за известный ранг в Риме создадут пехоту и конницу к его услугам. Нас, ультрамонтанцев, часто строго судят, что мы бродяги и измаелиты единственно потому, что не имеем почетного места для оседлости. Например, если бы я...

– Да, если бы вы, благородный Монреаль! – сказал Вивальди.

Собеседники замолкли и, затаив дыхание, ждали, что скажет Монреаль, как вдруг послышался глубокий, торжественный и глухой звук капитолийского колокола.

– Слышите! – сказал Вивальди. – Колокол: он звонит к казни не в обычное время!

– Не сенатор ли возвратился? – воскликнул Пандульфо ди Гвидо, побледнев.

– Нет, нет. Дело идет о разбойнике, который два дня тому назад пойман в Романьи. Я слышал, что он будет казнен в эту ночь.

При слове «разбойник» Монреаль слегка изменился в лице. Вино пошло кругом, колокол продолжал звонить, но впечатление, произведенное внезапностью этого звука, исчезло, и он перестал возбуждать беспокойство. Разговор опять завязался.

– Так что вы говорили, господин рыцарь? – спросил Вивальди.

– Дайте вспомнить. Да! Я говорил о необходимости поддерживать новое государство силой. Я говорил, что если бы я...

– Да, именно, – сказал Бруттини, ударив по столу.

– Если бы я был призван к вам на помощь – призван, заметьте, и прощен папским легатом за мои прежние грехи (они тяготят меня, господа), то я сам бы охранял ваш город от чужеземных врагов и от гражданских смут, моими храбрыми воинами. Ни один римский гражданин не был бы обязан давать ни одного динара на издержки.

– Viva Fra Moreale! – вскричал Бруттини, и этот крик был повторен всеми веселыми собеседниками.

– Для меня довольно, – продолжал Монреаль, – искупить мои проступки. Вы знаете, господа, мой орден посвящен Богу и церкви, я воин-монах! Довольно, говорю, для меня искупить мои проступки, защищая святой город.

Но и я тоже имею свои особенные, темные цели, кто выше их? Я... колокол зазвонил иначе!

– Эта перемена предшествует казни. Несчастный разбойник сейчас умрет!

Монреаль перекрестился и заговорил опять:

– Я рыцарь и благородный, – сказал он с гордостью, – я избрал военное поприще; но не хочу скрывать этого – равные мне смотрели на меня как на человека, который запятнал свой герб слишком безрассудной погоней за славой и корыстью. Я хочу примириться со своим орденом», приобрести новое имя, оправдать себя перед великим магистром и первосвященником. Я получал намеки, господа, намеки, что я могу лучше всего подвинуть свое дело, восстановив порядок в папской столице. Легат Альборнос (вот его письмо) просит меня наблюдать за сенатором.

– Право, – прервал Пандульфо, – я слышу шаги внизу.

– Это чернь идет посмотреть на казнь разбойника, – сказал Бруттини, – продолжайте, господин кавалер.

– И, – сказал Монреаль, окинув прежде слушателей взглядом, – как вы думаете, не полезно ли было бы возвратить Колонну и смелых баронов Палестрины, в виде предосторожности против слишком произвольной власти сенатора?

– Выпьем это за их здоровье, – вскричал Вивальди, вставая.

Вся компания поднялась как бы по внезапному побуждению.

– За здоровье осаждаемых баронов! – громко закричала она.

– А потом, – продолжал Монреаль, – позвольте мне сделать скромное замечание: что, если бы вы дали сенатору товарища? В этом для него нет никакого оскорбления. Еще недавно один из Колоннов, бывший сенатором, имел товарища в лице Бертольдо Орсини.

– Благоразумнейшая предосторожность, – вскричал Вивальди. – И где можно сыскать товарища, подобного Пандульфо ди Гвидо?

– Viva Pandolfo di Gvido! – вскричали гости, и опять их кубки были осушены до дна.

– И если в этом я могу помочь вам, посредством откровенных объяснений с сенатором, то приказывайте Монреалю.

– Viva Fra Moreale! – вскричали Бруттини и Вивальди дуэтом.

– За здоровье всех, друзья мои, – продолжал Бруттини; – за здоровье баронов, старых друзей Рима; за здоровье Пандульфо ди Гвидо, нового товарища сенатора; и за Фра Морале, нового подесты Рима.

– Колокол замолчал, – сказал Вивальди, ставя свой кубок на стол.

– Да помилует небо разбойника! – прибавил Бруттини.

Едва он сказал это, как послышались три удара в дверь; гости взглянули друг на друга в немом изумлении.

– Новые гости! – сказал Монреаль. – Я просил нескольких верных друзей прийти к нам в этот вечер. Я очень рад им! Войдите!

Дверь медленно отворилась и по трое в ряд в полном вооружении вошли телохранители сенатора. Они подвигались вперед решительно и безмолвно. Свечи отражались на их нагрудниках, как будто на стене из стали.

Ни одного слова не было произнесено пирующими, все они, казалось, окаменели. Телохранители расступились, и показался сам Риенцо. Он подошел к столу и, сложив руки, медленно переводил глаза с одного гостя на другого, наконец, остановил их на Монреале, который один из всех собеседников сумел оправиться от внезапного изумления.

И когда эти два человека, оба столь знаменитые, гордые, умные и честолюбивые, стояли друг против друга, то казалось, будто бы два соперничающих духа – силы и ума, порядка и раздора, меча и секиры, два враждующих начала, из которых одно управляет государствами, а другое ниспровергает их, – встретились лицом к лицу, оба они были безмолвны, как бы очарованные взглядом друг друга, превосходя окружающих высотой роста и благородством вида.

Монреаль, с принужденной улыбкой, заговорил первым.

– Римский сенатор! Смее ли я думать, что мой скромный пир прельщает тебя и что эти вооруженные люди – любезный комплимент тому, для кого оружие было забавой.

Риенцо не отвечал, но дал знак своим телохранителям.

Монреаль был схвачен в одно мгновение. Риенцо опять посмотрел на гостей – и Пандульфо ди Гвидо, дрожащий, оцепенелый, в ужасе, не мог вынести сверкающего взгляда сенатора. Риенцо медленно указал рукой на несчастного гражданина, Пандульфо увидел это, понял свою участь, вскрикнул – и упал без чувств на руки солдат.

Другим быстрым взглядом сенатор окинул стол и пошел прочь с презрительной улыбкой, как будто ища другой не менее важной жертвы. До сих пор он не сказал ни одного слова, все было немым зрелищем, и его угрюмое молчание придавало еще более леденящий ужас его внезапному появлению. Только дойдя до двери, он обернулся назад, посмотрел на смелое и бесстрашное лицо провансальца и сказал почти шепотом:

– Вальтер де Монреаль! Ты слышал колокол смерти!

IV ПРИГОВОР НАД ВАЛЬТЕРОМ МОНРЕАЛЕМ

Вождь Великой Компании был отведен в тюрьму Капитолия. Теперь в одном и том же здании помещались два соперника по управлению Римом; один занимал тюрьму, другой – палаты. Телохранители заковали Монреалья в цепи и при свете лампы, оставленной на столе, Монреаль увидел, что он не один: братья опередили его.

– Счастливая встреча, – сказал рыцарь св. Иоанна, – нам случалось проводить более приятные ночи, нежели какой обещает быть эта.

– И ты можешь шутить, Вальтер! – сказал Аримбальдо, чуть не плача. – Разве ты не знаешь, что наша участь решена? Смерть висит над нами.

– Смерть! – повторил Монреаль, и только теперь изменился в лице. Может быть, первый раз в жизни он почувствовал дрожь и мучение страха.

– Смерть! – повторил он. – Невозможно! Он не посмеет!! Солдаты-норманны – они взбунтуются, они вырвут нас из рук палача!

– Оставь эту пустую надежду, – сказал Бреттоне угрюмо, – солдаты стоят лагерем под Палестриной.

– Как? Олух, дурак! Так ты воротился в Рим без них! Неужели мы наедине с этим страшным человеком?

– Ты олух! Зачем ты приехал сюда? – отвечал брат.

– Зачем! Я знал, что ты начальник войска; и – впрочем ты прав, я был глуп, противопоставил хитрому трибуну такую голову, как твоя. Довольно! Упреки бесполезны. Когда вас арестовали?

– В сумерки, в ту минуту, когда мы входили в ворота Рима. Риенцо сделал это тайно.

– Гм! Что мог он узнать для обвинения меня? Кто мог меня выдать? Мои секретари – люди испытанные, надежные, исключая разве этого молодого человека; да и он так усерден, этот Анджело Виллани!

– Виллани! Анджело Виллани! – вскричали оба брата Монреалья вместе. – Ты что-нибудь доверил ему?

– Боюсь, он должен был видеть, по крайней мере отчасти, мою переписку с вами и с баронами: он был в числе моих писцов. Разве вы знаете что-нибудь о нем?

– Вальтер, небо помрачило твой рассудок, – отвечал Бреттоне. – Анджело Виллани любимый холоп сенатора.

– Так его глаза обманули меня, – прошептал Монреаль торжественно и с трепетом, – дух ее, по-видимому, возвратился на землю, и Бог карает меня из ее могилы!

Последовало продолжительное молчание, пока Монреаль, смелый и сангвинический темперамент которого никогда не поддавался унынию надолго, не заговорил опять.

– Богата ли казна у сенатора?

– Скучна, как у доминиканца.

– Тогда мы спасены. Он назначит цену за наши головы. Деньги должны быть для него полезнее крови.

И как будто бы эта мысль делала все дальнейшие размышления ненужными, Монреаль снял плащ, произнес короткую молитву и бросился на кровать, стоявшую в углу комнаты.

– Я спал иногда и на худших постелях, – сказал рыцарь, укладываясь. Через несколько минут он крепко спал.

Братья прислушивались к его тяжелому, но ритмичному дыханию с завистью и удивлением, но не были расположены разговаривать. Тихо и безмолвно, подобно статуям, сидели они возле спящего. Время шло, и первый холодный воздух наступившей полночи пробрался сквозь решетку их кельи. Засовы загремели, дверь отворилась; показалось шестеро вооруженных людей; они прошли около братьев и один прикоснулся к Монреалю.

– А! – сказал тот, еще не проснувшись, но поворачиваясь на другой бок. – А! – сказал он на нежном провансальском наречии, – милая Аделина, мы ещё не будем вставать, мы так долго с тобой не видались!

– Что он говорит? – проворчал солдат, грубо толкая Монреалья. Рыцарь вдруг вскочил и схватился за изголовье кровати, как будто за меч. Он бессмысленно посмотрел кругом, протер глаза и тогда, взглянув на солдата, понял в чем дело.

– Вы рано встаете в Капитолии, – сказал он. – Что вам от меня нужно?

– Она ожидает вас!

– Она! Кто? – спросил Монреаль.

– Пытка! – отвечал солдат, злобно нахмурив брови.

Великий вождь не сказал ни слова. С минуту смотрел он на шестерых вооруженных людей, как будто сравнивая свою одинокую силу с их числом. Потом глазами он окинул комнату. Самый грубый железный болт в эту минуту был бы для него дороже, чем в другое время самая лучшая миланская сталь. Он окончил свой обзор вздохом, накинул свой плащ на плечи, кивнул своим братьям и пошел за солдатом.

В зале Капитолия, стены которого были покрыты шелковыми обоями с белыми полосами по кроваво-красному полю, сидел Риенцо со своими советниками. В углублении висел черный занавес.

– Вальтер де Монреаль, – сказал маленький человек, стоявший у стола, – рыцарь знаменитого ордена св. Иоанна Иерусалимского.

– И предводитель Великой Компании! – прибавил арестант твердым голосом.

– Вы обвиняетесь в разных преступлениях: разбоях и убийствах, учиненных в Тоскане, Романьи и Апулии.

– Вместо «разбоя и убийства» храбрые люди и посвященные рыцари, – сказал Монреаль, выпрямляясь, – употребили бы слова «война и победа». В этих преступлениях я признаю себя виновным, – продолжай.

– Затем вы обвиняетесь в предательском заговоре против свободы Рима, в восстановлении изгнанных баронов и в изменнической переписке со Стефанелло Колонной в Палестрине.

– Мой обвинитель?

– Выйди, Анджело Виллани!

– Так это вы мой предатель? – сказал Монреаль спокойно. – Я заслужил это. Прошу вас, римский сенатор, велите этому молодому человеку уйти. Я признаюсь в моей переписке с Колонной и в моем желании восстановить баронов.

Риенцо дал знак Виллани, который поклонился и вышел.

– Итак, теперь вам остается, Вальтер де Монреаль, только подробно и правдиво рассказать о подробностях вашего заговора.

– Это невозможно, – возразил Монреаль небрежно.

– Почему?

– Потому что, распоряжаясь, как мне угодно, моей жизнью, я не хочу предавать жизнь других.

– У закона, Вальтер Монреаль, есть суровые следователи: взгляни!

Черный занавес был отдернут, и глазам Монреалья представились палач и орудия пытки! Грудь его гневно заволновалась.

– Сенатор римский, – сказал он, – эти орудия существуют для рабов и простолюдинов. Я был воином и вождем; в моих руках были жизнь и смерть, я распоряжался ими, как хотел; но равных мне и моих врагов я никогда не оскорблял пыткой.

– Синьор Вальтер де Монреаль отвечает так, как отвечал бы всякий порядочный человек. Но узнай от меня, кого судьба сделала твоим судьей, что я уступил только желанию этих почтенных сенаторов испытать твои нервы. Но если бы ты был самым простым крестьянином и явился перед моим судилищем, то и тогда бы ты не имел причины бояться пытки. Вальтер де Монреаль, скажи, так ли бы поступил кто-либо из государей Италии,

которых ты знал, или из римских баронов, которым ты хотел оказать помощь?

– Я желал только, – сказал Монреаль с некоторым колебанием, – соединить баронов с тобой; я не замышлял заговора против твоей жизни! Риенцо нахмурил брови.

– Рыцарь св. Иоанна, я знаю твои тайные замыслы; увертки и уклончивость для тебя неприличны и бесполезны. Если ты не замышлял заговора против моей жизни, то замышлял его против Рима. Тебе остается на земле просить только одной милости, именно: выбора смерти.

Губы Монреалья судорожно зашевелились.

– Сенатор, – сказал он тихим голосом, – могу я поговорить с тобой одну минуту наедине?

Советники подняли глаза.

– Синьор, – прошептал старший из них, – без сомнения, он имеет при себе скрытое оружие – не доверяйтесь ему.

– Пленник, – отвечал Риенцо после минутной паузы, – если ты хочешь просить помилования, то это будет напрасно, а перед моими помощниками у меня нет тайн; говори, что тебе нужно?

– Но послушай, – сказал арестант, сложив руки, – это касается не моей жизни, а благосостояния Рима.

– В таком случае, – сказал Риенцо, сменив тон, – я исполню твою просьбу.

Говоря это, он дал знак советникам, которые медленно вышли через дверь, за которой скрылся Виллани, а стража отошла в самый дальний угол залы.

– Теперь, Вальтер Монреаль, говори скорей, время не ждет.

– Сенатор, – сказал Монреаль, – моя смерть принесет вам мало пользы; люди скажут, что вы казнили своего кредитора для уничтожения вашего долга. Назначьте сумму за жизнь мою, оцените ее так, как могла бы быть оценена жизнь какого-нибудь государя; каждый флорин будет вам уплачен, и ваша казна будет полна целые пять лет. Если существование *Buono Stato* зависит от вашего управления, то ваша заботливость о Риме не позволит вам отказать мне в этой просьбе.

– Ты ошибаешься во мне, смелый разбойник, – сказал Риенцо сурово, – против твоей измены я мог бы остеречься, и потому прощаю ее; но твоего честолюбия никогда не прощу. Я знаю тебя! Положи руку на сердце и скажи, – если бы ты был на моем месте, продал ли бы ты жизнь Вальтера де Монреалья за все золото в мире? Несмотря на твое богатство, на твое величие, на твою хитрость, твои часы сочтены; ты умрешь с восходом солнца!

Устремив глаза на сенатора, Монреаль увидел, что надежды нет; гордость и мужество возвратились к нему.

– Мы напрасно тратили слова, – сказал он. – Мы играли в большую игру, я потерял и должен заплатить проигрыш! Я готов. На пороге между двумя мирами людей посещает дух пророчества. Сенатор, говорю тебе, что в раю или в аду, через несколько дней будет отведено место человеку, который могущественнее меня!

Когда он говорил эти слова, фигура его, казалось, увеличилась в размерах, глаза горели, и Риенцо вздрогнул, как никогда не вздрагивал прежде, и закрыл лицо рукой.

– Какую смерть избираешь ты? – спросил он глухим голосом.

– Топор: эта смерть прилична рыцарю и воину. Для тебя же, сенатор, судьба приготовила менее благородную смерть.

– Разбойник, замолчи! – вскричал Риенцо запальчиво. – Стражи! Отведите арестанта назад. С восходом солнца, Монреаль.

– Зайдет солнце бича Италии, – сказал рыцарь с горечью. – Пусть будет. Еще одна просьба: рыцари св. Иоанна имеют притязание на родство с августинским орденом; дайте мне августинского духовника.

– Хорошо; и я, который не могу даровать помилования твоему телу, буду молить всеобщего Судью помиловать твою душу!

– Сенатор, я покончил с людским ходатайством. А мои братья? В смерти их нет необходимости для твоей безопасности или для твоего мщенья!

Риенцо немного подумал и сказал:

– Правда. Они были опасными орудиями, но без мастера могут ржаветь безвредно. Притом они служили мне. Жизни их будет оказана пощада.

V

ОТКРЫТИЕ

Совет разошелся; Риенцо поспешил в свои комнаты. Встретив Виллани, он с чувством пожал ему руку.

– Вы спасли Рим и меня от большой опасности, – сказал он, – да наградят вас святые! – Не ожидая ответа Виллани, он пошел дальше. Нина в беспокойстве и тревоге ожидала его.

– Ты еще не в постели! – сказал он. – Ах, Нина! Даже твоя красота не выдержит этих бессонниц.

– Я не могла спать, не увидев тебя. Я слышала, что ты захватил Вальтера де Монреалья и что он будет казнен.

– Это первый разбойник, который умирает такой храброй смертью, – отвечал Риенцо, медленно раздеваясь.

– Кола, я никогда даже намеком не противилась твоим планам, твоей политике. Для меня довольно радоваться их успеху или горевать о неудаче их. Теперь я обращаюсь к тебе с одной просьбой: пощади жизнь этого человека.

– Нина...

– Выслушай меня, это важно для тебя! Несмотря на его преступления, его храбрость и ум приобрели ему поклонников даже между его врагами. Многие владетели, многие государства, которые втайне рады его падению, выкажут притворный ужас против его судьбы. Далее: братья его помогли твоему возвращению в Рим, и свет назовет тебя неблагодарным. Братья его дали тебе денег, и свет назовет тебя...

– Остановись, – прервал сенатор. – Обо всем, что ты говоришь, я уже думал, но ты знаешь меня, перед тобой я не скрываюсь. Никакой договор не может обязать Монреала, никакой милостью нельзя приобрести его благодарности.

– Если бы ты мог читать, Кола, в моих предчувствиях, – таинственных, мрачных, необъяснимых!

– Предчувствия! И у меня они есть, – отвечал Кола грустно, смотря в пустое пространство, как будто его мысли населили эту пустоту призраками. Потом, подняв глаза к небу, он с фанатической энергией, которая составляла значительную часть как его силы, так и слабости, сказал: – Боже, я по крайней мере не согрешил грехом Саула! Амалекитам не будет пощады!

Между тем как Риенцо спал коротким, тревожным, беспокойным сном, над которым бодрствовала Нина, не закрывая глаз и беспокоясь под бременем мрачных и грозных предчувствий, обвинитель был счастливее судьбы. Последние смутные мысли, мелькавшие в молодом уме Анджело Виллани перед сном, были светлы и пылки. Он не чувствовал никакого угрызения совести и того, что обманул доверенность другого; он думал только о том, что его план удался, что его дело было исполнено. Благодарность Риенцо звучала в его ушах, и надежды счастья и власти под управлением римского сенатора, убаюкали его и окрасили его грезы розовым светом.

Едва прошло два часа с тех пор, как он заснул, его разбудил один из слуг дворца, который сам не совсем очнулся от сна.

– Извините меня, мессер Виллани, – сказал он, – но внизу ждет человек, посланный от доброй сестры Урсулы; он просит вас тотчас поспешить в

монастырь; она при смерти, и хочет сообщить вести, требующие вашего немедленного присутствия.

Анджело, болезненная восприимчивость которого относительно своего родства была постоянно возбуждаема неопределенными, но честолюбивыми надеждами, вскочил, наскоро оделся и отправился в монастырь с посланцем Урсулы. На дворе Капитолия и у лестницы льва был слышен какой-то шум и, оглянувшись, Виллани увидел помост, покрытый черным, который, подобно туче, рисовался в сером свете рождающегося утра. Августинский монастырь находился на самом дальнем конце города, и красный свет на вершинах холмов уже возвещал о восходе солнца, прежде чем молодой человек дошел до почтенной обители. Имя его обеспечило ему немедленный пропуск.

– Дай Бог, – сказала старая монахиня, которая вела его по темному и извилистому проходу, – чтобы ты мог принести утешение больной сестре: она тосковала по тебе с самой заутрени.

В келье, назначенной для чужих посетителей, сидела старая монахиня. Анджело видел ее только однажды со времени возвращения своего в Рим, и с тех пор болезнь сделала быстрые успехи в ее теле и чертах. Однако же она приблизилась к молодому человеку с большей живостью, чем можно было ожидать при ее болезненном состоянии.

– Ты пришел, – сказала она. – Хорошо! Сегодня после заутрени мой духовник, августинский монах, сказал мне, что Вальтер де Монреаль схвачен сенатором, что он приговорен к смерти и что один из августинских братьев был призван для его напутствия в последние минуты. Правда это?

– Да, – сказал Анджело с удивлением. – Человек, имя которого приводило тебя в трепет, против которого ты так часто предостерегала меня, умрет при восходе солнца.

– Так скоро! Так скоро! О, милосердая мать! Беги, ты находишься при сенаторе, ты у него в большой милости... Беги! Упади перед ним на колени и, Божьей благодатью заклинаю тебя, не вставай до тех пор, пока не выпросишь жизни для провансальца.

– Она бредит, – прошептал Анджело побледневшими губами.

– Я не брежу, мальчик! – вскричала монахиня раздражительно. – Знай, что моя дочь была его любовницей. Он обесчестил наш род, который знатнее его рода. Я, грешница, дала обет мщениия. Его мальчик был воспитан в разбойничьем лагере, ему предстояла преступная жизнь, роковая смерть и ад. Я вырвала ребенка от такой судьбы; я украла его; я сказала его отцу, что он умер. Да отпустится мне грех мой! Анджело Виллани! Этот ребенок – ты; Вальтер де Монреаль – твой отец. Теперь, стоя на пороге смерти, я

содрогаюсь при воспоминании о мстительных мыслях, которые я питала прежде.

– Проклятая грешница! – прервал ее Виллани с громким криком. – Да, поистине грешница и проклятая! Знай, что я сам предал любовника твоей дочери! Отец умирает через измену сына.

Он не медлил долее ни минуты; он не остался взглянуть, какое действие произвели его слова. Как бешеный, как человек, одержимый или преследуемый злым духом, он бросился из монастыря и побежал по пустым улицам. Звук похоронного колокола доходил до его слуха, сперва неясно, потом громко. Каждый удар казался ему проклятием Божиим. Задыхаясь, он с усилием пробивался вперед, он ничего не слышал, не видел; все для него было подобно какому-то сну. Вот над отдаленными холмами поднялось солнце... Колокол замолк... Он начал расталкивать толпу направо и налево с силой гиганта. Подвигаясь вперед, он услышал низкий и ясный голос, это был голос его отца! Голос замолк; слушатели тяжело дышали, они шептали, двигались туда и сюда. Анджело Виллани все пробивался вперед. Телохранители сенатора остановили его. Он бросился в сторону от их пик, ускользнул от их рук, пробрался через вооруженную преграду и теперь стоял на площади Капитолия. «Стой! Стой!» – хотел он закричать, но онемел от ужаса. Он увидел сверкающий топор, он увидел наклоненную шею. Не успел он вздохнуть другой раз, как мертвая, отделенная от туловища голова была поднята вверх. Вальтера Монреалья не стало!

Виллани видел, но не упал в обморок, не вздрогнул, не вздохнул. Но от этой поднятой головы, от капающей крови он обратил глаза к балкону, где, согласно обычаю, сидел в торжественном великолепии сенатор Рима; и лицо юноши в эту минуту было похоже на лицо демона!

– Га! – прошептал он про себя, припоминая слова Риенцо, сказанные семь лет назад: «Счастлив ты, что кровь родственника не вопиет к тебе о мщении!»

VI

НЕРЕШИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Вальтер де Монреаль был похоронен в церкви св. Марии Арагельской. Но зло, которое он сделал, пережило его! Хотя толпа роптала против Риенцо за то, что он позволил этому известному разбойнику свободно жить в Риме, но

едва он был казнен, как она начала выказывать сострадание к предмету своего ужаса.

Предательство Монреалья мало было известно, страх от него был забыт, и из воспоминаний о нем в Риме осталось только восхищение его героизмом и сострадание к его смерти. Судьба Пандульфо ди Гвидо, который был казнен через несколько дней, возбудила еще более глубокое, хотя и более спокойное чувство против сенатора. «Он некогда был другом Риенцо!» – сказал один. «Он был честный, правдивый гражданин!» – прошептал другой. «Он был ходатаем народа!» – проворчал Чекко дель Веккио. Но сенатор решился быть непреклонно правосудным и смотрел на каждую опасность для Рима, как прилично римлянину. Риенцо помнил, что всякий раз, когда он прощал, это служило только усилению злобы.

Рассматривая беспристрастно поведение Риенцо в этот страшный период его жизни, едва ли возможно осуждать его хоть в одной ошибке с точки зрения политики. Излечась от своих недостатков, он уже не выказывал ненужной пышности и упоенной гордости. Он думал только обо всех нуждах Рима. Неутомимо трудясь, он надзирал, приказывал, распоряжался всем в городе и в армии, в войне и в мире. Но его слабо поддерживали, а те, которых он привлекал к делу, были вялы и летаргичны. Но его оружие было счастливо. Замок за замком, крепость за крепостью сдавались наместнику сенатора, и с часу на час ожидалось падение Палестрины. Ловкость и искусство Риенцо всегда поразительно выказывалось в трудных обстоятельствах, и читатель не мог не заметить, как явно обнаружилось оно в освобождении им себя от опеки чужеземных наемников. Казнь Монреалья и заключение его братьев в тюрьму навели внушительный страх на душу солдат-бандитов.

Несмотря на свое опасное положение, на свои подозрения и страх, он не запятнал своего строгого правосудия никакой неумеренной жестокостью; Монреаль и Пандульфо ди Гвидо были единственными политическими жертвами его. Если, по правилам мрачного макиавеллизма итальянской мудрости, смерть этих врагов была не справедлива, то не в сущности самого дела, а в способе совершения его. Владетель Болоньи или Милана избежал бы огласки, возбуждаемой эшафотом, и кинжал или яд – более безопасные орудия – заменили бы топор. Но при всех недостатках, действительных недостатках Риенцо или приписываемых ему, ни один акт гнусной и злодейской политики, которая составляла науку более счастливых правителей Италии, не был употреблен для своего честолюбия или для ограждения безопасности последнего из римских трибунов. Каковы бы ни были его ошибки, он жил и умер, как прилично человеку, лелеявшему

несбыточную, но славную надежду возвратить гений древней республики испорченной и трусливой черни.

Из окружавших сенатора лиц усерднее и уважаемое всех был Анджело Виллани. Достигнув высокого положения в государстве, Риенцо чувствовал как бы возвращение юности в удовольствии видеть возле себя человека, имевшего право на его благодарность. Он любил и доверял Виллани, как сыну. Анджело никогда не отлучался от него, исключая сношения с различными народными вождями в разных частях города. И в этих сношениях его усердие было неутомимо; оно, казалось, даже вредило его здоровью, и Риенцо ласково высказывал ему это, когда, очнувшись от своей задумчивости, замечал его рассеянный взгляд и зеленую бледность, которая заменила блеск и цвет юности.

На эти выговоры молодой человек отвечал неизменно одними и теми же словами:

– Сенатор, я должен выполнить одно великое дело, – и при этих словах он улыбался.

Однажды Виллани, оставшись с сенатором наедине, сказал ему довольно неожиданно:

– Помните ли вы, синьор, что под Витербо я так отличился в деле, что даже кардиналу д'Альборносу угодно было заметить меня!

– Я помню твою храбрость хорошо, Анджело; но к чему этот вопрос?

– Синьор! Беллини, капитан capitoлийской стражи опасно болен.

– Знаю.

– Кого монсиньор думает назначить на этот пост?

– Конечно, лейтенанта!

– Как! Солдата, который служил у Орсини!

– Это правда. Ну, так Томаса Филанджери.

– Превосходный человек; но не родственник ли он Пандульфо ди Гвидо?

– Как, разве родственник? Об этом надо подумать. Уж нет ли у тебя друга, о котором ты хочешь хлопотать? – сказал сенатор улыбаясь. – Кажется, ты к этому ведешь разговор.

– Синьор, – возразил Виллани, покраснев, – может быть, я слишком молод, но этот пост требует не столько лет, сколько верности. Должен ли я признаться? Я более расположен служить вам мечом, нежели пером.

– Неужели ты хочешь принять эту должность? Она не так важна и выгодна, как твоя, и ты слишком молод для того, чтобы управлять этими упрямыми умами.

– Сенатор, я вел людей покрепче этих в атаку под Витербо. Впрочем, пусть будет, как угодно вам. Вы знаете лучше меня. Но что бы вы ни решили,

прошу вас быть осторожным. Что если вы для начальства над capitoлийской стражей выберете какого-нибудь изменника? Я дрожу при этой мысли.

– Клянусь, ты бледнеешь, милый мальчик! Твоя привязанность – сладкая капля в горьком напитке. Кого я могу выбрать лучше, чем тебя? Ты получишь этот пост, по крайней мере на время болезни Беллини. Я решу это сегодня.

VI НАЛОГ

Страшные заговоры были подавлены, бароны почти покорены, три части папской территории присоединены опять к Риму, и Риенцо думал, что теперь он может безопасно выполнить один из своих любимых планов для сохранения свободы своего родного города. Этот план состоял в организации в каждом из кварталов Рима по одному римскому легиону. Он надеялся таким образом сформировать необходимое для Рима войско из одних римских граждан, вооруженных для защиты собственных учреждений.

Но люди, с которыми этот великий человек осужден был иметь дело, были так низки, что нельзя было найти ни одного, который бы согласился служить своему отечеству без платы, равной той, которая давалась чужеземным наемникам. С наглостью, свойственной этому, некогда великому племени, каждый римлянин говорил: разве я не лучше какого-нибудь немца? Так заплати же мне соответственно.

Сенатор сдерживал свое неудовольствие, он понял, наконец, что век Катонов прошел. Из предприимчивого энтузиаста опыт превратил его в практического государственного деятеля. Для Рима понадобились легионы, и они были сформированы. Они имели блестящий вид и были одеты безукоризненно. Но из чего выплачивать им жалованье? Для поддержания Рима существовало только одно средство – налог. Габелла была наложена на вина и на соль.

Прокламация о налоге была прибита на улицах. Около одного из этих объявлений собралась толпа римлян. Их жесты были грубы и несдержанны, глаза сверкали; они говорили тихо, но с жаром.

– Так он осмеливается обложить нас податью! Это могли сделать только бароны или папа!

– Стыд! Стыд! – вскричала одна худощавая женщина. – Нас, которые были его друзьями! Как мы прокормим наших малюток?

– Мы не римляне, если потерпим это, – сказал один беглец из Палестрины.
– Сограждане! – угрюмо вскричал человек высокого роста, который до сих пор слушал писца, читавшего ему подробности постановления о налоге, и тяжелый ум которого понял, наконец, что вино стало дороже. – Сограждане! У нас должна произойти новая революция. Вот так благодарность! Что мы выиграли, восстановив этого человека? Неужели нас всегда будут растирать в порошок? Платить, платить и платить! Неужели мы пригодны только для этого?

– Слушайте, что скажет Чекко дель Веккио!

– Нет, нет, не теперь, – проворчал кузнец. – Нынешнюю ночь у ремесленников будет особая сходка. Увидим, увидим!

Незамеченный прежде молодой человек, закутанный в плащ, тронул кузнеца.

– Послезавтра на рассвете всякий может напасть на Капитолий, стражи там не будет! – прошептал он и исчез, прежде чем кузнец успел оглянуться.

В ту же ночь Риенцо, идя спать, сказал Анджело Виллани:

– Эта мера смелая, но необходимая. Как народ принял ее?

– Он немного пороптал, но потом, кажется, признал ее необходимость. Чекко дель Веккио прежде громче всех ворчал, а теперь громче всех высказывает свое одобрение.

– Он груб, он некогда изменил мне; но тогда – это роковое отлучение от церкви! Он и римляне получили в этой измене горький урок и, надеюсь, опыт научил их честности. Если подать будет собрана спокойно, то через два года Рим сделается опять царем Италии, войско его будет в полном составе, республика будет устроена; и тогда, тогда...

– Тогда что, сенатор?

– Тогда, мой Анджело, Кола ди Риенцо может умереть спокойно! Это потребность, к которой приводит нас глубокий опыт власти и великолепия, потребность, грызущая подобно голоду, томящая, как потребность сна! Анджело, это потребность смерти!

– Монсиньор, я готов бы отдать мою правую руку, – вскричал Виллани с жаром, – чтобы слышать от вас, что вы привязаны к жизни!

– Ты добрый юноша, Анджело! – сказал Риенцо, идя в комнату Нины. И в ее улыбке и заботливой нежности он забыл на некоторое время свое величие.

VIII ПОРОГ СОБЫТИЯ

На следующее утро у римского сенатора в Капитолии был большой прием. Из Флоренции, Падуи, Пизы, Генуи, Неаполя, даже из Милана – владения Висконти, прибыли послы поздравить Риенцо с возвращением или благодарить его за освобождение Италии от разбойника де Монреалья. В общем приветствии не приняла участия только Венеция, содержавшая Великую Компанию на свой счет. Никогда Риенцо не казался более счастливым и могущественным, никогда он не обнаруживал более непринужденного и веселого величия в своем поведении.

Едва аудиенция кончилась, как прибыл посол из Палестрины. Город сдался, Колонна выехал, и знамя сенатора стало развеиваться на стенах последней крепости мятежных баронов. Теперь, наконец, Рим мог считать себя свободным, и, по-видимому, не осталось ни одного врага, который бы мог угрожать спокойствию Риенцо.

Собрание было распущено. Сенатор в радости и восторге пошел в свои особые комнаты перед пиром, который давался посланникам. Виллани встретил его со своим обычным мрачным видом.

– Сегодня не должно быть никакой грусти, мой Анджело, – сказал сенатор весело. – Палестрина – наша.

– Я рад слышать эту весть и видеть синьора таким веселым, – отвечал Анджело. – Неужели он теперь не желает жить?

– До тех пор, пока римская доблесть не будет восстановлена – может быть, желаю! Но нас так дурачит фортуна. Сегодня мы веселы, завтра – печальны!

– Завтра, – повторил Виллани машинально. – Да, завтра, может быть, печальны!

– Ты играешь моими словами, мальчик, – сказал Риенцо с некоторым гневом, поворачиваясь, чтобы идти.

Но Виллани не обратил внимания на неудовольствие своего господина.

Пир был многолюден и роскошен, и в этот день Риенцо без усилия играл роль вежливого хозяина.

Пир кончился рано, как обыкновенно бывает в торжественных случаях, и Риенцо, несколько разгоряченный вином, вышел один из Капитолия прогуляться. Направившись к палатину, он увидел бледный, подобный покрывалу вечерний туман, расстилавшийся над дикой травой, которая волнуется над дворцом Цезарей. Задумчиво, сложив руки, он остановился на груде развалин, на обвалившейся арке и колонне. Он вспоминал, как мальчиком ходил он со своим меньшим братом вечером рука об руку, по берегу реки: ему вдруг представилось бледное лицо и окровавленный бок, и он еще раз произнес проклятия мести! Его первые успехи, юношеские

триумфы, тайная любовь, слава; сила, несчастья, отшельничество в пустынях Майеллы, авиньонская тюрьма, торжественное возвращение в Рим, все рисовалось в его голове с такой отчетливостью, как будто он снова переживал эти сцены! А теперь! Риенцо затрепетал перед настоящим. Он сошел с холма. Возшедший месяц освещал форум, когда сенатор проходил между его смешанными развалинами. Подле храма Юпитера внезапно показались две фигуры. Лунный свет упал на их лица, и Риенцо узнал в них Чекко дель Веккио и Анджелло Виллани. Они не видели его и, с жаром разговаривая, исчезли близ арки Траяна.

«Виллани! Всегда деятельный на моей службе! – подумал сенатор. – Кажется, я сегодня утром говорил с ним жестко. Это грубость с моей стороны!»

Он поспешил во дворец, часовые дали ему дорогу.

– Сенатор, – сказал один из них нерешительно, – мессер Анджело наш новый капитан? Мы должны повиноваться его приказаниям?

– Конечно, – отвечал сенатор, идя дальше. Солдат остался в прежнем принужденном положении, как будто хотел говорить, но Риенцо этого не заметил. Придя в свою комнату, он нашел там Нину и Ирену, которые ждали его.

– Милая моя, – сказал он, нежно обнимая Нину, – твои губы никогда не делают мне выговоров, но глаза иногда делают! Мы слишком долго не были вместе. Когда для нас настанут более светлые дни, то я поблагодарю тебя за все твои заботы. И ты, моя прекрасная сестра, улыбаешься мне! А ты слышала, что твой милый освобожден вследствие сдачи Палестрины, и завтра ты увидишь его у ног твоих.

– Как я счастлива! Если бы у нас было много часов, подобных этому! – прошептала Нина, склоняясь к нему на грудь. – Но иногда я желаю...

– И я тоже, – прервал Риенцо, – я тоже иногда желаю, чтобы судьба назначила нам более скромное поприще. Но это еще может случиться. Когда Ирена выйдет за Адриана, когда Рим будет свободен, тогда, Нина, мы с тобой найдем спокойный уголок и будем говорить о прежних праздниках и триумфах, как о каком-нибудь сне. Поцелуй меня, моя красавица! В состоянии ли ты отказаться от окружающего великолепия?

– Я променяю его на пустыню, только с тобой, Кола!

– Дай мне припомнить, – сказал Риенцо, – сегодня не седьмое ли число октября? Да! Седьмое число (это надо заметить), мои враги уступили моей силе! Седьмое! Роковое число мое в худом и в хорошем: семь месяцев я управлял в качестве трибуна; семь лет я был в изгнании; а завтра, когда у

меня не будет более врагов, исполнится семь недель с тех пор, как я воротился в Рим!

Между тем, в замке Орсини, на большом дворе, туда и сюда двигаются огни. Анджело Виллани украдкой выходит из задних ворот. Прошел час, и луна поднялась высоко; к развалинам Колизея из улиц и переулков по двое пробираются люди, принадлежащие, как можно судить по их одежде, к низшему классу. Опять показалась фигура сына Монреалья, выходящая из этих развалин. Стало еще позднее – месяц заходит, серый свет мерцает на востоке, ворота Рима близ церкви св. Иоанна латеранского отворены! Виллани разговаривает с часовыми. Месяц зашел, горы потускнели от печального и холодного тумана. Виллани у дворца Капитолия, там нет ни одного солдата! Куда девались римские легионы, которые должны были охранять и свободу, и освободителя Рима?

IX ОКОНЧАНИЕ ОХОТЫ

Было утро 8 октября 1354 года. Риенцо, проснувшийся рано, беспокойно ворочался на постели.

– Еще рано, – сказал он Нине, нежная рука которой обнимала его шею, – кажется никто из моих людей еще не вставал. Но у меня день начинается раньше, чем у них.

– Не вставай еще, Кола, тебе нужен сон.

– Нет, я чувствую лихорадочное состояние, и эта старая рана в боку мучит меня. Мне нужно писать письма.

– Позволь мне быть твоим секретарем, – сказала Нина.

Риенцо с любовью улыбнулся, вставая. Он пошел в свой кабинет, примыкавший к спальне и, по своему обыкновению, принял ванну. Потом он воротился к Нине, которая, уже одетая в широкое платье, сидела за письменным столом, готовая к работе.

– Как все тихо! – сказал Риенцо. – Какую спокойную и очаровательную прелюдию составляют эти часы перед беспокойным днем.

Наклонившись над плечом жены, Риенцо продиктовал несколько писем, прерывая по временам эту работу замечаниями, какие приходили ему на ум.

– Ну, теперь к Аннибальди! Кстати, молодой Адриан должен быть у нас сегодня; как я радуюсь за Ирену!

– Милая сестра, да! Она любит, если кто-нибудь может любить, как мы, Кола.

– Да; но за работу, мой прекрасный писец! А! Что это за шум? Я слышу вооруженную поступь, лестница гремит, кто-то громко произносит мое имя.

Риенцо бросился к своему мечу; дверь вдруг отворилась, и человек в полном вооружении явился в комнате.

– Что это значит? – сказал Риенцо, становясь впереди Нины с обнаженным мечом.

Неожиданный посетитель поднял наличник: это был Адриан Колонна.

– Бегите, Риенцо! Спешите, синьора! Благодарите небо, что я могу еще спасти вас. Когда я и моя свита были освобождены взятием Палестрины, то боль от моей раны задержала меня прошлую ночь в Тиволи. Город был наполнен солдатами, но не твоими, сенатор. До меня дошли слухи, которые встревожили меня. Я решил ехать, и когда подъехал к Риму, ворота были отворены настежь!

– Как!

– Ваша стража исчезла. Потом я наехал на толпу наемников Савелли. Знаки, по которым они увидели, что я принадлежу к дому Колонны, обманули их. Я узнал, что в этот именно час некоторые из ваших врагов находятся внутри города, что остальные на пути, что даже народ вооружается против вас. Я поехал через самые темные улицы, чернь там уже собиралась. Они приняли меня за твоего врага и кричали. Я приехал сюда, часовых нет. Боковая дверь внизу отворена. Во дворце не видно ни души. Спешите, бегите, спасайтесь! Где Ирена?

– Капитолий брошен! Это невозможно! – вскричал Риенцо. Он прошел через комнаты до передней, где обыкновенно помещался ночной караул, она была пуста! Он поспешил в комнату Виллани, его не было! Он хотел идти дальше, но дверь была заперта снаружи. Было ясно, что всякий выход отрезан, исключая дверь внизу, и эта дверь отворена для того, чтобы впустить убийц его!

Риенцо вернулся в свой кабинет. Нина уже пошла разбудить и приготовить Ирену, комната которой была на другой стороне.

– Живей, сенатор! – сказал Адриан. – Кажется, есть еще время. Мы должны пробраться к Тибру. Я поставил там верных оруженосцев и норманнов. Нас ждет лодка!

– Тихо! – прервал Риенцо, слух которого в последнее время сделался необыкновенно острым. – Я слышу отдаленный крик – знакомый крик – viva l'Роро! Да! Это, должно быть, друзья.

– Не обманывай себя; ты едва имеешь одного друга в Риме.

– Тс! – прошептал Риенци. – Спаси Нину, спаси Ирену. Я не могу идти с тобой.

– Ты с ума сошел?

– Нет! Но я не боюсь. Кроме того, если я пойду с вами, то могу погубить вас всех. Если меня найдут с вами, то вас убьют вместе со мной. Без меня вы в безопасности. Мщение не может коснуться Нины и Ирены, хотя они жена и сестра сенатора. Спаси их, благородный Колонна! Кола ди Риенцо возлагает свои надежды единственно на Бога!

Нина вернулась; с ней – Ирена. Вдали послышался топот толпы – тяжелый, медленный, становившийся все гуще и гуще.

– Теперь, Кола... – сказала Нина со смелым и веселым видом и взяла мужа под руку, между тем как Адриан взял Ирену.

– Да, теперь, Нина, – сказал Риенцо наконец, – мы расстаемся. Если это мой последний час, то молю Бога благословить и защитить тебя! Ты была моим сладким утешением; ты была заботлива, как мать, нежна, как дитя, ты улыбка моего сердца, ты, ты...

Риенцо почти совсем потерял мужество. Глубокие противоречивые чувства, исполненные невыразимой нежности и благодарности, не дали ему говорить.

– Как! – вскричала Нина, прильнув к его груди. – Расстаться! Никогда! Мое место возле тебя; целый Рим не сможет сдвинуть меня оттуда.

Адриан в отчаянии схватил ее руку и старался оттащить от Риенцо.

– Не троньте меня, синьор! – сказала Нина, махнув рукой с гневным величием. Глаза ее сверкали, как у львицы, которую охотники хотят разлучить с ее детенышами. – Я жена Колы ди Риенцо, великого римского сенатора, я буду жить и умру возле него!

– Возьмите ее отсюда, скорей, скорей! Я слышу шаги толпы.

Ирена оставила руку Адриана, упала к ногам Риенцо и обняла его колени.

– Идем, мой брат, идем! Зачем терять эти драгоценные минуты? Рим запрещает тебе губить жизнь, в которой сосредоточивается его существование.

– Ты права, Ирена; Рим связан со мной, и мы возвысимся или падем вместе! Оставь меня!

– Вы губите нас всех, – сказал Адриан с благородной и нетерпеливой горячностью. – Еще несколько минут – и мы погибли. Безрассудный человек! Вы избежали столь многих опасностей не для того, чтобы пасть под ударами разъяренной черни!

– Я уверен в этом, – сказал сенатор, и его высокая фигура, казалось, стала выше еще, соревнуясь с величием его души. – Я еще восторжествую!

Никогда мои враги – никогда потомство не скажет, что Риенцо в другой раз оставил Рим. Чу, «Viva l'Popolo!» – все еще народный крик. Он пугает только моих врагов! Я восторжествую и буду жить!

– И я с тобой, – сказала Нина твердо.

Риенцо помолчал, взглянул на жену, страстно прижав ее к своему сердцу, поцеловал её несколько раз и сказал:

– Нина, я приказываю тебе, – иди!

– Никогда!

Он не отвечал. Лицо Ирены, покрытое слезами, встретилось с его взглядом.

– Мы обе погибнем с тобой, – сказала она, – только вы, Адриан, оставьте нас.

– Пусть так, – сказал рыцарь грустно, – мы все останемся, – и он перестал настаивать.

Последовала мертвая, но короткая пауза, прерываемая только судорожными всхлипываниями Ирены. Топот яростной толпы слышан был с ужасной явственностью. Риенцо, казалось, задумался; потом, подняв голову, спокойно сказал: – Вы победили, я присоединяюсь к вам, только соберу эти бумаги. Я догоню вас. Скорее, Адриан, спасите их. – И он указал на Нину.

Не дожидаясь другого намека, молодой Колонна схватил Нину своей сильной правой рукой, а левой поддерживал Ирену, которая, от ужаса и волнения, почти лишилась чувств. Риенцо освободил его от более легкого бремени: он взял свою сестру на руки и сошел по извивающейся лестнице. Нина оставалась пассивной; она слышала сзади шаги мужа, и этого было довольно для нее; она только обернулась один раз, чтобы поблагодарить его взглядом. Высокий норманн, в броне, стоял у отворенной двери. Риенцо положил Ирену, совсем лишившуюся чувств, на руки солдата и молча поцеловал ее бледную щеку.

– Скорее, монсиньор, – сказал норманн, – они идут со всех сторон. – Сказав это, он побежал с лестницы со своей ношей. Адриан шел с Ниной. Риенцо на минуту остановился, поворотил назад и был в своей комнате прежде, чем Адриан заметил его отсутствие.

Он поспешно снял с постели одеяло, прикрепил его к решетке окна и с помощью его спустился на балкон, бывший внизу на расстоянии многих футов. – Я не хочу умереть как крыса, в ловушке, которую они для меня поставили! – сказал он. – Вся толпа будет по крайней мере видеть и слышать меня.

Это было делом одной минуты.

Между тем Нина, едва сделав несколько шагов, заметила, что она одна с Адрианом.

– Ах! Кола! – вскричала она. – Где он? Его нет!

– Ободритесь, синьора, он воротился за кой-какими секретными бумагами, которые забыл. Он сейчас догонит нас.

– Так подождем.

– Синьора, – сказал Адриан, скрежеща зубами, – разве вы не слышите шума толпы? Идем! Идем! – и он побежал скорее. Нина боролась с державшей ее рукой, любовь дала ей силу отчаяния. С диким смехом она вырвалась и побежала назад. Дверь была заперта, но не задвинута засовом. Дрожащими руками она отворила ее, задвинула тяжелым болтом и таким образом сделала для Адриана всякую попытку воротиться за ней невозможной. Она была на лестнице, она была в комнате. Риенцо исчез! Она побежала, громко призывая его, по парадным комнатам, – все было пусто. Она находила много дверей, у разных проходов, которые вели в нижние комнаты, запертые снаружи. Задыхаясь, она вернулась назад. Она побежала в кабинет, увидела, каким способом Риенцо спустился вниз; ее сердце сказало ей о его храбром намерении; она увидела, что они разлучены. – Но одна кровля соединяет нас, – радостно вскричала она, – и наша участь будет одинакова. – С этой мыслью она с безмолвным самоотвержением опустилась на пол.

Решась не оставлять верной и преданной четы, не сделав вторичного усилия, Адриан последовал за Ниной, но было уже слишком поздно: дверь была заперта для него. Толпа приближалась; он слышал ее крик, который внезапно изменился. Это уже не было восклицание; «Да живет народ!», а «Смерть изменнику!» Его солдат уже исчез, и только теперь, вспомнив о положении Ирены, Колонна с горькой печалью пошел прочь, сбежал с лестницы и поспешил к реке, где лодка и люди ожидали его.

Риенцо спустился на тот балкон, с которого он обыкновенно говорил с народом. Этот балкон примыкал к обширной зале, употреблявшейся в торжественных случаях для официальных пиров. С каждой стороны его были четырехугольные выдающиеся башни, окна которых, покрытые решетками, выходили на балкон. В одной из этих башен хранилось оружие, в другой был заключен Бреттоне, брат Монреала. За этой последней башней была главная тюрьма Капитолия. Дворец и тюрьма находились в соседстве!

Окна залы были отворены, и Риенцо вошел в нее с балкона. Он тотчас же пошел в оружейную и из разных предметов оружия выбрал тот, который он имел на себе, когда около восьми лет назад выгнал баронов из Рима. Он надел кольчугу, оставив открытой только голову, и, взяв со стены большое

римское знамя, вернулся опять в залу. Никто с ним не встретился. В этом огромном здании сенатор был один, за исключением арестантов и одного верного сердца, о присутствии которого он не знал.

Толпа приближалась уже не в равномерном порядке, а поток за потоком, и это яростное море принимало новые притоки из улиц и переулков, из дворцов и хижин. Многочисленность этих людей возбуждала их страсти, и они приближались – мужчины и женщины, дети и злые старики – во всей мощи возбужденной, выпущенной на волю и ничем не удерживаемой физической силы и грубой ярости. «Смерть изменнику! Смерть тирану! Смерть тому, кто наложил подать на народ!» «Mora l'traditore che ha fatta la gabella! – Mora!» Так кричала толпа, таково было преступление сенатора! Они перелезли через низкие палисады Капитолия; одним внезапным приливом наполнили обширную площадь, которая с минуту тому назад была так пуста, а теперь кишела людьми, жаждущими крови!

Вдруг наступила мертвая тишина; на балконе показался Риенцо. Голова его была обнажена, и утреннее солнце освещало его величавый лоб и волосы, преждевременно поседевшие в заботах о благе этой безумной черни. Он стоял бледный, выпрямившись во весь рост, и в его чертах не было ни страха, ни гнева, ни угрозы, а только глубокая скорбь и высокая решимость. На минуту толпа почувствовала стыд и благоговение.

Сенатор указал на знамя, украшенное девизом и гербом Рима, и начал:

– Я – тоже римлянин и гражданин. Выслушайте меня!

– Не слушайте его! Не слушайте! Его коварный язык обморочит нас! – вскричал кто-то громче его, и Риенцо узнал голос Чекко дель Веккио.

– Не слушайте его! Прочь тирана! – вскричал более пронзительный и молодой голос; Риенцо взглянул: возле кузнеца стоял Анджело Виллани.

– Не слушайте его! Смерть убийце! – вскричал голос вблизи, и из-за решетки соседней тюрьмы устремился на сенатора подобный глазу тигра, сверкающий, мстительный взгляд брата Монреалья.

Тогда от земли к небу поднялся рев черни:

– Прочь тирана, который наложил подать на народ!

Град камней застучал по кольчуге сенатора, но он не шевелился. Ни один мускул его не обнаружил страха. Он был убежден в удивительной силе своего красноречия, лишь бы только выслушали его. Это вдохновляло его надеждой, и он стоял, негодующий и решительный, углубясь в свои мысли. Но это самое красноречие в настоящую минуту было самым страшным его врагом. Предводители толпы боялись, что народ его выслушает. «Без сомнения, – говорит один современный биограф, – если бы он только заговорил, то изменил бы их всех и дело было бы испорчено!»

Уже солдаты баронов присоединились к толпе и стали помогать ей оружием более смертельным, чем камни. Дротики и стрелы засвистели в воздухе. Раздался крик: «Принесите факелы!». Красный огонь их, борющийся с солнечным светом, заволновался и задвигался взад и вперед над головами толпы, как будто бы выпущенный в толпу сонм демонов. У больших дверей Капитолия наскоро было набросано множество соломы и дров, и внезапно вверх поднялся дым, мешая натиску осаждающих.

Риенцо уже не было видно. Стрела пронзила его правую руку, державшую римское знамя, ту руку, которая дала конституцию республике! Он удалился в пустую залу.

Он сел; из глаз его брызнули слезы. Это не были слезы слабости, но слезы, проистекавшие из более возвышенного источника; слезы, приличные воину, когда его оставляет войско, – патриоту, когда его соотечественники стремятся к своей собственной гибели, – отцу, когда против него восстают собственные, любимые им дети... Они облегчили его, но вместе с тем ожесточили его сердце!

– Довольно, довольно! – сказал он, вставая и презрительно отирая увлажненные глаза. – Я рисковал, подвергался опасностям и довольно работал для этого малодушного и выродившегося племени. Я обману их злобу. Отказываюсь от мысли, которой они так мало достойны! Пусть Рим гибнет! Наконец я чувствую, что я благороднее моих соотечественников. Они недостойны такой высокой жертвы!

При таком убеждении смерть потеряла весь благородный вид, в каком представлялась ему, и он решился обмануть своих неблагодарных врагов, посмеяться над их бесчеловечной яростью, сделав попытку к спасению своей жизни. Он снял с себя оружие; его ловкость, проворство, хитрость возвратились к нему. Деятельным умом своим он начал придумывать, как бы ему переодеться и уйти, он оставил залу, прошел через другие более скромные комнаты, предназначенные для слуг и наемников, нашел в одной из них грубый костюм служителя, надел его, положил на голову кое-какие вещи, принадлежавшие дворцу, как будто желая похитить их, и сказал со своим прежним саркастическим смехом:

– Когда все другие друзья оставляют меня, то я, конечно, могу оставить самого себя! – Затем он стал ждать удобного случая.

Между тем пламя разгоралось сильнее и сильнее; наружная нижняя дверь уже совсем сгорела, из оставленной им комнаты хлынул огонь с клубами дыма, дерево трещало, свинец расплавлялся, ворота падали с шумом; для всей толпы был открыт страшный вход, гордый Капитолий Цезарей готов был пасть! Теперь нельзя было терять времени! Риенцо прошел через

пылавшую дверь, через дымившийся порог, невредимо пробрался за внешние ворота и очутился среди толпы.

– Внутри есть что пограбить, – сказал он на римском *patois* окружающим, скрывая лицо под своей ношей. – *Suso, suso a gliu traditore!*

Чернь бросилась мимо него, он пошел дальше, добрался до последней лестницы, спускающейся к открытым улицам, он был уже у последних ворот, видел перед собой жизнь и свободу...

Один солдат (принадлежавший к его собственным телохранителям) схватил его:

– Стой! Куда идешь?

– Смотрите, как бы сенатор не ушел переодетый! – вскричал голос сзади. Это был голос Виллани. Ноша, скрывающая лицо Риенцо, была сброшена им с головы; – он был открыт!

– Я сенатор! – сказал он громко. – Кто смеет трогать представителя народа?

В одно мгновение вокруг него собралась толпа. Сенатора быстро потащили к площади Льва. При сильном свете трескучего пламени серый памятник пылал, как будто сам был огненный!

Придя туда, толпа расступилась, уstraшенная важностью своей жертвы. Молча стоял он и оглядывался вокруг. Ни засаленная одежда его, ни ужас этой минуты, ни гордая печаль о том, что он открыт, не могли лишить его осанку величия и ободрить собравшиеся и смотревшие на него тысячи народа. Весь Капитолий, объятый пламенем, с ужасным великолепием освещал необозримую массу людей. По длинной перспективе улиц тянулись огненный свет и плотная толпа черни, заканчивающаяся сияющими знаменами Колоннов, Орсини, Савелли! В Рим вступали действительные тираны этого города! Когда в горящем воздухе раздался звук их приближающихся горнов и труб, то смелость, казалось, возвратилась к черни. Риенцо начал говорить; первое слово его было сигналом для его смерти.

– Умри, тиран! – вскричал Чекко дель Веккио и вонзил кинжал в грудь сенатора.

– Умри, палач Монреалья! Теперь дело мое выполнено! – проворчал Виллани и нанес второй удар. Потом, отступив назад и увидев кузнеца, который, совсем опьянев от бешенства зверской страсти, бросал свою фуражку кверху и громко кричал и, как осел в басне, пинал павшего льва, молодой человек бросил на него взгляд подавляющего, горького презрения, вложил свой кинжал в ножны и, медленно повернувшись, чтобы выйти из толпы, сказал:

– Глупец! Жалкий глупец! К тебе и к этим людям кровь родственника не вопиет о мщении!

Они не обратили внимания на его слова и не видели, как он ушел, потому что когда Риенцо без слов и стопа упал на землю, когда над ним сомкнулись ревушие волны толпы, то сквозь весь этот шум слышался резкий, пронзительный, дикий крик. В окне дворца стояла Нина. Только лицо ее и простертые из окна, руки видны были среди огня, пылавшего внизу и кругом. Прежде чем звук этого пронзительного крика замер в воздухе, все крыло Капитолия, где она находилась, рухнуло со страшным треском черной безобразной массой.

В этот час одинокое судно быстро несло вдоль Тибра. Рим был уже далеко, но мрачное пламя пожара отражалось на спокойной стеклянной поверхности реки: ландшафт был неописуемо прекрасен; никакой живописец или поэт не в состоянии изобразить этот солнечный свет, дрожавший на осенней траве и наводивший нежное спокойствие на волны золотого потока.

Глаза Адриана были устремлены на башни Капитолия, которые, будучи охвачены пламенем, отделялись от окружавших их шпилей и куполов. Без чувств прильнув к его груди, Ирена, к счастью, не сознавала ужаса, происходившего в эту минуту.

– Они не смеют, – сказал благородный Колонна, – они не смеют тронуть ни одного волоса с этой священной головы! Если Риенцо погибнет, то и свобода Рима погибнет навсегда! Как эти башни, гордость и монумент Рима, которые возвышаются над пламенем, он возвысится над опасностями времени. Сам этот Капитолий, невредимый среди яростной стихии, служит ему эмблемой!

Едва Адриан сказал это, пламя было омрачено огромным столбом дыма; глухой треск, ослабленный расстоянием, достиг его слуха, и в следующий момент башни, на которые он смотрел с напряженным вниманием, исчезли. Казалось, сильный, ужасный блеск заполнил атмосферу, делая весь Рим погребальным костром для последнего римского трибуна!

Примечания

1 Gibbon, vol. XII, c. 59.

2 Так говорят новейшие историки, но представляется более вероятным, что Риенцо был послан в Авиньон после Петрарки. Как бы то ни было, но Петрарка и Риенцо сблизились в Авиньоне, как говорит сам Петрарка в одном из своих писем.

3 Де Сад думает, что мать Риенцо была дочерью одного из незаконных сыновей Генриха VII и подкрепляет это мнение свидетельством рукописи, хранящейся в Ватикане. Но по свидетельству современных биографов, Риенцо, обращаясь к Карлу, богемскому королю, ссылается на свое родство с ним по отцу: «Divostro legnagio sono figho di bastardo d'Enrico imperatore», etc. Позднейший писатель, Padre Gabrini, в подтверждение происхождения Риенцо, ссылается на одну надпись: «Nicolaus Tribunus... Lavrentii Teutonicí Filius», etc. Ас.

4 Не в теперешнем безобразном одеянии, которое, говорят, изобрел Микеланджело.

5 Около восьми лет после того, долго сдерживаемая ненависть венецианского народа к этой самой мудрой и бдительной из всех олигархий вспыхнула заговором при Марино Фалиеро.

6 Эдуарда III, в царствование которого начали проявляться мнения более либеральные, нежели какие господствовали в следующем столетии.

7 Современный биограф Колы ди Риенцо. Издание Циферино Pe Forl: 1828 г.

8 Случаи, совершенно отдельные друг от друга (так как история, подобно вымыслу, имеет свои привилегии).

9 Сисмонди приписывает Риенцо прекрасную речь при объяснении картины, речь, в которой он гремел против пороков патрициев. Современный биограф Риенцо ничего не говорит об этой речи. Но, очевидно, Сисмонди счел нужным смешать в одно два обстоятельства.

10 Хотя правда, что любовные сонеты Петрарки не были тогда, как и теперь, наиболее уважаемыми из его произведений, но говорить, что они были мало известны и что к ним итальянцы были холодны, – большая ошибка. Они имели огромный и всеобщий успех. Каждый певец пел их на улицах, и по словам Филиппа Виллани – *gravissimi nesciebant abstinere*, – т. е. даже самые серьезные люди не могли удержаться от чтения их.

11 Это известная Сивилла Доменикино. Как произведение искусства, Сивилла Тверчино, называемая персидской Сивиллой и находящаяся в той же коллекции картин, может быть выше; но по красоте и характеру Сивилла Доменикино несравненна.

12 Небольшие руки и ноги, хотя бы они были непропорциональны с другими частями тела, считались в то время так же, как и в более

образованный век, отличием людей благородного происхождения. Многим из читателей известно, как страдал Петрарка от тесных башмаков. Этой особенностью до сих пор отличается настоящая норманнская порода, и понятие о красоте маленьких рук и ног ведет свое начало скорее от феодальных, чем от классических времен.

13 Врожденный цвет решимости был испорчен бледным оттенком думы.

14 Первый город Альба, Alba Longa, происхождение которого приписывается баснословным сказанием Асканию, был разрушен Туллом Гостилием. Второй Альба, или новейший Альбано, был построен на равнине внизу древнего города, незадолго до времен Нерона.

15 Иннокентий VI несколько лет спустя провозгласил Монреалья худшим, нежели Тотила.

16 Существующий ныне Капитолий очень не похож на строение времен Риенцо: читатель не должен думать, что настоящая лестница, сделанная по рисунку Микеланджело, у подножья которой стоят два мраморных льва, взятых Пием IV от церкви св. Стефана дель Какко, есть лестница Базальтового льва, так связанная с историей Риенцо. Этого безмолвного свидетеля его судьбы теперь уже нет.

17 И Гиббон, и Сисмонди, из которых ни тот, ни другой, кажется, не справились внимательно с подлинными документами, сохраненными Гок-Семиусом, ничего не говорят о представительном собрании, которое было почти первым государственным делом Риенцо. Через шесть дней после достопамятного 19 мая он обратился к народу Витербо в письме, которое сохранилось до сих пор. Он требует, чтобы витербийцы выбрали и послали в главный совет двух депутатов.

18 Гиббон.

19 В более северных странах канун рыцарства проводился без сна. В Италии церемония охранения доспехов, по-видимому, не была соблюдаема с такой суровостью.

20 В более северных странах канун рыцарства проводился без сна. В Италии церемония охранения доспехов, по-видимому, не была соблюдаема с такой суровостью.

21 Франджипани заимствовал свой девиз из сказания о каком-то баснословном предке, который разделил свой хлеб с нищим во время голода.

22 Однако же, по геральдическому тщеславию, Савелли обыкновенно брали для своего герба изображение льва.

23 В Риме было ужасное множество вдов.

24 Опухоль, которая была роковым симптомом моровой язвы.

25 Фамилия Риенцо была Габрини.

26 По обычаю, существовавшему во Флоренции, умерших относили на кладбище на носилках люди одинакового с ними звания. Но чума создала особую промышленность: во время ее эту обязанность отправляли люди, принадлежавшие к самой низшей черни, будучи привлечены огромной платой. Они назывались *Veschini*.

27 Нелепая басня, принятая некоторыми историками.

28 Дядя императора Карла.

29 Речь эта взята у безымянного биографа *lib. II. cap. 12*.

30 Этот Малатеста, синьор знатной фамилии, был одним из самых искусных воинов Италии. Граждане Римини сделали его и брата его, Галеотто, совокупными властителями этого государства. Долгое время они были врагами церкви, наконец кардинал Альборнос сделал их предводителями ее войск.

31 Кажется, это был тот самый Аннибальди, который впоследствии убит в одной схватке: Петрарка хвалит его храбрость и сожалеет о его судьбе.